



# ЮНОСТЬ





К. ЧЕПРАКОВ (Ташкент).

Все на уборку хлопка.

---

ЛИТЕРАТУРНО-  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-  
ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНИК  
СОЮЗА  
ПИСАТЕЛЕЙ  
СССР

# ЮНОСТЬ



8 [219]  
август  
1973

Журнал  
основан  
в  
1955  
году

---

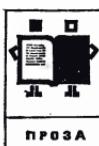
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ПРАВДА»  
МОСКВА



ДМИТРИЙ  
ХОЛЕНДРО

# ДВА РАССКАЗА

Рисунок  
Марка ЛИСОГОРСКОГО.



## ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ

Э

та строчка пришла на память Гале, когда утром она выглянула из окна того дома, где ее поселили. Приехала она ночью в кабине колхозного грузовика, и ничего толком не разглядела вокруг. Старая луна, наверно, умерла день-другой назад, а новая еще не народилась, и природа чувствовалась кожей. Подмерзший ветерок касался лица — это были горы. Так растолкал шофер. Стало теплее — это спустились к морю. Но ни гор, ни моря она не увидела и не разобрала, какие они. Кусты, мелькая корнями, уносился кудато вверх и в стороны из-под фар, какой-то огонек мерцал вдалеке черноте.

— Рыбачат, — сказал шофер.

А теперь...

Тихо блестиали вершины гор... Они были голые, на них не хватало зелени, и диву Гале давалась, как это они дотянулись до неба, до облаков, до солнца. На рассвете горы стояли выше солнца, которое украшало их размахистой розовой короной. Лучи выстреливали из-за вершин в разные стороны и гасли не спеша, превращаясь в алое, желтое, голубое свечение, а оно становилось все наполненней, напряженней, и вот в воздухе, над горным камнем, возникала нестерпимая вспышка, и вдруг всыпало само солнце, большое, как воздушный шар.

И тогда все вокруг открывалось.

Пятна зелени на склонах превращались в сосны. Кусты орешника, раскидывая длинные ветки, как руки, стремительно сбегали по склонам. В попытке удержать беглецов их охватывала петлей узкая горная дорога, по краям которой там и тут горел своими дикими огоньками шиловник — забрался в горы, под ветры, и цвел все лето среди другой зелени и камней. Особенно много его было у ручья. Там, расталкивая всех, он обосновался, как победитель. Ручей тонким водопадом свисал в его заросли с мокрых камней... Говорили, зимой он так и замерзал на весу...

А повернешь голову в другую сторону — море. В миг солнечного восхода оно не синее, не голубое, а совсем неожиданное — зеленой травы. И от него странно веет прохладной луговой свежестью, будто море — самый огромный луг на всей земле. Солнце возносится выше, и море слепяще отражает его. Смотреть на воду уже невозможно, хоть жмурься накрепко. Но смотреть хочется... По кромке алоего песка стреляет волна. Она касается вначале остого выступа, и оттуда вдоль всего берега, как ракета, летит клубок белой пены.

Между морем и горами — виноградники и сады. Малореченки, Галиного села и колхоза. Она приехала сюда руководить клубом. Для этого и училась в городе. У нее остался там старый пapa, дослужившийся до пенсии, но все еще не оставляющий работы. То его включали в ревизионные комиссии, то он где-то кого-то инструктировал, то занимался инвентаризацией в самых разных учреждениях, словом, из незаметного бухгалтера стал известным на весь город знатоком разных правил и указаний. Никто не



знал, правда, что он сидит над ними ночами. Его все время приглашали туда и сюда, и он не отказывался и часто не требовал вознаграждения, если забывали. Как-то Гая спросила его шутя, можно ли столько времени растрчивать «за так», а он ответил:

— Это я должен благодарить людей, что меня еще зовут...

Словом, пенсионера-домоседа из него не вышло.

Перед отъездом Гали он грустно признался ей:

— Если бы и мама жила! Я ходил бы с ней гулять... Или сидел дома... А теперь и ты уезжаешь.

В первом же письме он учил ее: «Везде есть талантливые люди, Галюша. Я в этом никогда не сомневалась. Помоги им увидеть самих себя. И твоя жизнь тоже станет куда богаче. Сама участуй в самодеятельности. Обязательно!»

Это отец просто боялся, чтобы она не закручинилась.

Горы силы... Комок белой пены катился вдоль берега с нарастающим урчанием...

Трень-трень... Трень-трень-трень...

Это дергал струны своей балалайки Колька Шмак.

Он сидел под забором, который был тут тем-то средним между частоколом и плетнем, перевитым веселыми вьюнами с голубыми граммофонниками, которые, как объяснял местный агроном, старик профессорского вида, в очках и с бородкой, назывались научно «ипомея». Над забором курчавилась зелень тополей и вишен, яблонь, груш. Они уже одарили хозяйку своими плодами и теперь густили шумной листвой, словно бы для того лишь, чтобы скрывать Кольку.

Листья в Малореченке стрекотала по утрам, потому что менялся ветер. Ночью он дул с суши, а днем с моря, нес в село его запахи.

Но громче и раньше листья поднимали свой стрекот малореченские птицы, они насвистывали вразнобой, начиная застенчиво и очень осторожно, пробуя голоса, а потом теряя меру и дохода до крика. Их было тут много, может быть, столько же, сколько листьев и цветов, и все хотели, чтобы их голос был услышан отдельно в этом привете новому дню, который им нравился. Птицы сходили с ума от воссторга.

А тут Колька каждый день бренчал на балалайке. Трень-трень... Эх! Трень-трень-трень...

Гала не стерпела, накинула халатик и так и вышла со двора с заспанными еще глазами. Рыжеватый верзила сидел на корточках под забором, поджимая его спиной, и серьезно бил по струнам толстыми пальцами.

— Зачем вы это делаете? — спросила Гая, стараясь усмехаться, но у нее не получалось этого. Она уже злилась на Кольку, и зубы стискивались сами собой.

Колька же улыбнулся легко, обнажив крупные зубы, поставленные редкодато, ответил коротко:

— Музыкальный момент. Нельзя?

Гала молчала. Желвачки под ее щеками вздулись.

— Учусь, — прибавил Колька. — Нельзя?

— Ступайте под свой забор и там учитеся! — отрезала Гая.

— А клубная работа? — спросил Колька. — Я хочу на балалайке. Нельзя?

Гая сладила с собой, тихо объяснила ему:

— Для этого есть свободное время, товарищ Шмак.

Он встал и оказался на две головы выше ее. Господи, за что она осталась такой маленькой! Ведь всю жизнь мечтала вырасти! Всю жизнь мечтала о солидности и внешности, наверно, потому, что именно их ей не хватало... Она стояла, скваж кулачки и задрав голову, а Колька сказал:

— Так у меня оно сейчас самое свободное... Я всю ночь на тракторе... это... — Губастый его рот еще больше растягивалась. Помсмеявшись, Колька договорил: — Как вы прибыли, я сразу балалайку купил. Нельзя?

Галя повернулась и пошла быстрым шагом, с согнутой головой, а Колька, невпопад ударяя по настянутым струнам балалайки, заревел за ее спиной:

— А где найти такую пе-е-сию?

Вот как началась ее жизнь в Малореченке.. О чем угодно думала. О том, как вдохнуть необыкновенную, удивительно интересную жизнь в запылившиеся стены клуба. Какие кружки завести для молодых, и старых, и всех вместе. Как украсить клуб и приблизить наглядную агитацию к задачам дня, а не вообще... О библиотеке, в которой большинство шкафов с книгами почему-то стояли стеклянными дверцами к стене, а в книгах, выхваченных наугад, слились неразрезанные страницы. И о самоделительности, конечно, думала. Еще бы не думать, когда папа писал о ней в каждом письме: «И сама обязательно участуй!» Но только не о Кольке! И откуда он взялся на ее голову? Чего угодно опасалась, но не этого...

— И чтоб никто не догада-а-лся!..

Колька Шмак был трактористом, день и ночь спо-сабным перепахивать табакные плантации и виноградные междурядья, и вместе с тем абсолютно не-управляемой личностью. Если в душу его вдруг влезл бес, никто не мог предугадать, чего ждать от Кольки. Спроси о нем на селе, двое могли ответить в одну минуту:

— Колька-то? Надёга!

— Ухилингнище клятый!

И оба были правы.

Собрали черешню, распевая частушки на деревьях, сняли яблоки и груши в колхозном саду. Оголились, приподнялись облегченные ветки над берегами ручья, скользящего по камням к морю, образовалась у людей заметная передышка до уборки винограда, которому уже вымыли и высушили высокие, большие, как бочки, плетеные корзины, до бесконной ломки и низких табачного листа в душистой предурненной полумгле...

Молодых и старых потянуло к клубу.

Галя вдруг сделалась такой популярной фигурой в Малореченке, что ей страшно стало.

— Чем уготишь-то, дочка, если зайдем?

— Кинокомедия.

— Смешная?

— Ой! Очень!

— Ну, это спасибо. Это в охотку.

— А сегодня что у тебя?

— Лекция.

— Да мы ж и так знаем, что пить вредно для здоровья!

— Нет, о международном положении.

— Происки? А после этих... происксов?

— Танцы! Будем разучивать летку-енку.

— Варюха-а! Ныне надевай олимпиадку. Пряжки на месте.

— Я тебе надену — сковороду на голову!

— А с кем прыгать станешь?

— С Колькой!

Колька ежедневно надевал городские галстуки, чтобы Галя обратила на него внимание. Начищал до

пугающего блеска полуботинки. Дымил дорогими сигаретами, втыкая их в янтарныйmundштук. Галя же на него вовсе не смотрела... Тогда он начал вваливаться в клуб клод мухой.

Было еда ли не самое интересное событие за все время Галиной жизни в Малореченке. Из областного центра по ее приглашению приехал, страшно даже сказать, писатель. Перед этим Галя провела в бригадах громкую читку его романа «Жаркая осень». Роман слушали на виноградниках и в табачных сараях. Многие сами читали, передавая из рук в руки. Женщинам особенно нравилось, что героиня романа Паша полюбила всем сердцем однорукого фронтовика Семена и что жизни у них пошли миром да ладом. Зря Семен боялся, что не приглянется ей, страдала...

Писатель оказался немолодым человеком, домовитым мужиком по виду. Мягким, добрым, круглоголовым, круглоязым. Все время улыбался с большим расположением к своим поклонникам. Долго рассказывал, как ездил по колхозам, изучал типы и сколько славных людей перевидал, пока сложился у него в голове и в душе, конечно, такой вот тип, как Семен.

А потом слово первым взял Колька.

— Слушайте! — громко сказал, да не сказал, а рыкнул он. — Фронтовик!.. Руку потерял!.. А вы его типом! Типом мы, знает, кого называем?

Писатель стал красивым, долго тер носовым платком лысину и еще больше оправдывался, что это такой литературный термин и на него не стоит обижаться, но Колька не сдавалася;

— Ну-ка, назовите вот меня типом! Попробуйте, назовите!

Писатель испугался, не назвал. Кто-то из Колькиных дружков хохотнул.

Галя попросила секретаря сельсовета Чумаченко унять беспорядки. Но тут выяснилось, что строгий сельский акуратист совершенно согласен с Колькой: «Какой же он тип, Семен? Вот наш Колька — тот тип!» Поднялся скандал.

А Колька радовалася и опять старался отличиться.. Перед сенсами не садился в ряд, опрокидываясь на стену, двухметровая глыба, и у всех на виду грыз семечки, расплевывая вокруг себя шелуху. За это секретарь сельсовета Чумаченко сделал ему громкое замечание и потребовал, чтобы Колька сейчас же перестал нарушать чистоту и выбросил вон семечки из карманов. Нарушитель вывернул тяжелые карманы, высыпал все семечки на пол и удалился. Под ногами его захрустело в тишине... Галя взяла веник иsovok.

Активисты клуба повсюду кидали с мест, попытались помочь ей, но она сама до начала фильма подмела пол у стены, где только что стоял Колька.

После следующего киносеанса под скамейками осталось пять-шесть остротов шелухи. Чумаченко сказал: «Ясно!» Это Колькины дружки мстили Гале.

Она сама встала в дверях, чтобы не пустить ни Кольку, ни его дружков в клуб на «Кавказскую пленницу», повторяющую по заказу малореченцев. Но зря. Колька, как пушинку, вынырнул раму и запросто перешагнул с улицы прямо в зал, подсадив сначала друзей.

Чумаченко пообещал завтра же письменно сообщить о Кольке в районную милицию, поскольку это уже произошло со взломом, то есть причинением вреда общественной собственности. Кольку он публично назвал уже не типом, а бандитом. А отец все писал: «Галяша! На днях вышли тебе библиотечку одинаковых пьес. Я делал ревизию в «Союзпечати» и там наткнулся... Галяша!» Она и сама выбирала подходящую пьесу, списывалась по этому поводу с

областным Домом народного творчества и была уверена, что, когда в саду и на табачных плантациях наступит зимняя тишина, людские страсти переполнят ее клуб, но вдруг...

Но вдруг ее забеспокоило, что Чумаченко сообщает в милицию, и оттуда пришлют машину, похожую на большой и крепкий ящик с решеткой, и Кольку Шмака посадят и увезут... Галя уверяла себя: радоваться надо! Но вовсе не радовалась. Почему? Среди ночи поняла: это ведь из-за нее выпендривался Колька, старался быть позористой, и если он пострадает, у нее останется чувство вины. Вот и все.

Она этого не хотела.

Утром она пошла к Чумаченко и сказала, что придумала, как прибрать Кольку к рукам. И пусть Чумаченко не пишет в милицию, никуда и ничего не надо писать, пусть доверится ей, Галя, оставят то-варица Шмака на ее ответственность.

В сельсовете Чумаченко было очень важным. Над его головой, на гвоздике, вбитом в стену, висела шляпа. Он выслушивал посетителей с неподвижным лицом, потом покачивал, качая от плеча к плечу головой, покрытой белым — не седым, а белым — пухом, потом закуривал, туже сворачивая самокрутку из табака собственной нарезки и смеси, а утомленно говорил:

— Та-ак! Кудряво!

Все произошло, как рассказывала хозяйка, которой Галя, конечно, не призналась, что за дело у нее к Чумаченко: «как-какие вопросы по клубным нуждам, Ни звука о Кольке.

— Та-ак! — сказал Чумаченко. — Кудряво!

Галя не заметила, что улыбнулась ему — хорошо, по-доброму, а он насупился.

— Берешь этого гангстера под свою персональную?

Он старательно проговорил «гангстера» через «ё».

— Не хочу, чтобы кто-то вмешивался, пока сама всего не попробовала, — сказала Галя.

— Даже я?

— Даже вы.

— Я не кто-то, между прочим, — поправил ее Чумаченко, — а советская власть.

— Так вы же прекрасно знаете, что товарищ Шмак не безнадежный экземпляр, а неустойчивый.

— Я-то знаю! Это вы не знаете. Вот именно — экземпляр! — повысил голос Чумаченко и вскинул над собой мягкие бабы руки, чтобы показать, какой громадный к тому же этот экземпляр — Колька Шмак.

В конце концов Чумаченко уступил. Осторожненько почесал кончиком пальца белый пух на темени и предупредил:

— Если что, спросим.

В тот же день Галя совершила самый дерзкий, рискованный и, как считала она, человеческий поступок на первом году своей службы: она ввела Кольку Шмак в клубный совет, горячо убеждая всячес, что если Кольке поручить следить за порядком, он и сам исправится. Так доказывала, что щеки запылали. И вечером Галя шагала в клуб своей торопливой походкой (просто у нее были маленькие ножки), прикладывая ладони к щекам, «гро!» — иронически подумала она о себе, и от этого утихомирились сумбурные мысли, стало чуточку спокойней и тише внутри, зато слышнее, как стучит сердце. В самых ушах, Вот еще!

На пополну заметила, как какой-то наголо стриженый мальчишка в коротких штанцах, завидев ее, рванул в сторону клуба с пригорка.

Малоречена — не привычное село: два порядка домов, посередине дорога. Белые дома ее кинуты вразброс, как зерна из пригоршка, по малым и боль-

шим полянам среди садов на пригорках. Если поляна большая, на ней белеют два, а то и три дома под рыхлыми черепичными крышами — один забрался углом на склон пригорка, второй, подобно драгоценности, врос в зеленую оправу поляны, а третий спустился к ручью, журчащему днем и ночью, падает ли с неба неискривляемый солнечный зной или холодный свет луны, удивительно ясной в этих местах.

Клуб построили в самом конце села. И дорога туда, верней, тропа, потому что малоречены, укорачивая расстояния, сплели на пригорках паутину троп, вела то вверх, то вниз, как по волнам.

Мальчишка приступил к клубу явно неспроста. Через несколько спусков и подъемов, едва крыша клуба показалась перед глазами посеревневшей Гали, во все небо ударило из радиодинамиков:

— А где найти такую пе-е-еню?

Галя остановилась, вздрогнув от испуга.

Клубные динамики, вынесенные на улицу и висевшие под карнизом над входом, никогда не включались на такую мощность. Это Колька, новый дежурный, заставил радиста включить на всю катушку... Конечно! Его все боялись! Он был самым сильным парнем в селе. И этот парень старался ради нее... Он и мальца поставил... Сначала было нахмурившись, Галя вдруг улыбнулась. Чуть-чуть. И оглянулась тотчас. никто не шел за ней. Было еще рано; она же приходила в клуб раньше других. А Колька был уже там...

Ну, хорошо. никто не заметил ее секундного замешательства. И она ничего не заметит и ничем себя не выдаст. Придет и видя не покажет, что обратила внимание на песню. Только скажет... Что-нибудь скажет... А радио орало так, что и в горах могли услышать:

И что никто не догадался,  
Что эта песня о тебе!

— У вас радио чересчур громко... работает, — сказала она Кольке.

Он спросил:

— Нельзя?

Колька был в белой рубашке, воротничок ее выпустил поверх пиджака, на рукаве краснела повязка. У входа в клуб, на верхней ступеньке каменного крыльца, стояло ведро, на котором чернела свежая надпись: «Для ваших семечек. Проси ссыпать. Спасибо за внимание».

Галя опять сначала нахмурилась, но тут же улыбнулась. Ну что ж, даже весело!. Колька побегал к радиству, песня кончилась, а новая зазвучала тише. И уже потянулись люди.

Малоречены здоровались с Колькой, а он всем жалел расприятного вечера. Семечек набрасывалось уже на полведра. Оказывается, многие приносили их с собой. Кое-кому из парней Колька пальцем показывал на ведро, если те норовили прошмыгнуть мимо, и обещающе заверял:

— Но обратном пути возьмешь. Не горюй!

Как раз и сегодняшний фильм назывался «Не горюй», и все парни, посмеиваясь и перешучиваясь, выворачивали под взглядом Кольки свои карманы. Кроме одного.

— А тебе что, закон не писан? — спросил его Колька.

— Кто это тебе дал право-то законы писать? — поинтересовался тот, толстомордый, лупоглазый, с белым пухом вместо бровей.

Колька потыкал пальцем в свою повязку, а потом согнулся этот палец и постучал костяшкой по лбу парня. Тот схватил его за руку и попытался оттолкнуть от себя, завопив:

— А чего руки в ход пускаешь?

И случилось-то это за каких-нибудь пять минут до начала фильма.

Колька замер, как каменное изваяние.

— У меня и семечек нет! — волил парень.

— Карманы выверну, — сказал Колька скучным голосом.

— Тронь только, тронь! — пригрозил парень и пошел к дверям.

Колька терпеливо остановил его рукой, поймав за плечо. Парень резко повернулся и ударил Кольку. Он ударили его кулаком в лицо. Галя выбежала из клуба на шум, потому что все время были на крыльце смех и шутки, а тут — крики. И она испугалась, и выбежала, и увидела, как парень ударил Кольку. И произошло что-то такое, отчего парень сразу упал с крыльца, опрокинув ведро. Оно загремело по ступенькам, рассыпав семечки.

На пороге, выбравшись из зала, возник Чумаченко со шляпой в руках.

— Сани! — закричал он и задохнулся. — Сынок! — И запрыгали по ступеням вниз, туда, где, кряхтя, все еще валялись толстомордый парень. Одолов крьльца, Чумаченко-старший повернулся к Гале и сказал, угрожающе помахивая смятой шляпой: — Вот он, ваш!.. Рукоприкладство!.. При исполнении!.. Вот она, вишь.. любовь! Я вам покажу!

Сын его при этих словах ожидал и уже сидел на земле. Глаза его из-под белого цыплячьего пуха с любопытством смотрели то на Кольку, то на Галю. Он выдернул платок, чтобы вытереть под носом, из кармана вслед за платком посыпалась семечки.

А Колька сдернул с руки повязку, отдал Гале и пошел, исчезая за ближайшим темным пригорком. В клубе хлопали, требуя начала сеанса. Галя с тоской вернулась туда, нажала кнопку звонка к кинооператору и, встав на цыпочки, выключила свет в зале. Фильм начался...

Галя вышла на воздух.

Было темно и тихо, если не слышать звонких трелей цикад. Но они заливались каждую ночь неустанно и неумолично, и Галя уже привыкла к ним и не слышала. Тишина обступила дома Малореченки. Темнота скрыла горы. Галя пошла, не зная куда. В одном месте позвала:

— Коля!

Ей никто не ответил. Захотелось крикнуть еще раз, но она не решилась. Брела и брела наугад все дальше, пока не потеряла тропу. В какие-то колючки забралась. Разозлилась на себя, но не знала, куда повернуть, чтобы выпутаться из колючих зарослей, возможно, уже отшвырнутого шиповника; никак не могла сообразить, где Малореченка. Далеко ушла... Стала прислушиваться и сначала услышала пронзительный звон цикад в ночи, а затем и шум воды и двинулась на этот шум. Ведь речкой-то тек в Малореченку...

Через несколько шагов она прородилась сквозь колючки. Защурившись, под ее уставшими ногами, поплыла, поехала земля. Она попала на осыпь. И не успела ни вскрикнуть, ни даже ахнуть, как уже была по горло в воде. Поздней осенью, переходившей в зиму, вода здесь студеная. Горная, быстрая, она и летом несля в себе холод блестящих вершин, а сейчас Гале почудилось, что ее швырнули в прорубь. Окатило озабочом. Когда она, набрахтавшись, выползла на берег, грудь и ноги ее застыли, только спазмы на глазах были теплые.

Галя по-деловому выжала кофту, платье на коленях, вытряхнула воду из туфель и застегнула по трофею ручья своими маленькими ножками. Торопясь, она яростно прокинула себя за то, что побрала куда-то... А зачем? А куда? Вот и возвращалась,

дрожа и чертыхаясь. По ее характеру ей давно бы уже пора прыснуть со смеху, но зуб не попадал на зуб...

Дома она забралась под теплое одеяло, единственную вещь, которую о маме взяла с собой, свернувшись кальчиком и разревелась, как соловья девчонка... Она знала, что легко простуживается, надо было попросить у хозяйки какую-нибудь таблетку, хотя бы аспирина, но никого не хотелось видеть, и Галя потихе дышала своим крохотным носом, чтобы не привлечь чужого внимания.

Она не помнила, как уснула, не помнила, как очнулась, это ей потом рассказывали... Помнила она себя с того мига, когда открыла глаза и увидела Кольку. Он сидел на табуретке поодаль от кровати, и рыжая голова его едва не касалась лампочки, свисающей с потолка. Галя вскинула брови, сделала серебряные глаза и разлепила сухие губы:

— Уходи!

— Здравствуй, — ответил Колька и протянул ей руки.

Галя дала ему свою ладошку. Он накрыл ее второй рукой и держал.

Потом Гале рассказывали, что Колька ночью мотался на колхозной полупорте за районным врачом, принес мед с пасеки, потому что врач велел поить Галю молоком с содой и медом, следил по своим часам, чтобы хозяйка вовремя давала лекарства, пока та не сказала ему: «Хватит пичкать! Сдается температура», — а он все еще за полночь уходил из дома, а на рассвете уже сидел под забором, правда, без балалайки.

— Зачем же сидел-то? — хмуро спросила Галя.

Колька часто помигал глазами.

— Смотрят, как солнце встает... Нельзя? Очей очарование...

— Ты знаешь эту строчку? — обрадованно удивилась Галя. — Чья она?

— Евтушенко, — ответил Колька.

— Нет, это Пушкин.

Колька помочился, улыбаясь. Была у него драгоценная способность: вот так улыбаться, тепло и молча.

— Это про осень, — наконец сказал он. — Была унылая пора, очей очарование... Но слова годятся для любой погоды... Вообще... Вот, к примеру, смотрю на тебя и...

— Молчи, — попросила Галя.

Все это было потом.

А пока Колька сидел, грел в своих руках ее маленькую ладошку.

На улице затрещал мотоцикл и стих в самом дворе. Похоже, мотоциклист подкатил прямо к крыльцу. Через минуту в дверь постучали. Галя вырвала ладошку из Колькиных рук и не успела ответить, как дверь распахнулась, и в комнату вошел милиционер. Был он совсем молодой, безус и розовощек от молодости идорожного ветра. Он поглядел на Галю и на Кольку, поздоровался для вежливости и спросил:

— Шмак Николай вы будете?

— Всегда был, — сказал Колька и встал.

Милиционер поправил ремень.

— Вторично не являетесь в суд.

Колька опустил свои виноватые и теплые глаза на Галю.

— Понятно, — обронил милиционер, принимая вид постороже, чтобы спрятать неловкость.

А Колька все еще смотрел на Галю.

— Придется доставить, — сказал милиционер. — Приказано.

И тоже глянул на Галю.

— У нас начальник на это строгий...

Колька повернулся и пошел к дверям. Придерживая одеяло у горла, Галия присела в кровати:

— Коля!

За окном вздрогнул и взорвался рев мотоцикла. И стал затихать, удаляясь.

Галия сидела, держа одеяло на груди, все еще не опомнившись и соображая, вскакивать и бежать к кому-то в поисках защиты или сразу мчаться за Колькой, чтобы самой сказать, как это все было, и чтобы его отпустили. Она начала одеваться...

В дверь опять постучали.

Она подумала, это Колька спрыгнул с мотоцикла и вернулся. Нет, это были не он. Разговорчивый почтальон принес посылку от папы с письмами для художественной самодеятельности...

## 2

# МУЖЧИНЫ

**Л**ежали на траве под солнышком. Было дико, что человек, дитя природы, выполонил ее вокруг себя ради места для многоэтажных каменных коробок, называемых современными домами. От природы, некогда, наверно, здесь обильной, остались среди местных редкие музейные клочки в виде скверов и бульваров, где каждый кустик был под охраной. Теперь их берегли так, что там на траву нельзя было и ногой ступить. Да и трава там была, можно сказать, искусственная — ее сеяли, и лужайки называли газонами.

А здесь бухайся навзничь, слушай, как жужжат пчелы, как трепещет, сверкая прозрачными крыльишками, стрекоза, как пахнет земля, вспоминай все это.

Игорь гладил небритой щекой травинку, и это было честовски приятно. Не хотелось думать ни о сегодняшнем дне с его неизбежными заботами: победить где-то в городской столовке — с ужином проще; — купить две пакеты молока, яиц, кусок колбасы, изжарить яичницу отцу и себе, смолоть и сварить кофе и еще до этого успеть заскочить в прачечную за белым. Матя уехала в Трускавец: замучили боли, печень... Плакала, уезжая... На вокзале снова взамордилась: «Я останусь!» Как раз в этот пору у Игоря начинились экзамены в институте. Отец утешал ее: «Ну, брось, брось... Мы тебе будем аккуратно писать». Мама попросила: «Телеграфируйте!» И отец сказал: «Правильно!» А когда пассажиров пригласили в вагоны и по ее лицу опять покатились невозможные крупные слезы, Игорь упрекнул: «Мама!»

За весь день сказал, наверно, одно это слово.

Лицо у нее было бледное, желтое...

А экзамены шли ничего. Возрастала надежда поступить. Завтра предстоял последний — физика...

Но сейчас и об этом не хотелось думать. Вообще ни о чем. Было в самом деле хорошо. Прикрылись глаза от солнца, травинка все щекотала лицо, потому что он крепил головой. Когда она коснулась губ, он откусил травинку. «Какая-то лирика», — усмехнулся Игорь. — Сказывается происхождение предков. И тут же понял, скорее почувствовал, что это была

не лирика, а просто усталость. Самая обыкновенная, элементарная... Полежать так еще секунду, и уснешь. Но раздался визгливый голос Кости, любившего покомандовать:

— Жители, подъем!

Ему хотелось быстрой очнуться в реке. Они и выкатились на велосипедах за город, чтобы искупаться. Илья стоял жаркий, именно стоял, а не двигался, не менялся, стоял, не иссыпал. С утра — воздух, обжигающий легкие, и сквозь его стеклянную неподвижность — запах гаря, дополняющий из соседних лесов. Утренняя дымка, как потом оказалось, была неподдельным дымом... Даже газеты начали писать о лесных пожарах.

— Шевелись, дедули! — крикнул Костя и первым подхватил с травы свой велосипед.

Остальные поднимались долго, лениво, разморено сидели, подтянув ноги и додремывая, а додремав, потягивались и виновато улыбались или, наоборот, хмурились на голос Кости, на его способность злоупотреблять правом, но полученным ни от кого, и на то, что до реки оставалось еще километра два спуска — грунтовая дорога вилась по крутым склонам, среди редких деревьев, зеленеющих на выгоревшей траве, кое-где сбившихся в рощицы. В них дорога исчезала, но тут же опять вырывалась на солнце, от которого некуда было деться, и терпела его сиропесть на воле, чтобы осторожно спускаться с дальше.

Выстроились с велосипедами на круче. Внизу плоско отсвечивала река, каким-то неживым слюдяным блеском. За спиной, неподалеку, урчало шоссе, с которого они свернули сюда. Их прельтила тень под двумя рослыми березами и зеленый лужок в тени. Теперь тень выклюгала всю без остатка, и лужок побурел: тень скрывала его истинный вид. С шоссе тянуло смолой...

Ленивый и всегда сплоголосый Родька прохрипел:

— Ежели направлять? Что думают об этом лучшие умы человечества?

Лучшие умы человечества наморщили лбы.

— А?

Кто-то сказал:

— Б.

Сплетаясь и расходясь, направляя сбегали к реке две или три тропы. Может быть, их настоли в траве босыми ногами мальчишки, приезжавшие из города на автобусе. Может быть, это был древний след села, которого никто из молодых людей с велосипедами своими глазами не видел. Город, еще не добравшийся сюда, взметывавший дома на горизонте, уже предписал селу освободить кручу, на которой оно держалось века. За эти века тропинки могли возникнуть под натуженными ногами хозяек, носивших в реке белье, как в другой деревне носила его бабушка Игоря.

Еще один ум изрек:

— Попытка — не попытка.

Костя вздернул подбородок и взмахом ладони перерубил спасенную и обманчивую нить риска и соблазна.

— Тормоза не выдержат на полпути! Что тогда?

— Ку-ку!

— Умный гору обойдет. За мнай, жители!

И Костя уже занес ногу над потертым седлом, но Родька остановил его:

— А чего ты командуешь? Вопрос на голосование. Ты?

— В.

— Ты?

— Г.

Они перебирали буквы алфавита. Все просто тру-

сили. Все явно трусили. Разумно трусили. Это стало вдруг противно Игорю. Стояли молодые ребята, еще не студенты, но уже и не школьники. И тянули кота за хвост. Острили. На него упала буква «Е», и он сказал:

— Еду.

Ни мгновения не дав себе на дальнейшие раздумья, он поставил ногу на педаль и оттолкнулся от земли. Переднее колесо нырнуло вниз и перескочило через кочку, но он уже сидел на седле, крепче обычного вцепившись в руль. Понесло. И голоса отстали сразу, он не разобрал ни одного слова. Так и не понял, рванулась ли за них вся ватага друзей или хоть кто-нибудь из них. Ветер шумел в ушах. Оглядываться было нельзя: тропа петляла. Ну, ладно! Если будут догонять, если он кому-нибудь помешает — вдруг окажется, что у кого-то тормоза держат слабее, — здорово. В некоторых местах тропа неизвестно расширялась, и тут можно было пропустить вперед. Его тормоза пока держали. И пока еще сзади никто не просил дороги. Только ветер набирал скорость, родившись от быстроты езды, как от полета.

Вот когда он по-настоящему понял отца. Его отец был летчиком-испытателем, фамилия которого стала знаменитой давно и настолько, что Игорь с детских лет стеснялся этого. Когда его спрашивали при знакомстве, спрашивали почти всегда, он коротко отвечал: «Однофамильец». Это защищало от новых вопросов, вырывающихся из разговоров: Игорь не любил многословия...

Конечно, отец брал его в самолет, еще маленьких поднимал в небо. Но даже тогда, крохой, Игорь чувствовал себя гостем в самолете.

Все эти воспоминания промельнули моментально, а полет продолжался. Ветер в ушах начал посвистывать. Ветки какого-то полусухого куста у тропы щелкнули по спицам и сразу отстали. Река приближалась. На ее плоской поверхности появилась рыбка. Тропа выпрямлялась, и скорость возвращалась, во втулке заднего колеса возник точильный звук.

Еще одну рощицу пролететь, проскочить... А там прибрежный разлив травы и песка, в котором колеса завязнут сами. Если даже булькнуться с разлетом в воду, все равно будет победа. Ее предчувствие уже заполнило Игоря ликованием.

Ветки берез в рощице захлестали по глазам. Раздвоенный ствол одной из них наклонился так низко, что, даже проходя под ним по тропе, надо нагибаться, а на велосипеде.. Колеса запрыгали по голым корням, переползли через тропу. Ноги скользили с педалями. Игорь наклонился вбок, велосипед отскочил от него, он ударился о твердую землю...

Когда он очнулся, то увидел чужие лица. Они плавали над ним совсем низко и шевелили губами, что-то говорили, но он не усавидал звуков. Он запомнил первую мысль: сон... Еще через какое-то время все обрело земные черты — две девушки в купальниках пытались помочь ему. Еще миг спустя он догадался, что они прибежали от реки раньше ребят, которых... А еще через миг понял, что никто за них так и не тронул с места...

— Мы глазели на тебя снизу, — сказала одна девушка. — Тут же дорога есть!

— Сумасшедший! — сказала вторая и, присев на корточки, подсунула ему руку под плечо. — Пижон!

— Не трогайте меня! — огрызнулся он, отмечая про себя, что все соображают, что голова цела, а остальное — детали,

Та, что сидела на корточках и держала руку под его плечом, спросила:

— Что у тебя болит?

Он мысленно осмотрел себя с головы до пят, как учат йоги. Покачал головой... Согнул и опустил руки... Попробовал двинуть одной ногой, другой... И тут, хотя считал себя терпеливым мужиком, против его воли сквозь зубы прорвалось:

— А-а!

— Ой! — сказала одна.

— Нога? — спросила вторая.

Игорь подтвердил.

— Встать можешь?

— Не знаю.

Донесся хриплый зов:

— Иго-оры!

К нему, перепрыгивая через корни, подбежал Родька. Белые кудри прилипли ко лбу Родьки.

— Ну что? — спросил он, задыхаясь. — Это я виноват, но я же пошутил... Как дела?

— Все путем! — отозвался Игорь.

— Помоги нам поднять его, — велела Родька та, что держала руку под плечом Игоря. — И не палься на меня, пожалуйста!

Она вспомнила, что в купальнике, поправила свободной рукой тонкие зеленые лямочки. Родька выпучил на нее глаза вовсе не для того, чтобы рассмотреть, а просто так, даже из благодарности, что девушки оказались около Игоря раньше него, бросившего свой велосипед на круче, и раньше ребят, пустившихся наперегонки в объезд, по дороге. Он вздохнул, потому что сердце его еще заходилось от бега, и сказал:

— Тоже мне гёрла!

— Мерси вам! — ответила девушка.

Они обхватили Игоря, оттащили в тень и посадили, прислонив спиной к той самой березе, которая росла не так и не на том месте. Родька окинул ее, приструнившись:

— Да-а...

Подкатили ребята, начали ссыпаться с велосипедов.

— Живой?

— Спасибо, девочки, — сказал Игорь.

— Его надо в больницу. У него нога сломана, — сказала одна.

— Могло голову снести, — сказала вторая.

Игорь вдруг улыбнулся.

— Голову нельзя. Завтра экзамен.

— Какой экзамен? — спросила первая.

— Последний.

— Повезло тебе! — посочувствовала вторая, в зеленом купальнике, подтягивая лямочки ближе к шее.

— Гипс и лежать, — объявила, как приговор, ее подруга. — Месяца полтора... Я знаю... У меня был перелом ноги. Мальчишки на катке сбили.

— Такие же смелые, — прибавила зелененькая.

Они пошли, стараясь быстрее спрятаться за кустами, оглянувшись один раз на Родьку и прибавив шагу. Ребята тоже провожали их взглядами. Потом, спокойствовавшись, начали обсуждать, что же делать, поругались немного, навалились на Родьку, в голове которого родилось это: «Напрямик!». Родька объяснил, что уже попросил прощения, а Кости перебил:

— Не об этом, жители! Как лучше: завернем сюда машину или вынесем Игоря на щоссе?

Опять пошумели, удастся ли скоро завернуть машину, и опять Кости перебил:

— Один — на щоссе за машиной, остальные поочереди несут Игоря навстречу к коят велики.

Родька побежал на щоссе.

**О**тец облысел незаметно, остались седые волосы на висках да косматый венчик сзади. Игорь не заметил, когда это случилось. Как-то для него это не имело значения.

Сегодня, лежа на диване и спрятав ногу под пледом, он впервые увидел, что отец у него старый, то есть совсем не такой, каким был даже года два назад. И он забыл про непрестанную боль в ноге, под гипсом: стало жалко отца. Сейчас узнает про поездку к реке, про эту историю накануне последнего экзамена, заговорит... Отец стоял вдвое больше прежнего говорить...

Как всегда, он засцепил кепочку — довольно модную, под замшу, с резинкой сзади — за крючок вешалки и заглянул в комнату Игоря. Тогда-то Игорь и увидел его лысину и подумал, что отец не зря закрывается кепочкой: хочет быть помоложе. И ему стало еще жальче отца.

Улыбка погасла у того же лица, когда он увидел Игоря под пледом, в глазах сразу отразились огорчение и беспокойство. Уж Игорь умел читать это лицо! Отец не любил, когда дома кто-то болел, что-то случалось. Дома, на земле, все должно быть в порядке.

— Почему лежим?

— Нога.

— Именно? — спросил отец.

— Так... Легкий ушиб...

Отец растерянно потоптался и вышел из комнаты. С детства выработалась у Игоря привычка не врать отцу.

Слишком громко сказано даже — не было такой необходимости. Еще до школы он попытался что-то просто скрыть от отца, и тот сказал: «Все равно обман. Ты роняешь себя в моих глазах. Недостойно мужчины».

С тех пор ничего подобного не повторялось, но сейчас...

На вступительных экзаменах не признавали бюллетеней. Да еще по такому поводу — перелом ноги во время забавы...

Сдавать, сдавать завтра! А отец мог не пустить... Над бескомпромиссными словами оправданного отцовского гнева могла возобладать родительская забота, боязнь ответа перед мамой, и тогда... «Лежи!»

Лучше было не признаваться... Позже скажет...

Отец погремел в кухне посудой и вернулся в комнату с яичницей на тарелке.

Едва они проводили маму и остались вдвоем, он стал являться домой минута в минуту, как видно, стараясь примером дисциплинировать Игоря в пору экзаменов.

Иgorю это тоже было удобно: даже яичница не оставала.

Отец скреб вилкой по тарелке и ел стоя. И опять Игорю стало жалко его.

Конечно, он видел на кухонном балконе искореженный велосипед, додгадался о причине ушиба: была какая-то бессмысличная прогулка, — и теперь нервничал, пытаясь взять себя в руки и ждал рассказа от Игоря.

— Мы ездили купаться, — сказал Игорь.

— Сильный ушиб? — спросил отец, увидел тарелку в своих руках и поставил ее на угол Игорева, еще школьного стола со стеклом, заклеенным экоатическими марками разных стран.

— Пустяк, — ответил Игорь. — Завтра встану.

Он, и правда, уговорился с Костей и Родькой, что они помогут ему передвигаться до института и обратно. Они поступали в разные институты, и дни экзаменов, к счастью, не совпадали.

Отец развернул от письменного стола промятый стул, присел.

— А кто это — мы?

— Родька... Костя... И другие из нашего класса... Бывшего.

— Но больше, надеюсь, никто не ушиб ногу, не расквасил носа, не рассадил себе лба? И не валяется в постели накануне последнего экзамена, может быть, решающего?

— Нет.

— Молодцы! — воскликнул отец и помолчал, шумно дыша ноздрями и, пытаясь остановиться, но уже не смог. — Неужели нельзя было поехать на реку послезавтра? Я понимаю — искупаться в такую жару, это заманчиво, я не против, но неужели нельзя было потерпеть, и после экзамена... Впрочем, уже ничего не поправишь. Надо было sheepishly мозгами раньше, мой сын... Да... Судя по тому, как выглядят твой велосипед, ты удалился ничего себе! Как же это произошло?

— Какая разница?

— Красивый ответ! Теперь прибавь: «Хиляй отселяя крупных хилем!» Или что-нибудь еще на вашем жаргоне. Давай!

— При чем тут жаргон? — спросил Игорь безучастным голосом. — У вас в юности тоже были какие-то слова для развлечения... В авиации вы и сейчас говорите: «Скозили на посадке» вместо «Неудачно приземлился»...

Отец взорвался:

— Черт возьми! Ты же еще меня воспитываешь! Лучше бы читал учебник!

Игорь приподнял книгу с груди и показал отцу, что это вовсе не утишило его.

— Черт возьми! — повторил он. — Все бывает! Ну, «скозили»... Оттого, что недоделка в машине. Зато помог ее найти... Или открыл свою недостаточную готовность к испытаниям новых машин. Случай, скажем прямо, редкий, почти невозможный... А тут? Легкомыслие и еще раз легкомыслие!

Игорь молчал.

Отец устал ждать.

— А если ты завтра провалишься, просто не сможешь встать, что мы скажем маме?

Отец боялся ее?

Нет, он, анализ, как огорчится мать, к тому же проявил Игоря, когда ее нет дома, сведет на нет все лечение, и отец берег ее. Надо было подумать обо всем там, на крачье, надо...

Отец притих, вздохнул.

— Вот... люди тушат пожары в лесах! Рискуют! Жертвуют собой. Да! А ты? Мало сказать — бесстыдность. Ведь так просто не сверзиться на ровном месте. Пижонил! Хоть кто-нибудь назвал тебя там пижоном?

Игорь вспомнил девочку в зеленом купальнике и сказал:

— Назвали.

— Слава богу.

Как будто в этом было все дело.

— Ты что же хочешь? — спросил Игорь. — Чтобы я до мелочи рассчитывал каждый свой шаг, каждый жест и никогда не предпринимал ничего угрожающего?

— Перестань меня воспитывать, пожалуйста! — крикнул отец. — Перестань!

И встал, потому что в прихожей зазвонил телефон.

Дверь осталась приоткрытой, и слышался его еще

нервный голос:

— Да... Нормально... Вот как? Угу... Ну, лады...

Он вошел, чуть-чуть успокоенный, судя по лицу,

но Игорь это заранее почуял, когда зазвучали привычные отцовские «лады» и «угу»... Отецглянул на него зоркими глазами из-под заросших бровей, сказал:

— Занимайся. Я закрою дверь, чтобы не мешать. У меня еще деловой звонок.  
— А как у тебя дела? — спросил Игорь.  
— Все путем, — ответил отец и вышел.

**У**ния была старенькая «Победа». Отец жаловалась, что так привыкает к машинам и так быстро расстается с ними в небе, что не хочет этого делать хотя бы на земле.

Утром он сказал Игорю:  
— Я сам отвезу тебя с твоим ушибом в институт. У меня есть немного времени.

Уже сварив яйца, он молот кофе — Игорь слышал это с дивана, пока с трудом надевал на себя брюки. Отец вошел и подставил шею:

— Хватайся!

Игорь обнял его за плечи и допрыгал до кухни. На столе лежал надвое разрезанный огурец, крупный и желтый, подпаленный солнцем, как все этим летом.

— Витамины, — сказал отец.

Из горла кофейника капало на край плиты.

Отец усадил Игоря и второпях стал неловко хвататься за разные рукояточки на плите, пока не выключил газ под кофейником.

— Удивляюсь, — сказал он, — как у мамы все получается!

Потом точно так же он довел Игоря до лифта.

Точно так же он поддерживал сына в аудитории, когда Игорь отвечал по билету и на дополнительные вопросы физики с кудряшками возле ушей. Поначалу она спросила Игоря:

— С вами?

Отец ответил за Игоря:

— Ушиб.

— А вы кто? — спросила она отца.

— Родственник.

Трудно было узнать прославленного летчика в «старикане», как называл себя иной раз сам отец, да и очевидно уж молодой была физичка, чтобы помнить фотографии отца в давних газетах, а быть может, и фамилию.

Среди летчиков, как и среди физиков, появилось многое множество молодых.

Она долго убеждалась в том, что Игорь представляет себе, что такое корпульскулярное истечение молекул из космоса, не понаслышике знает о нем. Игорь напрягся, говорил. Отец молчал.

Она спросила:

— А что вам особенно интересно? Чем вы интересуетесь?

— Ну, как... — Игорь посмотрел на отца. — Авиацией.

— А читали вы о таком явлении, как флаттер?

Игорь стал вспоминать...

Отец разглядывал какие-то разноцветные плакаты на стенах...

В конце концов физичка потребовала экзаменационный лист.

— Я ставлю вам четыре. За неуверенность кое-где... Физика — точная наука и не терпит неуверенных знаний.

Когда шли по коридору, из-за угла лестничной площадки выглянули лохмы Кости и курчавая, есенинская шевелюра Родька, высунулись их встревоженные рожи.

Игорь на пальцах показал «четыре», а они ему — что будут звонить, и скрылись, не желая попадаться на глаза его отцу.

В машине отец сказал:

— Хорошо, что не влепила тройку... Что же ты плавал, друг?

— Где?

— Флаттер — это же просто... Это быстро нарастающая вибрация оперения и всех плоскостей, от которой машина может рассыпаться в воздухе... Сейчас, правда, уже не может... С этим справились... Но раньше! Привел бы пример.

— Какой? Ты мне никогда не рассказывал, отчего разваливаются в воздухе самолеты. К тому же это не по программе...

Ехали по людной улице, отец внимательно смотрел вперед.

— А она фик-фок, эта физичка! Как кинозвезда! Колечки возле ушей. Это модно?

— Модно, — ответил Игорь и добавил, когда постягнулся к светофору и снова двинулись, — у меня сломана нога.

— Знаю, — сказал отец. — Вчера по телефону узнал. Кто-то из твоих друзей позвонил, чтобы спрашиваться о самочувствии, и в ответ на мое «нормальность» сказал, что у тебя же сломана нога!

Только теперь Игорь обратил внимание на то, как брешенно ехал отец, и вспомнил, что вслед за чьим-то — чьим? — звонком отец объявил, что у него «еще деловой звонок», и, прикрыв дверь, договаривалась, значит, может ли он прийти сегодня на службу позднее.

Молчали довольно долго.

Потом отец спросил:

— Ты уверен, что четверки хватит для проходного балла?

— С запасом, — ответил Игорь.

Отец остановил свою «Победу» у почтового отделения, подтянул ручной тормоз. Все в машине поскрипывали — и тормоз и сиденья, но как-то удивительно по-родному.

— Дадим матери телеграмму? — спросил отец. — У нас все в порядке. Поступили. Поздравляем... Годится?

Игорь кивнул в ответ и посмотрел, как, хлопнув автомобильной дверцей, отец идет к почте сбивающейся походкой.

Он всегда чуть подпрыгивал на ходу, когда волновался.

# Николай Старшинов



## У костра

Лес еловый.  
Дым лиловый  
Над пригаснувшим костром...  
Сядь со мною — и ни слова,  
Я прошу тебя добром.

Видишь, искры рассыпая,  
Догорает головня?  
Их глотает ночь спешая,  
Шаг за шагом наступая  
На тебя и на меня.

Вот она вокруг излукки  
Скала черное кольцо...  
У тебя худые руки  
И усталое лицо.

Но в глазах твоих, живые,  
Даже в нынешние дни,  
Все не меркнут фронтовые,  
Те далекие огни.

Ты пришла из дымных зарев,  
Ты по мирным дням прошла,  
Ничего не разбазарив  
Из того, что жизнь дала.

Прежней дружбы не утратив,  
Не забыв до этих пор  
Фронтовых своих собратьев,  
Боевых своих сестер...

Гаснет пламя на поленьях,  
Прогоревших до золы.  
Стынут руки на коленях,  
Словно первый снег, белы.

Но постой-ка, не вчера ли  
Эти руки поутру  
Землю рыли, и стирали,  
И дрова несли костру!..

Так мгновенье за мгновеньем  
Я сижу и жду зарю.  
И почти с благоговеньем  
На лицо твое смотрю...

★  
А тут — ни бронзы, ни гранита —  
Бугор земли  
Да крест простой...  
Она,  
Ничем не знаменита,  
Спит под цементной плитой.

А ради нас она,  
Бывало,  
Вставала поутру  
Чуть свет,  
Кормила нас и одевала,  
Свой хлеб последний отдавала  
В годины горестей и бед.

В делах — с субботы до субботы...  
А дочери и сыновья  
Дарили ей одни заботы,  
И больше всех, конечно, я.

Да, ей была со мной морока,  
Была и летом и зимой.  
И ни намека,  
Ни упрека,  
Ни боже мой...  
Ах, боже мой!..

И если стынет,  
Обитая  
Под сенью ветхого креста,  
Душа, такая золотая,  
Какой же быть должна плита!..

А тут — ни бронзы, ни гранита —  
Цемент  
Невзрачный и немой:  
Она ничем не знаменита,  
Ни боже мой...  
Ах, боже мой!..

★  
Получше присмотрись,  
Как небосвод высок,  
Там, где течет Нерис  
В сверкании осок.

Там быстрая струя  
Прохладна и чиста,  
Там песня соловья —  
Из каждого куста.

Там берега как сад,  
Там небо — голубей.  
Там никаких досад  
И никаких скорбей.

Там сердцу моему,  
Ну, как в родном дому!  
А спросишь почему!  
Отвечу почему...

Получше присмотрись:  
У самых светлых вод,  
Там, где течет Нерис,  
Моя любовь живет.



Только вспомню тебя — затоскую,  
Одолеет меня непокой...  
Где найти мне другую такую?  
Да нигде не найти мне такой!

Нету глаз твоих светлых бездонней,  
В них лучится сиреневый свет.  
И прохладных и добрых ладоней,  
Как твои, не бывало и нет.

Облечу океаны и сушу,  
Побываю в раю и в аду,  
Но такую высокую душу  
Никогда и нигде не найду!

## Девочка и чайки

Волны накатываются,  
Гальку моя,  
Волны дробят голубую гладь.  
Девочка вышла на берег моря  
С чайками утренними пограть.

Чайки кричат о недавнем штурме —  
Был он безудержным и крутым.  
Девочка их, белокрылых, кормит:  
Черные корки бросает им.

Зорко за нею следит вся стая —  
Чайки взлетают  
И на лету,  
Словно жонглеры, куски хватая,  
Благодарят ее за доброту.

Кружатся рядом, полны доверья,  
Над головой поднимают гам.  
И оставляют на память перья —  
Перья роняют к ее ногам...

Море Балтийское,  
Как ты мил! —  
Девочка русая так мила!  
Только ты, море добра и мира,  
Не обернулась бы  
Морем зла.

Лишь бы...  
А дети — повсюду дети.  
Тучи надвинулись — не беда.  
Были бы желтые дюны,  
Ветер,  
Чайки белые  
И вода...



Медлительно идут за днями дни,  
И месяцы, и годы — все в разлуке...  
Любимая, прошу тебя: верни,  
Верни мне губы, голос свой и руки.

Зачем ты их другому отдала,  
Свои глаза, улыбку, даже имя!  
В них было столько света и тепла,—  
Они всегда останутся моими!

У моря, где бесчинствует прибой,  
За тихой речкой или у вокзала,—

Но все равно мы встретимся с тобой:  
Я знаю — нас одна судьба связала.

И наши руки встретятся тогда,  
Глаза и губы — позднее свиданье...  
И нам за все убитые годы  
Не будет никакого оправданья.

## Олег Дмитриев



## Выпускаю птиц

Отпущен с уроков в десятом часу,—  
Каникулы были уже на носу,—  
Свистел я, школляр несмышленый,  
Подкладясь к щеглам!  
[Не в зеленом лесу —  
В квартирке своей двухоконной].

Вид клетки внезапно меня укорил,  
И тут я решительно дверцу открыл,  
И узенький мир распахнулся!  
И первый щегол,  
Красногруд, чернокрыл,  
В весеннеё небо метнулся!

Но страх обескрыл второго щегла.  
Я взял осторожно его из угла  
В накраинках белых помета,  
Но бедная птица никак не могла  
Поверить в возможность полета.

Она не сривалась с раскрытої руки,  
Царапали кожу ее коготки,  
Я чувствовал дрожь ее тельца!  
Она не хотела лететь, вопреки  
Открытыму сердцу владельца.

Но бросил я легкий комок за окно!  
Как взмыло над крышем цветное пятно,  
Следил я, вертя головою:  
Веселье дарящего волю  
Равно  
Восторгу обретшего волю!

Но только,  
Наверно,  
Лет десять спустя  
Постиг я то счастье,  
Какое дитя  
Могло лишь почувствовать смутно;

Чуть птица рванулась,  
На солнце блестя,  
В бездонное майское утро,  
Как, сердце стремя в благодатные дни,  
В прозрачные волны, в лесные огни,  
Слились доброта и отвага.

И, словно толчок,  
Свое счастье начни  
Простым созворением блага.

## Перевал

Чайка плавала надо мною,  
Чуть выплывая крыло,  
Над стезею моей землюю,  
Где встречались добро и зло.  
Вот я вышел к волне тяжелой,  
Заглушающей птичий крик,  
Не печальный и не веселый,  
Ни мальчишка и не старик.  
Возраст зрелости.  
С перевала  
Оглядевшись, я не спешил  
Громко каяться, будто мало  
В прежней жизни своей свершил,  
Жизнью будущей не прикрылся,  
Клятвы пламенной не давал,—  
Просто с молодостью простился,  
Просто вышел на перевал.  
И сегодня под крики птичий  
Я сомнений не разрешил,  
Жизнь прожитую  
Педантично  
Я по полкам не разложил.  
Не подвел ничему итога,  
Но, наверно, совсем не зря  
Я глядел далеко и долго  
В это море, судьбу не зля:  
Мы бываем смешны в отваге—  
Все былое сводить к нулю!  
Но и будущее о благе,  
Мне недоданном,  
Не молю,—  
Словно путник перед походом,  
Став в привычную колею,  
Сопряженное с небосводом  
Это море  
Глазами пью.

## При свече

А я всего сильней  
Тебя любил,  
Когда, венок теней плетя на стенке,  
Дрожащий свет  
Лицо твоё лепил,  
Ища неуловимые оттенки!

Я помню все,  
Что говорила ты,  
Что сам я говорил — почти дословно!  
Сердца открыты.  
Помыслы чисты.  
Душа спокойна, и дыханье ровно.

Твое лицо менялось каждый миг,  
Столь искусственно тот капризный гений —  
Трепещущего пламени язык —  
Желал каких-то новых светотеней!

Казалось мне, я знал судьбу твою:  
Дитя, девчонка, женщина, старуха  
Сидели рядом.  
Желтую струю  
Воск извергал, потрескивая сухо.

Наверное, вот так в былых веках,  
До взвинченной эпохи Эдисона,  
Влюбленные на всех материках  
Поверх свечи смотрели вдаль бессонно!

Витой фитиль,  
Сгорая на корню,  
Нас выделил на час из толп несметных  
И промбцил к высокому огню  
Поэтам воспести  
Душ бессмертных!

Ты не забыла, как тогда, в ночи,  
Подрагивало пламя, золотей!  
Ты помнишь, при мерцании свечи  
Черты прекрасней и слова святые...

## Акварель

Курортный городок  
Пустынен — не сезон.  
Он у воды прлиг  
И погрузился в сон.

А воздух мутноват,  
Как легкое вино,  
Что в прошлый листопад  
Счастливо рождено.

И грани не прямы,  
И краски не ясны,  
И темные холмы  
В пространстве смещены.

И небосвод от вод  
Не отделен чертой,  
И косо даль плывет  
За дымкой золотой.

Постой, не баламуть  
Полдневное вино,  
Потом осядет муть  
На уличное дно.

Придет лиловый час  
И высветлит весну,  
И краскам блеск придаст,  
А граням — прямизну.

Подвинется вперед  
Холмистая гряда,  
И каждый разберет,  
Где небо, где вода.

Так будет, но пока  
Иную жизнь творит  
Пустого городка  
Туманный колорит.

Смушенье поборов,  
Как пустяковый хмель,  
Как девять легких строф,  
Как эта акварель.



ОЛЕГ  
РУДНЕВ

1

# ПЕТЬКИНЫ ИМЕНИНЫ

МАЛЕНЬКАЯ  
ПОВЕСТЬ

Рисунки  
Александра  
ТОКАРЕВА.

Мы сидим у подбитого немецкого танка и нетерпеливо поглядываем на тропинку — по ней вот-вот должен прибежать Петька. Мы уже больше часа напиваемся злостью и досадой. Времени славу богу, а «буржуя» все нет и нет. «Буржуй» — это Петька, фамилия его — Агафонов. Но это по метрике или по тетрадкам. Для нас он «буржуй». Мы не виделись почти два дня — ездили на огороды.

И вот теперь, когда все собрались вместе и можно начинать дело, Петьку словно собаки съели.

Все — значит, Володька Киянов, Витька Полуященко, Ванька Кондратенко, Гришка Рудяшки и я. Но это тоже если читать по метрикам или по тетрадкам. У нас все куда короче: Володьку — он меньше всехростом — называли «Шкет», Витьку — он вечно спал — «Свой», Ваньку — никто так не прыгает, как он, — «Козлом»; мы всем гуртом не можем свалить Гришку с ног и звали его «бугарем», а меня — «Майором Булочкиным». Но это еще ничего. Сначала меня вообще называли «булочником». За то, что раздавал в школе хлеб. Сами же выбрали, а потом и пошло и пошло. Спасло кино «Небесный тихоход». Крючков там летчика играл, Булочкина. Кое-как удалось потихоньку перекрутить «булочника» на «булочкина».

Но потом наши прозвища менялись, забывались и исчезали совсем.

А Петька, он всю жизнь был «буржуем» — и при оккупации и после нее. Его за что ни схвати — везде сплошное «буржуиство». Даже в годах Нам по три надцать, ему послезавтра четырнадцать. На один год всего дела, а ходят на вечерние сеансы. Нас не пускают, хоть убейся, а ему пожалуйста. Уж как мы ни ублажаем тетю Пашу — в дверях всегда стоит она, даже в выходные, — как ни листим, как ни заскакиваем, все бесполезно. Вредная тетка. И ведь главное — не упросишь, не обманешь, знает каждого, как облупленного. Только у Петьки все получается, как он хочет.

Бродим мы, бродим возле «кинухи», зубами от злости щелкаем, всякие планы строим, несчастья на голову контролеров призываляем — все без толку. На-говоримся власть, наругаемся и — куда денешься?

начинаем собирать грёши на билет Петьке. Уж так хочется посмотреть, уж так хочется, столько разговоров о картине, что мы согласны смотреть даже чужими глазами. Обходится это нам недешево. Во-первых, Петька требует, чтобы билет ему купили на самый дорогой ряд, во-вторых, никто не знает, когда он вернется. Редко бывает, чтобы сеанс не прерывался из-за отсутствия света. Иногда эти перерывы бывают так часто и тянутся так долго, что зрителей просят принять досмотреть картину на следующий день. Помни, «Золотой ключик» мы всей братвой ходили смотреть три дня.

В общем, собираем мы Петьке грёши, и он идет. Высокий, с черным пушком под носом, в гимнастике, галфе и здоровых солдатских сапожищах — все, конечно, отцовское. Петька подходит к тебе Паше, небрежно протягивает билет и, не удостовив нас даже взглядом, исчезает в дверях фойе.

При фавищах в кинотеатре была конюшня. Теперь лошадей убрали, выбросили стойла, поставили лавки, в центре — несколько рядов деревянных кресел, натянули экран и начали показывать кино. От каменного пола и сырых, облупленных стен тянуло такой промозглой сыростью, что мы потом даже летом, на солнце долго не могли прийти в себя.

А зимой... Зал не отапливался, и когда экран вдруг угасал, в холодной темноте начиналось что-то невобразимое. Свист, крики, топот, словно в очреди у кассы. Появлялась тетя Паша с керосиновой лампой. Шум становился тише, но ледяной мрак еще зловещей.

Впрочем, люди мерзли и бралились не столько от того, что было холодно и неуютно, а потому, что вдруг исчезала жизнь, которая только что глядела на них с экрана.

И стоило ему вновь вспыхнуть, как в зале мгновенно наступала тишина, куда-то упывал холод, а с ним вместе и все заботы. Плакали, смеялись, хлопали, скрипели зубами и вдруг замирали в таком молчании, что, казалось, было слышно дыхание механизма из будки.

Шел второй послекоррекционный год.

Петья исчезает в фойе, а мы бродим и бродим, как неприкаянные.

Кварталчик, в котором расположен кинотеатр, маленький. Мы его, наверное, с сотню раз обойдем, пока не появится Петька. А он придет и начнет выкобениваться. Не спеша скрутит цигарку — из всех нас только он умеет крутить козырько никотину, закурит — только он умеет так курить — с прихлебом, с присвистом, кажется, дым идет даже из ушей, а потом посмотрит на нас своими «буржуйскими» глазицами и скажет:

— Это вам, пацаны, знать не полагается. — И томит душу до тех пор, пока кто-нибудь из нас не выведет:

— Ну и хрен с тобою, подавись ты своим кино!

Тогда только Петька смилостивится и расскажет. Манера говорить у него неторопливая, основательная. На слушателей он почти не смотрит и слова выбирает, как яблоки на рынке. Одно к одному, чтоб выбрать — так выбрать.

Если признаться, так слушать Петьку интереснее, чем смотреть кино. Нам как-то довелось увидеть то, что «Буржуй» недавно рассказывал. Мы ошарашенно глядели на экран и никак не могли понять, зачем там изуродовали Петякин рассказ. После этого случая, когда мы собирались вместе, кто-нибудь из нас обязательно просил:

— Ну, давай, сбреши что-нибудь.

Петька не обижался, рассказывал. Рассказывал так, что уж через несколько минут мы верили каждому его слову.

**B**итька Полуященко открывает глаза, лениво потягивается и предлагает:

— Может, за ним сбегать надо?

Гришка Рудышко огрызается мгновенно. Он вылезает из-под танка, сердито смотрит в сторону, откуда должен прийти «Буржуй», ехидничает:

— Машину послать. — И тут же уточняет: — «Студебеккер».

Бежать за Петькой — это два километра жары и непрятностей туда и два километра обратно. Солнце печет так, словно стояла над раскаленной печью. В каждом нашем дворе есть такие печи: не топить же в доме — и та дышать нечем. Но главное, конечно, не в этом. Можно спокойно нарываться на мамашу, и тогда пиши пропало. И откуда только берется у них вся эта канитель? Чуть свет — вставай! Наколи дров, затолпи печку, полей огород, натаскай в кадушки воды, отоварь карточки. Подай, принеси, сбегай! И все быстро, быстро.

Колонка у нас во дворе. Она единственная на всю улицу. Мне полегче — накачал и полил. А пацанам — накачал и тащи черт знает куда. А ведь этих надо... Считать не сочинять. Земля потрескалась от жары — льешь в нее, как в бездну.

Таскаем, таскаем — уже и в кистях и в плечах ломит. Сядем отдохнуть, так не успеешь и рта толком раскрыть, как чья-нибудь мамаша покажалась:

— И что ж вы, ироды проклятые, делаете? Тут маешься, гнёшься, а они лясы точат. Неужели ж у вас совести совсем нету?

Совесть, конечно, у нас есть. Мы вскакиваем и начнем бегать с такой скоростью, что водяной след на нашем пути не успевает просохнуть. Мы понимаем: матерям трудно. Да работы надо с хозяйством управляться, после работы тоже дел хватает: и постирать и заштопать... И где только они находят эту работу?

— Ма, можно я к Петьке сбегаю?

— Я те сбегаю, ирод проклятый.

— Та я ж только на полчасика.

— Знаю я твои полчасика.

— Та шоб я лопну, шоб...

— А ну, марши! Куприянике за керосином! Скажи, через неделю отпадим.

Куприяниха, мамина подруга, живет у черта на кульчах, и удовольствие с бутылкой керосина обогащает мне не менее чем в полтора часа. Приносишь эту несчастную бутылку, жадно хлебаешь у колонки воду и начинаешь по новой:

— Ма, можно я к Петьке сбегаю?

И так до тех пор, пока не услышишь в ответ:

— Да иди ты, горе мое, иди, чтоб глаза мои тебя больше не видели!

Пулей бросаешься со двора, но еще быстрее тебя настигает материнское «Стой!». Ничего не поделаешь, надо выслушать наставление.

Наши мамы не любят отпускать сыновей со двора не потому, что много работы, и не потому, что хотят, чтобы мы держались за их юбки. Просто мы взрываемся. Начисто, насмерть — почти каждый день. То на минах, то на бомбах, то на снарядах. У каждого из нас свои запасы, свои тайники, и каждый день то тут, то там слышатся глухие раскаты взрывов. Мамы при этом делаются белее мела, бросают все свои дела и бегут узнавать: чей сегодня? И когда после этого над садами и левадами начинает метаться беззушное материнское «Ванечка...», «Колечка...», «Шурочка...», Петья зло сплюнет сквозь зубы и осуждающе скажет:



— Не сработала макитра<sup>1</sup>.

Это значит, что те, от которых теперь останется в доме только портрет с черной каймою, нарушили элементарные правила саперного искусства. Их у нас много. Мы их сами выработали, сами опробовали — почитай, в каждом дворе кого-нибудь не хватает, — сами строго придерживаемся.

Снарядами проще, на снарядах только дураки рвутся. А чего? Не лупи по капюлю, не трогай головку... То есть трогай, но поосторожнее. Это не бомба. То посложнее. Да и то, если с умом, так тоже ничего страшного нет. Другое дело — мины, не минометные, конечно. Снаряды мы лущим, как семечки. Для чего? Порох достаем на расстопку, да и вообще пригодится. Вот настоящие мины — это да! Если не знаешь, не лезь. Прибереги на всякий случай, но не лезь.

У каждого из нас свои закрома. Есть чем и стрельнуть и рвануть... Уж если играем, так по-всамделишному, не с пукалками. Мы тщательно скрываем свое добро друг от друга, потому что, знаете, наши кодексы чести тоже имеют свои границы. К тому же, как ни верти, лучшее место у танка пока принадлежит Петыке: самые большие закрома у него. У этого «буржуя» есть все. Хочешь ракетницу — пожалуйста, нож — любой, детонаторы — на выбор. А недавно принес шесть новеньких ручных гранат, немецких. Знаете, тех, что с длинной деревянной ручкой. Не гранаты, а загляденье, в масле еще. Мы или рыбу глушили.

Уж как мы стараемся найти Петыкин склад, как стараемся, — ничего не получается. Хитрый до невозможности. Уж, кажется, все вокруг облизали, все изучили. А он прищурит свои «бургуйские» бензки и скажет:

— Хотите, одну штуку покажу? — И прямо на том месте, где мы топчемся каждый день, покажет такую бомбу, что слюнки потекут.

...Нет, не любят наши мамы отпускать сыновей со двора.

— Горе мое, я ж прошу... — Мать догоняет меня у калитки и смотрит такими глазами, словно на вину отправляет.

— Та я, мам...

Мы брешем, обещаем, клянемся и... взрываемся. А матери просят. Что им еще остается делать?

Я уже за калиткой и собираюсь бежать, как вдруг в окне появляется моя бабушка. Ну, теперь все, теперь только держись.

— Вера, ты його не пускай! — В нашем доме говорят по-украински, но в особо торжественных или крайних случаях переходя на русский. Это бабушкино «його» означает «кого». Она смотрит на меня обличающим взглядом и продолжает: — Он утром принес мину...

Я не верю своим ушам. Доглядела, старая. Бабушка видит мою растерянность и говорит еще более сурово:

— Он принес и сковав йиѣ пид викном. — Бабушка делает паузу и торжествующе заканчивает: — А я нашла и выкинула йиѣ в клозет.

Ждать больше нельзя ни одной секунды. Я срываюсь с места и бегу, что есть мочи. Никакими «стой» теперь меня не остановишь. Глупая, глупая старуха. Она думает, что обезвредила мину. Будто в клозете не может взорваться.

<sup>1</sup> Макитра — глиняный горшок. Здесь подразумевается глупая голова.

**П**отому, конечно, за Петькой никто не пойдет. Испытывать судьбу и рисковать свободой... Ко- он это надо? Мы будем ждать его здесь, в ле- вадах, до посинения.

Левады — это наша собственность. Совсем недавно здесь проходила линия фронта. Окопы, траншеи, ходы, переходы, доты и блиндажи заросли травой, и в этом царстве мы неуловимы. К вечеру, когда улицы устало отдуваются от жары и пыли, в левадах блаженство. Пахнет разнотравьем, коровьями лепешками и болотом. Здесь наш штаб, здесь мы отрабатываем все свои планы, отсюда начинаем набеги, сюда после них возвращаемся.

Петька появляется внезапно. Мы уже одурели от ожидания и теперь с трудом верим своим глазам. Во-первых, мы все время глядели на тропинку, «буржуй» словно вырос из-под земли. Во-вторых, у Петьки в зубах самая настоящая папириска. Не самокрутка, набитая самосадом, от которого мухи дохнут, а тонкая, с белым длинным мундштуком ароматная папириска. Эта папириска бросает последнюю каплю в переполненную чашу терпения, и мы собираемся хором высказать «паразиту» свое к нему отношение. Но не успеваем даже раскрыть ртов, как Петька, словно фокусник, лежит за пазуху и достает оттуда здоровоенный кусок макухи<sup>1</sup>. Мы зачарованно смотрим на «буржуйскую» руку и давимся слюной. А Петька продолжает фокусничать. Опускается рядом с нами на землю, снимает с себя рубаху, подстегивает — не дай бог, пропадет хоть одна крошка, — и начинает делить. Нас шесть человек, и каждый должен получить свою долю. Петька раскладывает макуху на кучки, внимательно изучает, перекладывает, отщипывает, добавляет. Мешать ему не надо: лучше Петьки никто не разделит. Он откладывается далеко назад, еще раз осматривает каждую кучку и, наконец, разрешает:

— Навались!

В мгновение ока на рубашке словно ничего и не было, как в цирке. Слышишь только хруст да чавканье. Каждый ест по-своему. Гришка, кажется, и не жует, целиком глотает. Ванька трещит, как крупорушка, Витя смокчет, словно сосет соску, Володька то и дело испуганно поглядывает на руку, в которой макуха остается все меньше и меньше, я тоже не могу удержаться и ем торопливо. Один Петька не жует, а, как он сам говорит, держит харч во рту. Держит и изредка склывает.

Каждое утро мы бегаем магазин за хлебом. Работчом пятьсот граммов, ребенку четыреста, индивидуальному двести пятьдесят. Нашей семье положено тысяча сто пятьдесят граммов. Это значит: матери — она работает на механическом заводе, мне — ученику четвертого класса, при немцах я почти три года не учился, и бабушке — она и не работает и не учится.

В магазин мы бегаем охотно. Вся надежда на счастье. Счастье — это маленькие довески в пятнацать, двадцать граммов, не больше и не меньше. Крохотные кусочки нас не устраивают, потому что на них и смотреть нечего, только живот разболится, а большие не тронешь. Хлеб — это все. Без него мы давно отдали бы богу душу. Летом еще полбеды — овощи, трава всякая... Мы из лебеды такой борьбы варим, что за уши не оттянешь. А зимой... Зимой тугой. Хлеб — наша главная еда. От большого куска не отщипнешь, вроде воровства получается. А маленький... Его перекладывать из руки в руку, из карман-

на в карман — того гляди, потеряешь... Перекладываешь, перекладываешь, а потом от греха подальше и положишь в рот. Не пропадать же добру. Петька при этом еще скажет:

— Шо ты глотаешь, как индюк? Ты его не тронь, он сам у тебя в роте растает.

— Та не могу я, Петя, оно само глотается...

— А ты думаешь, я могу? Я б от буханку как за себя кину.

Нет, Петька мог. Он ко всему подходил не так, как хотелось, а как надо было. Мы доедаем макуху и еще долго смотрим друг на друга, словно ожидая чуда. Если не удастся ночью обшарить поляковский сад, на сегодня это станет нашим единственным ужином.

Поляковы не нашенские, они приехали откуда-то сразу после немцев. Купили здоровенный каменный дом — при фрицах в этом доме был какой-то штаб — и зажили так, как никто у нас в городке не жил. При доме был большой старый сад с огородом, и Поляковы выдавливали из них все, что могли. Сам Поляков все время куда-то ездил, его всегда можно было видеть с одними и тем же чемоданом в правой руке — вместо левой руки был пустой рукав, заправленный за пояс гимнастерки, — вечно толкался на барре, что-то продавал, покупал. Его жена, бойкая, языковатая молодуха, тоже без конца куда-то ездила, что-то увозила, привозила. Из открытых окон поляковского дома всегда пахло жареным мясом и чесноком. Там постоянно собирались какие-то подозрительные компании, пили водку и веселились. Мужские и женские голоса визгливо кричали:

На позицию девушка провожала бойца...

Нам всегда хотелось запустить в окно кирпичину. Песно в этом доме никогда не пели так, как было на пластинке, а по-своему.

Не успел за туманами промелькнуть огонек, Как явился у девушки уж другой паренек...

Мужские голоса по-жеребячи ржали, женские взвизгивали. Петька в таких случаях зло сплевывал и, хмуро поглядывая на поляковские окна, рубил:

— Спекулянты проклятые! — Он брезгливо кривился и добавлял: — Шмары вонючие...

Мы не знали, что такое «шмары», но были с Петькой совершенно согласны. Вообще Петька знал все, о чем ни спроси. Еще при немцах был такой случай: недалеко от нашей улицы, возле небольшого двухэтажного дома — до войны там была какая-то контора — остановился автобус. Он привез женщин, десятка полтора, накрашенных и разодетых так, что кто-то из нас сразу определил: театр. Мы бы так и разошлись, уверенные, что видели артистов, если бы не Петька. Он глянул на нас, как на о столопов, и хмуро окрысился:

— Не театр, а бордель.

Это было новое для нас слово, но Петька объяснил, и все стало ясно. Непонятно было одно: как же они могут? Они же наши, советские!

...В саду у Поляковых есть все, даже баштан. Он то нас особенно привлекает. Но шутки с хозяином плохи. Однажды мы попытались — до сих пор кое-что потирает зад от одних только воспоминаний. Соль у однорукого черта крупная, горячая, как огонь. Правда, в следующий раз спекулянты побещали стрелять дробью, но это вряд ли лучше, чем соль.

Тем не менее мы пойдем на поляковский сад, и скорее всего это будет сегодня. Все зависит от одного обстоятельства. Мы должны наконец кое с кем рассчитаться. Это решение зрело давно, и теперь наступил тот момент, когда ждать уже больше нельзя. Но все по порядку.

<sup>1</sup> Макуха — жмых (у кр.).

ным носом, а он все стоял и стоял, словно не понимая, чего от него хотят.

— Ты что, падло, умер?

Лежащий на земле слегка приподнял голову и с удивлением посмотрел на бестолкового мальчишку. А тот и совсем отмочил такое, что и выдумать трудно — повернулся и пошел прочь.

К сожалению, далеко уйти Петью не удалось. Разрисованный синей тушью блатарь зверем выпрыгнул вверх, и не успели мы опомниться, как сбитый с ног Петью лежал на земле и изо всех сил старался уклониться от ударов сверкающих ботинок. «Поп» и «Слепой» по-прежнему ржали, а бьющий приходил во все большую ярость. Он буквально сатанел с каждого удара, его лицо набухало потом и кровью.

Вначале мы испугались и лежали, словно прикованные к земле, затем опомнились, вскочили, бросились на бандита и стали звать на помощь. Нас слишком много было, и мы не могли допустить, чтобы бы нашего товарища угробила какая-то сволочь, — не для этого он пережил оккупацию. Но наши крики привезли мужики, и нам удалось спасти Петью.

Он силился встать, но это у него не получалось. Все его лицо было залито кровью, рассечена губа, выбито два зуба. Мы умыли Петью, утерли и кое-как оттащили домой. Но на этом наши злоключения не кончились, а только начались. Петью упорно не хотел склонять головы, а «Сatanы» запомнили нас на смерть. От каждого раз делали нам какую-нибудь гадость — в отмечку за неповиновение. А один раз трахнул Петью кирпичом по спине так сильно, что чуть не сломал ему позвоночник. Мы сильнее гуляли с опаской и, если видели этого зверя, старались быстрее спрятаться. Одно время «Сatanы» куда-то исчез, и мы уже думали, что нашим несчастьям пришел конец. А «Сatanы» появился, и все повторялось сначала.

Но, как говорят, всему приходит конец. Приходит он даже терпению и страху. Помог нам в этом Петин брат. Вернее, из-за него мы решили, что терпеть дальше просто невозможно. «Сatanы», узнав, что этот семилетний мальчик — младший Агафонов, трахнул пацана ногой так, что у того поникне спины лопнула кожа. Падая, Ванюшка в кровь рассадил себе лоб, и его, чуть живого, принесли домой незнакомые женщины. После этого было единогласно решено: с «Сatanой» надо кончать. Кончать — это значит избить так, чтобы мерзавец навек запомнил, что такое драка.

Операция была назначена на сегодня, и мы тщательно к ней готовились. Продумали, где и как карабулить врага. Решили, что лучше всего это сделать недалеко от его дома. Там было одно такое темное местечко, удобнее не придумаешь. Запаслись оружием — плеточками из стальных проводков, взяли веревку. Ничего огнестрельного или холодного не брали. От греха подальше. Вообще с оружием была беда: и хранить нельзя, и сдавать жалко, и использовать — дураки.

Тактически операция выглядела просто. Окружить, сбить с ног и высечь. Но это на языке, а как оно получится на деле... Мы еще раз обсудили детали, проверили вооружение и выступили в поход. Впереди вышагивал Петя. В отцовской форме, в здоровенных сапожниках, которые он даже ночью снимал с неохотой, Петя напоминал заправского солдата.

Помню, как мы впервые увидели его в этом наряде. Оншел на встречу, а мы не верили своим глазам. Петя был единственным из нашей компании, у которого отец вернулся с фронта. «Буржуй», ничего не скажешь. Мы, обливая забор, глядели, как Петя поливает отцу на спину, как подает ему

«Сatanу» мы увидели сразу после немцев, он вернулся откуда-то из эвакуации. Дело было на реке. Мы только что искупались и грелись на берегу. Появилось трое парней. Двоих мы знали — это были «Поп» и «Слепой». «Поп» жил недалеко от железнодорожной станции и при немцах что-то там у них делал. А вообще это был вор. Ему уже стукнуло шестнадцать, и «Попом» его прозвали за длинные, гладкие лынчевые волосы, что спадали ему прямо на плечи, за елейный голосок, точно такой, как у батюшки из церкви, за быстрые, как у хорька, глазки, и за невероятную жаждность и неистощимость.

«Поп» был вор-пастухом. Он мог обокрасть самого себя — не признавал никаких понятий части, в том числе и воровских. «Поп» сам вспоминал такой случай. С одним из своих дружков напали до такого состояния, что свалился в канаву и заснул. Первым проснулся «Поп». В голове трещало, душу мутило, а опохмелиться было нечем и не на что. И тут «Поп» заметил, что у его дружка новые хромовые сапоги. Ни секунды не думая, «Поп» разрезал дружка, оттащил сапоги по одному знакомому адресочки, получил за них бытульку самогоня и тут же опохмелился. Его постоянно лилили свои же «приятеля», но он как-то умел вновь втеряться к ним в доверие и оказываться в компании таких же пастухников, как и сам. Петяка объясняло это просто:

— Падаль всегда с падалью снохается.

«Слепой» когда-то учился в нашей школе. Ему тоже было что-то за шестнадцать, и никто никогда не мог подумать, что он свяжется с блатными. Но он снохался с ними; чем дальше, тем больше сам становился «падалью». «Слепым» его прозвали за близорукость. А вообще их имен мы даже и не знали.

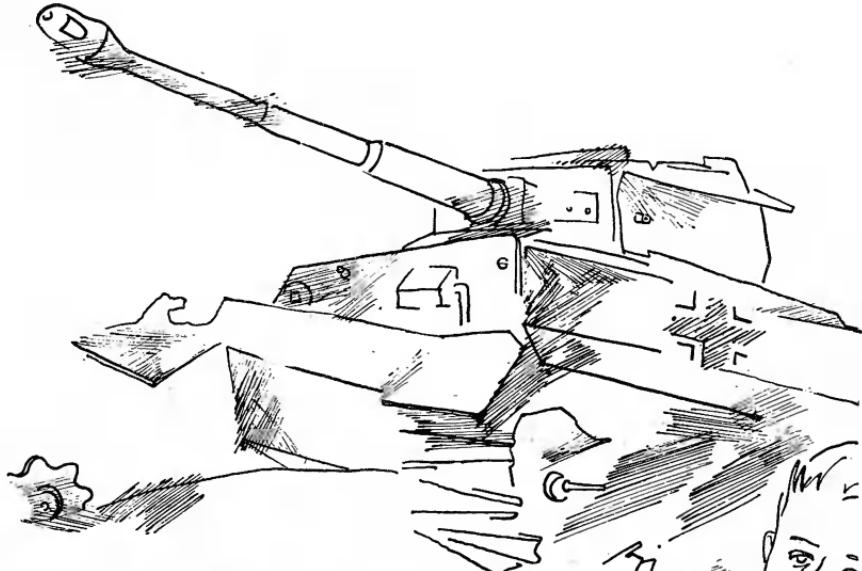
Третьего мы видели впервые. Ростом немного выше своих дружков. Сбитый, как каменюка, он широко расставлял ноги в широкарных, до блеска начищенных ботинках, и заложив руки в карманы, не шел, а раскачивался из стороны в сторону. Волосы были коротко подстрижены, отчего голова казалась серым шаром, густые черные брови нависли над настороженными глазами. Не вынимая из рта папиросы, он что-то рассказывал и, поблескивая огоньком фиксики, криво усмехался.

Компания подошла к берегу, незнакомый вынул изо рта папиросу, склонил и, сложив пальцы, словно для шаблана, выстрили ее в воду. А потом все трое начали раздеваться. «Сatanы», мы позже узнали эту кличку,бросили с себя рубаху и представил перед нами во всем своем вытатуированном величии. Синий, на всю грудь, орел, хищно сцепив лапы, крепко держал в них обнаженную женщину; на правом плече под таким же синим якорем было написано: «Нет в жизни счастья», на левом плече: «Не забуду матер родную!». Змеи, якоря, орлы и женщины текли друг друга не только на груди, но и на спине, и на ногах, и даже на пальцах.

«Сatanы» присел на траву и принял было рассстегивать ботинки. Затем вдруг остановился, поднял голову, как-то криво ухмыльнулся, посмотрел на Петью — тот лежал к нему ближе всех — и поманил к себе пальцем. Петяка нехотя встал, подошел. «Сatanы», небрежно вытянув ногу — при этом он улегся на траву, — лениво прошел сквозь зубы:

— Сними корочки, парче!

Мы с ужасом смотрели на Петью, на лежащего перед ним бандита и не знали, что делать. «Поп» и «Слепой» тоже смотрели на своего товарища и умирали со смеху. Ботинок покачивался перед Петью-



полотенце, как гордо вышагивает с отцом по двору, и молча давились завистью. А когда Петька начинал рассказывать, выходило, что войну выиграл его отец. Мы сердились, но опровергнуть ничем не могли: у него был свидетель, а у нас не было.

## 5

**С**коро стемнеет. Но нам нужен не просто вечер, нам надо, чтобы нагулявшийся «Сатана» пошел домой. А это будет не так скоро. Можно еще и искупаться и сделать массу дел. Их у нас тоже всегда хватает.

По дороге встречаем Сережку Белоусова. Он испуганно жмется к забору и смотрит на нас какими-то покрасневшими, крольчими глазами. Вот дурак — думает, будем бить. Больно надо!

Сережка пришел к нам весной, незадолго до канукул. Была большая перемена, и мы, поснившие от голода и от холода первой послесоюзной зимы, сидели около школы и грелись на солнечные. Мы были эльзы, как собаки. Нам почему-то не дали хлеба, и по всему было видно, уже не дадут. Обычно нам давали сто граммов хлеба, иногда его даже посыпали сахаром. Мы ждали этого часа, заранее глотая слюнки. И вот сегодня... Мы уже несколько раз обсудили, окончится в этом году война или нет, решили, что окончится, перемыли косточки всем учительям и все ждали, не позвут ли кушать. Вместо этого нам явилось такое, что мы забыли и про войну и про голод. Перед нами стоял пацан в новых коричневых сандалиях, серых в клетку брюках и белоснежной рубахе, на которой ярким пламенем полыхал красный галстук.



Если бы вдруг разорвалась земля или кто-нибудь крикнул «Немцы!», мы удивились бы значительно меньше — наш городок переходил из рук в руки четыре раза. Но то, что мы увидели, начисто переворачивало всякое представление о жизни. Такой мы и не знали и не помнили. Чистенская и сытая, она удивленно смотрела на нас и как бы дотыкалась: «Неужели это тоже школьники?» Пацан явно не знал, что делать, неловко переминался с ноги на ногу и то и дело перекладывал из руки в руку большой, с двумя никелированными застежками коричневый портфель. Затем решился раскрыть рот и спросил:

— Вы, мальчики, пионеры?

Всобще однажды нас уже оскорбляли. В первый раз в прошлом году, когда мы только пришли в школу. Совсем недавно бежали фашисты, и мы, давно позабывшие, что такое книжки, с опаской входили в полуразрушенное здание. Стекло в окнах не было, двери тоже. Стояли разномакиберные столы и стулья, да висела ободранная доска. Мы затыкали окна всем, чем попало, топили тем, что привносили с собой из дома, писали на старых книжках и газетах чернилами, сделанными из бузины. Впрочем, зиной не писали. В чернильницах был лед. Но не об этом речь.

В первый же день, только мы расселись за письменными, обеденными и кухонными столами и с опаской стали ждать, чтò с нами будет, в класс быстрой походкой вошла молодая, розовощекая женщина. В белой кофточке, новой черной юбке, она пошла к доске и, как-то очень красиво поставив ноги в туфлях на высоких каблуках, широко улыбнулась и проговорила:

— Здравствуйте, дети!

«Дети...» Мы сидели, задыхнувшись от злости и обиды, мы еще переживали оскорблениe, а Петьяшка громко и очень четко произнес:

— Во дает, стерва!

Женщина быстро-быстро заморгала, наливалась краской и ничего не понимала. Ей, наверное, казалось, что она ослышалась. Но потом сообразила, что на нее смотрят два десятка пар осуждающих глаз, что «стерва» — это она, закрыла лицо руками и стремительно выскочила из комнаты.

Через несколько минут в класс во всем воинском, только без погон, влетел высокий худой мужчина и перекошенными от бешенства губами не выкрикнул, а прохрипел:

— Встань!

Вот это разговор, тут и раздумывать не над чём! Коротко, ясно. Мы еще не знали, что перед нами директор, но уже насмерть окрестили его «гестаповцем». Вообще набор кличек у нас широкий: «полицай», «гестаповец», «фашисты». «Полицай» мы зовем всякую шваль, паскунников, «гестаповцами» — горлопанов и драчунов, «фашистами» — тех, кто объединяет в себе все эти качества.

— Встань!

Ого, оказывается, «гестаповец» умеет не только хрипеть.

— Кто оскорбил Зинайду Ивановну?

Зинайду Ивановну... Ее даже зовут, как ту. Недалеко от нас жила некая Зинка Ляленкова. Ходила все в черных юбках, белых кофточках да в туфлях на высоких каблуках. С фашистами, гардока, ходила, с офицерами. Мы ей один раз кирпичиной в окно запустили, оттуда высокично двое гадов, как лупанули из автомата... Еле ноги унесли.

— Я еще раз спрашиваю: кто оскорбил Зинайду Ивановну?

Интересно, а как ту звали по отчеству?

Но мы, как потом оказалось, оскорбили хорошего человека. Ни за что. Потом, конечно, помирились и даже подружились. Мы вели себя на ее уроках особенно прилежно и никогда не напоминали о нашем первом знакомстве. Она ведь тоже чувствовала себя, наверное, виноватой. «Дети...»

Но то была учительница, а это стояла зеленая сопля и что-то там варнакала: «Мальчики, вы пионеры?»

Пионёры мы или не пионёры? Принимать нас никто не принимал, клясть мы никаких не давали, галстуков на груди нам не повязывали. За слово «пионер» в нас стреляли, за красные галстуки вешали, а всякие клятвы выбивали из нас вместе с душой и кровью. Но когда мы впервые после немцев пришли в школу и нас спросили, пионеры мы или нет, все, как один, ответили «да». Никто нас не допытывал, никто не требовал доказательств. Разве кому-то что-то было неясно? А тут...

Петьяка медленно поднимается с земли, подходит к херувимчику и... Боже ты, боже... Края, словно поросенка режут. А всего и делов-то — обычная слизь. Гришук вон шомполами на виду у всех полроли за «Интернационал». Мы его пели хором. Только все успели смыться, а Гришку схватили. Так он только стонал, а не орал, как резаный.

Петьяка с удивлением смотрят на орущее перед ним существо и без всякой злобы, просто так, из любопытства, делают еще одну слизь. Вой переходит в вопль. Вокруг собирается вся школа. Такого тут не видели давно. Кто-то ограживает замки на коричневом портфеле, и все его содержимое вдруг оказывается на земле, кто-то щупает «матеряльчики» на штанах и рубахе, и все мы с удовольствием наблюдаем, как вспыхивают на ее белом полотне флюзовые пятна черноты.

Мать Сережки Белоусова врывается в школу через почла. Она буйвольно разbrasывает нас, стоящих на ее пути, и, резко толкнув ногой дверь, исчезает в кабинете директора. Мы, загизав дыхание, ждем, что будет. Вначале кажется, что за дверью очень много женщин пытаются перекричать друг друга. Директора не слышно совсем. Затем шум несколько стихает, и до нас начинают долетать отдельные слова и даже фразы: «Банда... Стадо скотов... Я не позволю...» И так далее. По мере того, как стихает шквал женских голосов, все явственнее слышится мужской басок.

Вначале директор доказывает, что мы хорошо поимели, что мы не банда и не стадо скотов, его голос постепенно крепнет, но вдруг вновь исчезает. Женщина берет разговор в свои руки. До нас долетает слово «мерзавцы». И вдруг мы слышим, как говорят мужчины. Теперь их в комнате значительно больше.

— Как вы смеете? Кто вам дал право? Вы понимаете, какую сказали гнусности? Этих ребят, у которых все детство в крови и голода...

Он не договаривает, потому что его прерывают:

— Так что же прикажете моему сыну? Одеться в рубище и вымазаться кровью?

— Перестаньте, как вам не стыдно...

Директор вновь не успевает договорить.

— Почему мне должно быть стыдно? Ребенка убивают какие-то садисты, а вы мне нотации читаете...

— Да не выдумывайте чепухи, ничего с вашим сыном не случилось.

— И это говорите вы, директор?

— Да, я, директор. Просто ваш мальчик нешел верного тона, и у ребят это вызывало реакцию.

Даже в коридоре было слышно, что мамаша захлебнулась воздухом.

— И это все, что вы можете мне сказать?

— Да, все.

— Мерзавцы!..

Нам показалось, что женщина бросилась драться. Мы так надавили на дверь, что она отворилась. Директор стоял посреди комнаты и смотрел на разъяренную мамашу побелевшими от бешенства глазами. Он не обратил на нас никакого внимания, просто он нас не замечал.

— Убирайтесь вон.— Директор пальцем указал даже на дверь, пошевелил губами и вдруг гаркнул: — К чертовой матери!

Мы дробью разлетелись в разные стороны и с удовольствием наблюдали, как мать Сережки Белоусова чешет по коридору. Вот, значит, какой у нас «гестаповец».

А с пакацом мы сами поладили. Вздули для порядка пару раз, и живи себе на здоровье. Парень вроде бы и ничего, но уж больно слюнявый.

## 6

**C**ережка жмется к забору, а мы проходим мимо, даже не удостоив его взглядом.

Время тянется долго и томительно. Уже и искупались, уже и стемнело, но до нашего часа еще далеко. Мы слоняемся из улицы в улицу, не находим себе места. Лениво шутим и, чем дальше бегут минуты, тем настойчивее пытаемся доказать друг другу, как мы скопоны.

С «Сатаной» шутки плохи. Этот не остановится ни перед чем, Каинем — так каинем, ножом — так ножом. Мы сами видели, как он писал на чинючкой<sup>1</sup> по лицу девочку. «Поп», тот поехиднее, поакнутинее. Обернут нож носовым платочком и словно пыль смахивает. Сразу и не поймешь, отчего у человека на спине расплываются красные пятна. А «Сатана» — нам кажется, ему очень нравится, что его считают бешеным,— бьет чем попало.

Петьяка останавливается, задирает голову и смотрит в небо. Мы тоже смотрим, но ничего, кроме звезд, не видим. А «Буржуй» вот так постоит-постоит, пошипает губами и скажет время, словно у него часы в кармане.

— Пора!

Мы идем на условленное место, располагаемся в кустах и замираем. Теперь время пойдет еще мучительней и дольше. Нам кажется, что мы стоим целую вечность, прежде чем в тишине ночи раздаются шаги. Я чувствую в животе холод, словно проглотил кусочек льда. Но тревога оказывается ложной. Это не «Сатана». Вновь шаги. Мы, напрягаясь изо всех сил, глядим в темноту, но это опять не тот, кого мы ждем. Облегченно вздыхаем, но не уходим. Проходит еще несколько человек с ташками, и наступает полная тишина. Матери, небось, совсем извелись, ожидаючи. Но что поделаешь — надо!

Мы чувствуем, как настороживается Петьяка, как напрягается его тело. Он вынимает руки из карманов, мы мгновенно улавливаем малейшие его движения, потому что знаем: ошибки не будет.

Я сижу в Таганке, ненаглядная,  
Скоро нас отправят в лагерь...

Песня надвигается все ближе и ближе. Кажется, еще совсем немножко, и она дохнет на нас своим хмельным перегаром.

<sup>1</sup> Чинючка — лезвие.

Петьяка раздвигает кусты и делает шаг вперед. Мы за ним. «Сатана» мгновенно останавливается, замолкает, вглядывается в Петьюку и вдруг хочет от удовольствия. Мы не успеваем опомниться, как из темноты за «Сатаной» вырастает «Поп» и «Слепой». Елки точеные, вот это влипли! Мы же сто раз проворяли, и каждый раз выходило, что именно здесь, возле дома, «Сатана» появлялся один. Как быть? Пока мы размышляем, «Сатана» берет Петьюку двумя пальцами за подбородок и вкрадчивым голосом спрашивает:

— Ну что, падло паршивое, по кустикам гуляешь, девочку хочешь? — Он делает правой рукой резкое движение вниз — пугает. Есть у «Сатаны» такое движение. Никогда не знаешь, когда свидят. Поэтому пугаись не пугайся, а пригнуться приходится. — Ух ты, фрайер! — восхищается бандит.

Мы знаем, что должно за этим последовать. «Поп» и «Слепой» наготове, руки у обоих в карманах. Бежать? Не получится, догонят. Действовать, как договорились? Но их же трое, и они с ножами. Мы не успеваем ответить ни на один из этих вопросов, как все за нас решает Петьяка. Он вдруг делает шаг назад и изо всех сил солдатским отцовским слогом бьет «Сатану» в пах. Блатарь сгибается в три погибели, и, когда его физиономия оказывается на уровне Петьюкиного живота, следует отчаянный удар по «сплатке».

«Сатана» валится на землю.

Нас никто не делит, мы сами мгновенно разбиваемся на группы. Петьяка и Гришка наваливаются на «Сатану», Ванька и Витька подступают к «Слепому», мы с Володькой окружаем «Попа». Нам некогда следить друг за другом. Да и не видно, темно. «Поп» по-кошачьи пригибается к земле, но вместо прыжки лягается назад. Надо глядеть в оба. Так и есть, забелело. Вот дурак, он даже сейчас прячет нож в носовой платок. Я слышу, как колотятся сердце, и тоже начинаю лягаться назад. Но вот Володька-«Шкет», зараза... Он повисает на руке у «Попа», и тот не может ничего сделать. Скорее на помощь! Я что есть силы бью «Попа» кулаком в подбородок. Этот удар я видел много раз и у наших солдат и у гитлеровцев. «Поп» выпускает из руки нож, бросается мне навстречу. Теперь только быть. Быть, быть и быть. Не давать ему развернуться. Я замечено, как «Шкет» становится на карачки. Ну и хитрюга. Теперь только посильнее толкнуть, и «Поп», как бревно, завалился на землю. Так и есть, «Поп» не замечает подвоха и летит через Володьку спиною на землю. Теперь не дать подняться. За себя, за Ваньку, за Петьюку, за Гришку... Жаль, что темно. Вот бы глянуть на первышную рожку. Небось, не хуже раздавленного помидора, даже быть уже нехочота.

«Попу» наконец удаётся встать на ноги. Он что-то мычит: не то молится, не то плачет, — и пускается наутек. Следом за ним удирает «Слепой». Видно, тоже хорошо досталось. Мы не кидаемся вдогонку. Черт с ними! Того, что они получили, им хватит на долго. Есть «тица» почице.

Петьяка и Гришка возятся с «Сатаной». Сопение, звон, хрест. Настырный бандюга, упирается. Мы окружаем его плотным кольцом и заваливаем на землю.

— Кусаешься, сволочь? — Гришка с размаху бьет «Сатану» по зубам. Хруст... Интересно, сколько теперь зубов потребуется этому красавчику?

Мы связываем «Сатане» руки и ноги и спускаем с него штаны. Даже на расстоянии чувствуется, как дышится его тело. Не нравится, голубчик! Это не над девками куряжиться на танцплощадке! Петьяка достает из-за голенища плетку из стальных проводков, размахивается и бьет по сверкающим белым ягодицам.

дицам. «О... о... о!.. У... у... у!.. Падло... Сука... А... я... я!..»

Заговорил, стервец, заговорил. Теперь пороть до тех пор, пока ею дурь не выкричит. Петьяка бьет размешисто, с толком. Несколько ударов, и белые пятна тускнеют. Петьяка бьет точно, не мажет. Надо только проследить, чтоб не запорол насмерть. А то будет, как тогда с полицаем.

## 7

**T**огда... Это было, когда наши высадили десант. Нет, надо все по порядку. Фашисты озвелись до того, что перестреляли всех мужиков. Старики, пацан — неважно. К стекне — и все! Кто мог, уходил в лес, кто мог, прятался. Потом вроде бы потихло. Потихло — это значит не всех скопом на бойню, а партиями. Как разверзают, особенно после налетов партизан, так и пошло. Кого к Меловой горе, кого на виселицу. Мы уж так наловчились прятаться, что сами себя боялись. И вот где-то примерно за год до ухода оккупантов выбросили наши парашютисты. То ли к партизанам, то ли еще для каких надобностей. Но только уж больно неудачно выбросили: перебили из всех начисто. А один, еле живой, каким-то чудом ушел и приполз к Агафоновым во двор. Петьяк с матерью и спрятали этого солдата, да не просто спрятали, а выходили. И вот ведь какой паразит, этот «Буржуй», — нам ни слова. Ну, да не о том речь.

Был у нас в городе полицай, некий Атаманчуков. Лютер зверь перед ним котенок. Ударить, убить — для него одно удовольствие. Да не просто убить, лишить жизни и сделать это, как он сам говорил, со смаком, с аппетитом. Чего-нибудь вырезать, выдавать, отворять, сломать. Мы сами однажды видели, как он еврейских детишек брал от ног и бил головками о дерево.

Вот этот самый Атаманчуков и выседил Петьянкиного солдата. В общем, никто не знает — то ли выседил, то ли случайно нашел. Только ворвались в дом Агафоновых полицай, перерыли весь двор и вытащили из сарая раненого.

Атаманчуков, как всегда, был пьян и куражился. Перво-наперво потребовал, чтобы солдат встал перед ним на колени и попросил милости. Вместо этого раненый всю свою ненависть к гитлеровскому холуя выплюнул ему в рожу здоровенным плевком. Что делал полицейский гад, как он только не изощрялся! Солдат не дрогнул. Когда бандит понял, что бить больше нечего, что он так и остался оплеванным, ярость его перешла всякие границы. Он набросился на Петянину мать, которую охраняли двое полицейских. Сам Петьяк находился в толпе соседей, вернее, соседек. Его полицай не видели, зато он видел все.

Взбешенный до последней степени, Атаманчуков на этот раз изменил своему правилу и с «бабой» покончил в два счета. Носком кованого солдатского сапога ударил женщину живот так, что Петьяке показалось: у него самого внутри вены слился в один сплошной кровавый синяк. Он рванулся к матери на помощь, но благоразумные руки взрослых удержали его на месте.

Мать не закричала, не упала. Она как-то присела и, словно хотела отдохнуть, прилегла. Но не успела ее голова коснуться земли, как полицай ударил сапогом во второй раз, так, что женщины закрыли Петяке глаза. Но он видел, он все видел. Мать ле-

жала на земле, скорчившись, а вместо головы у нее было... Мы тоже все видели.

Петьюку, задыхающегося от рыданий, унесли тогда на руках. На счастье, в тот момент никого из младших Агафоновых — ни Настеньки, ни Ванюшки — в доме не было.

После этого, как говорила моя мать, Петьяка постарел. Вечно эти взрослые что-нибудь выдумают. Почекнел — это верно, молчаливей стал — точно, а чтобы постарел... Какой был, такой остался. Одно только забил себе голову; порешу гада — это Атаманчукова, значит, — и точка. А мы что? Мы с Петькой согласны, мы сами все видели. Да только как это сделать?

Петьяк знал как. Он следил за полицаем и высматривал. Тот иногда наведывался к Лялянковой Зинке, а потом, пьяный, через вот это самое место, где мы мутузим «Сatanу», возвращался домой.

К той операции мы готовились посерезней, чем сегодня — знали, на что идем. Слава богу, не маленькие.

Мы высматривали полицая до тех пор, пока не подкараулили. Он был один. Едва переставляя ноги, Атаманчуков брел и мурлыкал какую-то песню. То и дело останавливалась для пополнения сил, он двигался прямо на нас. Мы вот точно так же хоронились в кустах.

Мне до сих пор кажется, что Петьяк укоюшил его сразу — так сильно он съездил его кирпичом по затылку. Полицай, даже не охнув, свалился на землю.

...Надо остановить Петьюку, а то «Сatan» уже не орет, а хрюпит, словно ему бритвой перехватили глотку. Мы развязываем «Сatanу» руки и ноги. Не стоит. Ничего, встанет. Встанет и будет помнить всю жизнь. Петьяк наклоняется к благарю и говорит то, что мы все думаем:

— В другой раз утробим!

Мы чувствуем, как дрожит тело бандита. Он сипит что-то сказать, но не может. Ну, пусть подумает, это ему полезно. Мы уходим.

Через сотню шагов Петьяк останавливается, размышляет. Затем круто поворачивается и решительно идет назад. Вообще Петьяка — молодец. Нам сажим как-то не по себе. Хоть и сволочь, но оставлять одного... Мы берем «Сatanу» на руки, тащим. Хорошо, что дом близко. Не человек, а кабан какой-то. Мы кладем избитого на крыльцо, стучим в окно. Теперь порядок, можно смыться, теперь с этой гнидой ничего не случится.

Мы возвращаемся к танку, опускаемся на землю и, обессиленные, долго молчим. Вообще-то после драк, а их у нас бывает немало, мы шумливые, как петухи. Каждый норовит доказать, что именно он решил исход битвы. А сейчас мы молчим. По телу постепенно разливается усталость, и мы начинаем дрожать не меньше «Сatanы».

Как же все-таки случилось, что мы сумели? Их было трое взрослых бугаев, вооруженных ножами, а мы... Мы вспоминаем только что перехваченное и не верим сами себе. Видно, прав Петянин отец, который говорит, что если знаешь, за что дерешься, так и сил второе больше.

Отец у Петяки тоже молодец. Скажет, как проклят. Жаль только — дома почти никогда не бывает, вечно в разъездах. Работает на автобазе шофером. Бывало, увидит у кого-нибудь из нас синяк под глазом или рассеченную губу, умхлынется и скажет:

— Вместо барабана употребляли? — А потом посырезываешь, сидят рядом с нами и чуют: — Вы, пацаны, мослов своих под удары не подставляйте. Не для того они предназначены. И вообще драка —

дело последнее. Это вон быки и бараны... У них другого языка нету. А вы же люди. Если уж драться, так хоть знать, за что. А не так — Ванька Петыку, Петыка Мишку, ни за что ни про что. В драке, братцы, есть всегда одно правило. Обижают слабого — заступись, тут и раздумывать нечего. Сам с кулаками в морду ни к кому не лез, не уподоблялся скотине. Но если тронули — бей! Бей так, чтобы никому не повадно было поднимать на тебя руку. Вот так-то, герой с синяками...

Мы несколько раз предлагали Петыке попросить батык разделаться с «Сatanой». Но он только хмурился и упрямо твердил:

— У него своих делов хватает.

### 8

**Д**а, видно, Петыкин отец был прав. Если знаешь, за что дерешься, сил больше. «Буржуи» закуривают. Самосад в его самокрутке потрескивает, как головешки в костре. Этот треск, кажется, слышен на все лавады, а едкий табачный дым, въедясь во влажные запахи разноголовья, белыми космами, словно туман, окружает вокруг нас кусочек ночи. Интересно, сколько сейчас времени? Дома, конечно, будет выволочка со всей выкладкой. Но, как говорится, семь бед — один ответ. Петыка докуривает свою сигарку, встает:

— Пойшли, что ли?

Вообще на сегодня можно бы и пошабашить. Впечатлений и так по горло. Но Петыка действует по шоферскому правилу: пошел на обгон — не дрейгайся! Раз договорились, значит, баста — идем на поляковский сад. Он у нас один из немногих оставшихся в живых. Когда-то этих фруктов было — ешь, не хочу. А теперь один-два садочки, и все. Немцы повырубили, партизаны боялись. Им партизаны мерещились на каждом шагу. Ветер подует, курица пребежит — хватаются за автоматы.

Партизан действительно было много. Они, как правило, появлялись там, где их меньше всего ждали, и, ошалевшие от злости и страха, фашисты рубили деревья и сохранили их в редких и крайних случаях. Возле штабов, госпиталей...

...Операция по поляковскому саду требует уже совершенно иного подхода и иной подготовки. Прежде всего надо проникнуть во двор. А это не так просто. Спекулянт обнес свои владения густой колючей проволокой. Мы каждый раз щупаем эту проволоку, проверяем, не пропустил ли паразит через нее ток. Во-вторых, надо обезвредить кобеля, что бегает по всему двору. Здоровенный, как буйвол, он может поднять такой тарарав, что не дай бог. Прощай раз так и случилось. Оттого и задницы до сих пор ноют.

Мы идем в свой блиндаж, берем еще с вечера приготовленные инструменты и амуницию и направляемся к поляковскому дому. Каждый знает, что ему делать, ничего напоминать никому не надо. Мы подходим к забору со стороны лавад. Это, кстати, наше счастье. В случае чего, есть куда смыться. Мы подходим и залегаем. Вперед уходит Володька. Надо проверить, все ли спокойно и нет ли кого во дворе. Кроме кобеля, конечно.

Володька уползает, а мы терпеливо ждем. Продолжается, кажется, целая вечность, прежде чем возвращается разведчик. Он скатывается к нам в окно и на немой Петыкин вопрос тихо отвечает:

— Порядок.

Значит, вперед! Мы подтягиваемся прямо к забору и буквально «умираем». Теперь начинается са-

мое сложное — проход во двор. На это дело у нас отрываются Петыка и Гришка Рудышко. То, что они сейчас начинают, требует невероятной осторожности и терпения. Надо сделать в проволочном заборе проход, и сделать это так, чтобы не раздалось ни единого звука. Для этого у нас есть специальные ножницы-кусачки. Солдатские, разумеется. Малейшая неосторожность — и пиши пропало.

Петыка ложится на спину, берет в руки ножницы. Гришка придергивает обеими руками проволоку, чтобы не звенела. Проходят секунды, минуты... Не заснули там падаины? Нет, не заснули. Раздается едва уловимый щелчок. Нам он кажется настоящим выстрелом, и мы от испуга еще сильнее прижимаемся к земле. Но вокруг все по-прежнему спокойно. Снова минуты, и снова щелчок. Минуты — щелчки... Минуты — щелчок...

Наконец Петыка и Гришка отодвигаются от проволоки, передают нам ножницы, поднимают с земли мешочек. Теперь наступает самое неприятное. Надо подплоти к собаченку будке, навалиться на пса, надеть ему на голову мешочек, перетянуть морду тряпками, чтобы не мог вязать, привязать кобеля и будке — и все это сделать совершенно бесшумно.

Разведчики исчезают в сделанном ими проходе, а мы, затянув дыхание, вслушиваемся в ночь. Иногда нас пугает стук собственного сердца. Главное, ничего не видно. Лежишь, как дурак, и ждешь у моря погоды. Ванька Кондратенко от напряжения шморгает носом, а мы передергиваемся, как от удара током. Нашел время проницать свое нюхало.

Тянутся минуты, тянутся, как волы по дороге, тянутся и растворяются в темноте ночи. Кажется, что-то просыпалось, что-то вроде возни. Но нет, все тихо. Вот опять просыпалось... Я прикладывая ладонь к уху и направляю слух до последнего. Так и есть, ползут. Появляются Петыка и Гришка. У обоих всклокоченный вид, дышат, как будто сбегали к Курпирякам и обратно. Петыка прятывает мне руку и торопливо, шепотом просит:

— Перевяжи!

Я ищу тряпку, а он так же торопливо объясняет:  
— Укусила все-таки, сволочь!

Мы перевязываем Петыке руку и по одному вслед за «Буркуем» лезем в поляковский двор. Теперь надо глядеть в оба и не мелочить. В саду есть все — и яблоки, и груши, и сливы, и абрикосы, и смородина... Можно растеряться и набрать чечули, например, смородины. А на кой нам? Мы договорились брать только яблоки. Может быть, мы позволим себе сорвать по кавуну<sup>1</sup>, они только-только начинают созревать.

Мы подползаем к намеченным деревьям, мысленно мы подползали к ним уже десятки раз, и начинаем трудиться. У каждого из нас есть торбочки, карманы, есть, наконец, место за пазухой. Мы работаем тихо, но упорно. Интересно, сколько рублей не досчитывается завтра спекулянт?

Наконец Петыка поднимает руку. Это значит все, шабаш. А жаль, хоть и браты уже некуда, но уходить не хочется. Да и яблочка еще ни одного не попробовали. Но приказ есть приказ, мы начинаем отходить. Теперь это намного сложнее. Ползти невозможно, мы словно одеты в яблоки, да еще торбочки в руках. Низко пригнувшись, цепляясь за ботву и спотыкаясь о кавуны, идем к выходу.

Нет, так уйти нельзя. Я не выдерживаю, наклоняюсь и срываю кавун. Стучать по нему некогда... Черт с ним, какой будет — такой будет. Мы выны-

<sup>1</sup> Кавун — арбуз.

риваем из-под проволоки и растворяемся в своих любимых левадах.

В блиндаже зажигаем лампу, сделанную из гильзы снаряда, и начинаем выкладывать добытое. Получается впечатлительный бугорок. Я снисходительно поглядывая на своих друзей и водружаю на вершину бугра кавун. Но, оказывается, моя снисходительность ни к чему: по казуну взял каждый. Мы весело хохочем и начинаем пир. Кавуны теплые, зеленые, как трава, но мы едим их, захлебываясь от удовольствия. Если бы этот момент к нам зашел кто-нибудь из посторонних, он, вероятно, подумал бы, что попал в синварио. Во-первых, яблоки мы едим так редко, что уже начали забывать их вкус, кавуны не знаем, как пахнут, во-вторых, мы проголодались так, что готовы съесть собственные болотинки.

## 9

**M**не всегда в этих случаях вспоминается Петька. Ведь только я один знаю, какой он «бурккий». Это было приблизительно за полгода до того, как ушли фашисты. После гибели матери в доме Агафоновых остались трое: Петька, Настенька, я было что-то чуть больше семи лет, и Ванюшка — ему тогда не было еще и пяти. Многие на нашей улице, в том числе и моя мать, хотели забрать детей к себе, но Петька уперся и никуда идти не захотел. Он сам ухаживал за сестренкой и братишкой: добывал еду, готовил, шил, обстригивал. В общем, делал все, что надо. Вот тогда и сказали, что он постарел.

Эта последняя зима при гитлеровцах была не дай и не приведи господи. Мы уже столько всего насмотрелись, что никакими руинами, никакими пепелищами или виселицами нас удивить было невозможно. Все, что можно было забрать, оккупанты забрали, все, что можно вырубить, вырубили, всех, кого хотели убить, убили. Мы жили как приговоренные. Долбили задувшуюся от мороза землю, провожали в нее близких и не знали, кто из нас следующий.

И вот в эту зиму, зиму последней игры жизни со смертью, Петька остался с детишками один. Ему помогали, его поддерживали, как могли и чем могли. Но в ту зиму у людей уже даже добрых слов не хватало. Петька черпал и расpusкал на глазах, вместе с ним чернели и пухли сестренка и братишка.

В ту зиму мы не играли. Петька, единственный из всей нашей компании обладатель настоящих коньков-«ножки», на улице почти не появлялся. Откуда на Петьку были эти коньки — оставалось сплошной загадкой. Когда мы, бывало, глядели, как Петька цеплял к валенкам свое блестящее сковорище, зависть наша переходила всякие границы. Мы готовы были отдать за такие коньки что угодно. Но Петька так дорожил своим богатством, что, вероятно, тоже готов был отдать за него что угодно. Поэтому ни об обмене, ни о про-даже не могло быть и речи. Мы катались на этих коньках под Петькиным присмотром, катались и наливались завистью еще больше. Ведь сколько ни катайся, а отдавать надо. Отдай и жди, когда их опять принесут. Да и дадут ли еще покататься? Правда, Петька всегда давал, но одно дело, когда даешь ты, а другое — когда дают тебе.

И вот однажды Петька пришел к нам в дом. Он топтался у порога, держка руки за спиной, и явно не знал, как начать разговор. Затем откашлялся, поглядел куда-то в угол и глухим, каким-то не своим голосом проговорил:

— Одолжите чего-нибудь из еды. Детишкам...

Потом вдруг заторопился, словно опасаясь, что его могут неправильно понять, вынул из-за спины руки и протянул самое дорогое, что у него было — коньки.

Мы смотрели на Петьку и с ужасом думали о том, что в доме Агафоновых дошли до точки. Я давился от слез, а мать не стеснялась, плакала. Она гладила Петьку по голове и приговаривала:

— Глупый, глупый... Еще сам кататься будешь...

Мать плакала. В нашем доме не было ничего, ни крошки. Мы только-только обсуждали эту проблему и спрашивали друг друга, как жить завтра.

И вдруг мать бросилась к вешалке. Она торопливо одевалась и, глотая слезы, повторяла одно и то же:

— Я сейчас, сыночек, сейчас... Я достану, обязательно достану.

Мать убежала, а Петька, еще немного потоптавшись у порога, положил коньки на пол, не спеша повернулся и вышел. Я оторопел и на какое-то мгновение замешкался. Затем схватил «ножки», выскочил на улицу и догнал Петьку:

— Ты что, ошалел, что ли?

Он посмотрел на меня каким-то долгим, странным взглядом и тихо проговорил:

— Спасибо.

Матери не было до самого вечера. Пришла она утром, разбита, протянула мне узелок и сказала:

— Отнеси Пете, быстрее.

Узелок был маленький, легкий. Я пулей долетел до Агафоновых — Петька жил от нас через два двора, — без стука рванул на себя дверь и вошел в дом. Гордо протянул Петьке узелок, но там и осталася стоять с протянутой рукой. Петька сидел ко мне спиной и беззвучно плакал. Я понял это по тому, что у него трясились плечи. Я не успел ничего сделать, ничего спросить, как откуда-то из темноты ко мне тихо подошел Ванюшка и робко спросил:

— Ты плынешь хлебец? А то Настька узе умелла.

До меня не сразу дошло это «умелла». Затем промелькнула догадка, я внимательней взгляделся в то, что лежало на кровати, и все понял.

Мы выдолбили мерзлую землю и навеки уложили в нее Петькину сестренку. Ванюшка ходил вокруг могилы и все просил не бросать на Настю камни. Глупый, он никак не мог понять, что нам нечем отогреть землю, ему все казалось, что Настеньке больно.

С тех пор в доме Агафоновых начались чудеса. Не какие-нибудь, а самые настоящие. Появились продукты, иногда даже мясо. Мы ошалело переглядывались, морщили носы и ничего не понимали. Петька, по-прежнему на улице почто не появлялся, был все время чем-то занят и замкнут еще больше. Однажды мы с Володкой Кияновым и Гришкой Рудяшкой зашли к нему в гости. Петька сидел у стола и кормил Ванюшку мясным бульоном. Мальчишка жадно глотал ложку за ложкой, и на его шейке под тонким, словно на папиросной бумаге, кожицей билась какая-то синяя жилка. Нам даже стало страшно: не лопнет ли?

От вида еды и запаха мяса закружилась голова. Казалось, вот этот суп, что ел Ванюшка, мы проглотили бы вместе с мясом. Петька явно не ожидал нашего прихода и смущился. Он смотрел на гостей из-под наступленных бровей, словно ожидая чего-то неприятного. Мы решили: он боится, что мы попросим поесть, — и заторопились на улицу. Но Петька встал из-за стола, загородил нам дорогу и попросил остановиться.

Он усадил нас за стол, поколдовал где-то в углу и вдруг поставил перед нами миску ароматного варева с мясом. Мы смотрели на мясо и соображали: спим или не спим? Потом решили, что не спим, и вы-

хлебали юшку в мгновение ока. Съели мясо и не оставили ни единой косточки. Мы грызли их до тех пор, пока они не превращались в муку.

Потом мы еще бывали у Петьки в гостях, и каждый раз он чем-нибудь угощал. То консервами, то печеньем. Вот тогда его и прозвали «Буржум». Взрослые тоже дивились тому, что происходило, и ничего не понимали.

Впрочем, что касается консервов и печенья, то здесь догадаться было нетрудно. Эти продукты были только у немцев. Достать их — значило или заслужить, или украдь. Заслужить Петьку у фашистов мог только то, что и все остальные. Значит... Мы множество раз наблюдали, что это значит. У гадов ведь за все расчет один. Как рассчитались, так и заказывай, мама, поминки. Мы предупреждали Петьку, но он только зло усмехался и повторял:

— Рубайте, рубайте!

Мы ели и хорошо понимали, что это «Рубайте, рубайте» ничего другого не означает, как «Не лезьте не в свое дело». Ничего себе, не свое. А если поймают?

Как-то раз я был у Петьки. Он накормил меня своим варевом, и мы сидели за столом, перелистывая откуда-то принесенную им книгу. Называлась она «Адыгейские сказки и сказания». В двери без стука, но рванув так, что она чуть не слетела с петель, вошли двое немцев. Закутанные черт те во что с ног до головы, они несколько секунд настороженно озирались по сторонам, затем, не обращая на нас никакого внимания, бросились к печке и, стасыв с синих, словно в сугородке скрученных пальцев рукавицы, начали греть руки. Гитлеровцы чуть ли не клали их на плиту, и нам все казалось, что вот-вот послышится запах горелого мяса.

А эзэсовцы грелись и не то от удовольствия, не то от боли становли. Постепенно они стаскивали с себя вещь за вещью. Вначале то, что было на голове, затем — еще раз убедившись, что в доме никого, кроме детей, нет, — сняли с груди автоматы, расстегнули шинели и, наконец, стасвили с ног сапоги. По комнате сразу распространился запах прелой и навоза. По мере того, как они приходили в себя, их носы все больше и больше улавливали запах вареного мяса. Когда солдаты отошли настолько, что были в состоянии ворочать языком, они выбросили нас из-за стола, переставили его поближе к печке и, не снимая шинелей, уселись друг против друга. Один из них, вырвав из принесенной Петькой книги несколько листов, протор ими стол и угрюмо приказал:

— Essen... schneller! — Но, видно, решил, что мы можем не понять, и тут же перевел на русский: — Кушай... Бистро!

Теперь уже «кушать» просят. Раньше, как в столовой, выбирали: «яйки... курица... мялко...». А теперь «кушать». Только и осталось, что «бистро». Нам это хоть по-немецки, хоть по-русски: Знаем, чем может закончиться.

Петья делает жалобное лицо и отрицательно качает головой. Нету, мол... Гитлеровцы недоверчиво смотрят на нас, жадно вдыхают аппетитные запахи и еще злее повторяют:

— Бистро!

Один из них поднимает автомат и направляет на Петью.

Второй незамедлительно делает то же самое и уточняет по-немецки:

— Schneller!<sup>1</sup>

Какое-то время в комнате слышны только тяжелое дыхание солдат да испуганные всхлипы Ванюшки. Затем фашисты еще раз объясняют:

<sup>1</sup> Быстрее!



— Вот... Хлеб! Ты понимаешь, русский швайн?  
Конечно, мы понимаем, и что такое «швайн», и что такое «капут»... Петька пытается втолковать солдатам, что хлеба нет, но те упорно не верят. Им просто кажется невероятным, что в доме, где так пахнет, нет хлеба. Один из них встает, берет свой шмайс и направляет на Петьку.

— Ich werde schissen! — Он тут же уточняет по-русски: — Пу-пу!

Петька делает широкий жест рукой и предлагает:

— Найдите хоть крьхотку!

Естественно, немцы ничего не понимают, но Петькин жест их почему-то успокаивает. Тот, что сидит за столом, говорит своему напарнику какие-то слова, и он недовольно опускает оружие.

Солдаты начинают шарить по комнате. Они буквально расшвырывают все, что попадается им под руку. Они ищут, и, по мере того как приближаются к углу, из которого Петька всегда выносит свои харчи, мимо становятся все жарче и жарче. Веди, если найдут...

Я гляжу на Петьку и удивляюсь: он совершенно спокоен. Гитлеровцы ничего не находят, от злости швыряют в печку нашу книгу и, погрозив на прощание кулаком, уходят.

Мы долго молчим, затем я тоже собираюсь домой. Колени дрожат, язык не хочет слушаться, но я все же говорю другу:

— Ты бы поосторожней! Ведь найдут, не поздоровится.

Петька по-прежнему спокоен, только очень бледен. Он смотрит на меня все тем же странным взглядом и угромно выдавливает:

— Не найдут. А найдут... — Он не договаривает, отворачивается и тихо заканчивает: — Что ж сделавши...

И все-таки только я один знаю, какой он «буржуй». Это было весной, незадолго до ухода оккупантов. Мне срочно нужно было повидать Петьку, передать какую-то новость. В доме я никого не нашел и вышел на улицу. Во дворе тоже вроде бы никого не было, и я уже совсем собирался уйти, как вдруг где-то за сараем мне послышался Ванюшкин голос. Решил пошутить, я тихо подкрался к сараю и осторожно выглянул из-за угла. Я как выглянул, так и остался стоять с открытым ртом.

Петька сидел на корточках и складывал в казанок мясо, а рядом лежала только что содранная собачья шкура. В том, что шкура собачья, сомнений быть не могло, потому что тут же лежала голова какого-то Полканка.

Петька, видно, почувствовал мой взгляд и резко обернулся. Я впервые увидел его таким растерянным, даже капельки пота выступили на лбу. Он встал, потоптался, зачем-то прикрыл на Ванюшку, который ничего не делал, набросил на казанок тряпку и, глядя куда-то в землю, сбивчиво заговорил:

— Ты это... Никому... Ладно! — Он замолчал, пошевелил губами, словно отыскивая нужные слова, и вдруг заволновался: — А что делать? Чего? Как Настя, да? Как Настя... — Он прижал к себе младшего братишку и все повторял и повторял, как в бреду: — Как Настя... Как Настя...

А вообще Петька научил нас не умирать от голода. Мы не брезговали ни хворашами<sup>1</sup>, ни воронами, ни воробьями, и чего мы только не ели в ту последнюю оккупационную зиму и весну! Хвораша сварила, так лучше любой курицы, а печеные на углях воробы — так и из уши не оттянешь.

<sup>1</sup> Я буду стрелять!

<sup>2</sup> Хвораш — супши.

**B** от такой он у нас, «Буржуй»! Мы доедаем ка-  
вуны, Петья добрую половину оставляет, это  
для Ванюшки с отцом. Мы делаем то же самое  
и начинаем хрустеть яблоками. Хрустим до тех пор,  
пока не набиваем оскомину. Встаем, собираем то, что  
осталось. Осталось много, никак не можем все заб-  
рать. Как же это в саду мы сумели так нагрузиться? Наконец, растопыренные и перекособоченные, выходим из блиндажа и с удивлением смотрим на посе-  
ревшее небо. Получим дома, ох, получим.

Но осталось последнее, самое приятное, и мы его делаем, пусть нас хоть побивают. Надо разнести яблоки по дворам, по всей нашей улице. Зачем? А куда ж столько съесть? Мы вон полчаса покрустили — и то брюхо, как барабан. Про запас! На всю жизнь не напасешься. Петькин батька говорит: «Чем больше отдашь, тем больше сам получаешь». Вон Вакуленчика... Бывало, идет — кажется, сало сзади капает. Померла — неделю никто не знал. Стацили с по-  
стели, а там деньги. Много, до ужаса. И советские и немецкие... А зачем?

Нет, мы знаем одно: достал — поделись! Смотришь, тебе достанется.

Мы разносим яблоки. Кладем — кому на порог, кому на подоконник. То-то будет утром радости!

Возвращаемся домой. Я открываю калитку, тихо подкладываемся к окну. Если форточка открыта, все в порядке. Открыта. Просовываю в нее руку, нащупываю шпингалет, поворачиваю, распахиваю окно и спрыгиваю в комнату. Спрыгиваю и останавливаюсь перед матерью.

Даже темноте видно, как блестят у нее от слез глаза. Она берет меня за плечи и начинает трясти так, что у меня из-за пазухи выскакивают яблоки. Я знаю: это у нее истерика. Конечно, мать переживает, это ясно. Но что я могу сделать? На пороге появляется бабушка, тоже не спит. И вот ведь какая штука: предупреди их заранее, что приду поздно, да еще расскажи, что мы собираемся делать, — не пустят ни за что. А как не пойти, кто за нас все это сделает? Мать трясет меня и приговаривает:

— Что ж ты, проклятый, делаешь? Сердце у тебя или каменюка?

Я знаю, что в этих случаях лучше молчать. Быстрее успокойся. Хорошо Петьке: его некому трясти. Мать погибнувшись приходит в себя, снимает с моих плеч руки, поворачивается и собирается уходить. Но в это время наступает на яблоко и чуть не падает.

Зажигают свет. Я стою, как чумичка, растопыренными фруктами, гляжу на мать синими финаглами и рассеченной губой и не знаю, куда деть свою кровь изодранные руки. Мать с бабушки испуганно ойкает, бабуля при этом даже крестится, отступают и чуть ли не в один голос спрашивают:

— Ворованье!

Вот это уже меня оскорбляет, и я обиженно вы-  
брасываю:

— Мы ж у Поляковых...

Мать насмешливо щурит глаза:

— И Поляковы тебе их подарили?

Я сбиваюсь с толку. Мы всегда считали, что взять у Поляковых — это не воровство. Я так и говорю. Мать смотрит на меня осуждающим взглядом и уточняет:

— А как же это называется?

Я моментально отвечаю, как учил Петьку:

— Это называется — отобрать у спекулянта награбленное.

Здесь не выдерживает моя бабушка. Она долго шамкает от возмущения губами.



— Это как же понимать? Спекулянт награбив, а ты у того украв? Ты-то кто после усього?<sup>1</sup>

— Не украл, а отобрал награбленное,— упорствую я и поясняю: — Не для себя, а для всех. Мы ведь... Я называю тех, кому отдали блоки. По мере того, как растет число фамилий, глаза у матери и у бабушки раскрываются все шире и шире. Мать наконец не выдерживает и спрашивает:

— Так вы что, весь сад?<sup>..</sup>

Я торопливо успокаиваю:

— Не, что ты, там еще осталось...

Мать садится на табуретку и смотрит теперь на меня уже совсем другими глазами. Вероятно, она пытается понять: воровство это или не воровство?

К какому выводу приходит мать, я не знаю. Я слышу только то, что должен был услышать:

— Больше со двора ни шагу!

Мать встает, кротко поворачивается и идет к кро-

<sup>1</sup> Усього — всего.

вати. Хоть полчаса поспать до работы. А я начинаю выкладывать яблоки. Когда заканчиваю разгрузку, бабушка заставляет меня вымыть руки, что я делаю с большой неохотой — устал до чертиков, — и приглашает к столу. Да, пожрать сейчас в самый раз. Я проглатываю один кусок хлеба, съедаю второй и только тут замечаю, что на тарелке есть и третий. История повторяется каждый день. Вначале я съедаю свою порцию, затем мать и бабушка подкладывают мне свои кусочки. Нехорошо, конечно, надо бы всем по-ровну, но есть так хочется, что я не в состоянии думать и ем.

Я засыпаю тут же за столом. Почти не чувствую, как бабушка с матерью перетаскивают меня на кровать, как снимают ботинки, укрывают. Откуда-то издалека доносится имя «Кармелюка<sup>2</sup>», слышится

<sup>2</sup> Кармелюк — украинский народный герой. Известен тем, что грабил богатых и раздавал добро бедным.

женский смех, но я не знаю, наяву это или во сне.

Пропыльяется поздно. По тому, как в комнате жарко, догадываюсь, что времени уже много. Сижу, собираю влагу и вдруг начинаю волноваться: кто в магазин бегал, кто город поливал, кто печку растапливал, кто таскал воду в кадушку?. В комнату заходит бабушка. Она держится за поясницу и кряхтит. Мать, та никогда не кряхтит: ей просто некогда.

Бабушка смотрит на меня строгими глазами, она как-то очень смешно сдвигает брови к переносице и думает, что это получается очень строго, садится на край кровати и вполголоса начинает:

— Поляков с утра бил по улицам, яблоки шукае<sup>1</sup>. К нам уже два раза прибегал, тэбз усё допытываясь. — Она опасливо косится на двери и заговорщики обзывают: — Так я их у печку сковала<sup>2</sup>.

Я начинаю давиться от смеха, и бабушка злится.

— Давай, давай, смыся, пока ня арестую. Поляков вон из дружка твого Петьки так просто видчиться<sup>3</sup> из может, усё возле их двора крьутся.

Я мигом соскаиваю с постели. Но бабушка начеку. Она загораживает мне дорогу и торжественно обзывают:

— Мать приказува: со двора ни шагу!

Я делаю страдальческое выражение лица и пытаюсь умилостивить старуху. Но все оказывается тщетно. Испробовав все дозволенные и недозволенные средства, я безнадежно машу рукой и соглашусь с приговором — ни шагу, так ни шагу. Выхожу во двор и слоняюсь без дела. Конечно, дня три карантин теперь обеспечно точно. Теперь ни я ни кому, ни ко мне никто.

Я выполняю бабушкины приказы и все с надеждой поглядываю на калитку: не появится ли Петька. Приходит с работы мать, и я начинаю двигаться быстрее. Полить, набрать, сбегать, принести... Я уже совсем теряю надежду, как вдруг во двор не входит, а влетает «буржуй». Мать сразу же напралывается к нему навстречу, но он не дает ей раскрыть рта и仁досто сообщает:

— Поляковых забирают.

Мы не сразу соображаем, кого забирают, как забирают и куда забирают. Но Петьке все объясняют:

— Милиция! За спекуляцио. — Он делает паузу и удовлетворенно заканчивает: — Доигрались, гады.

Мы все, в том числе и мать и бабушка, выбегаем на улицу и смотрим в сторону поляковского дома. Там милиция, машина, много народу и шума. Сам Поляков со своей красноморской бабой сидят в кузове машины и затравленно озираются по сторонам. Они сидят, а из дома все выносят и выносят какие-то вещи. Петька объясняет:

— Награбленное.

Машину уезжает и увозит спекулянтов. А мы с Петькой переглядываемся и хохочем. Мать глядит на нас, делает вид, что сердится, но не выдерживает и тоже смеется. Стояло нам вчера коричтесь, когда сегодня заходи и бери у Поляковых что хочешь. Но как раз сегодня мы и не пойдем: не у кого брать.

## II

**C**ледующий день проходит обычно. С утра мы бежим с Петькой в магазин, поливаем огорода, в общем, делаем что всегда. Сегодня особенно хочется, чтобы день закончился побыстрее. Сегодня у Петьки именины и, наверное, будет угощение. Каждый раз, когда у кого-нибудь именины, нас чем-

<sup>1</sup> Шукае — ищет.

<sup>2</sup> Сковала — спрятала.

<sup>3</sup> Видчиться — отступиться.

нибудь угощают. Прошлый раз Петька кормил нас гарбузовкой кашей. До сих пор слоники капают.

Я все чаще и чаще поглядываю на неповоротливое солнце и жду своего часа. Еще немного — и уже можно будет выбросить первое пробное:

— Ма, можено я к Петьке сбегаю?

Но я не успеваю сказать этих слов. Земля и небо раскальваются от такого взрыва, что стекла из окон просто высыпаются наружу. Взрыв раздается в левадах, это я могу сказать совершенно точно. Такого грохота в нашем городе не слыхали. Мы какое-то время смотрим друг на друга, затем срываемся с места и бежим. На улице я вижу пасаенов и мысленно про себя отмечаю, что среди них нет только Петьки.

Мы бежим, а страшное предчувствие начинает грызть душу. Пробегаем мимо танка, у которого обычно собирались по вечерам, и бежим туда, где...

Петька нам совсем недавно показал такую бомбу, что мы только ахнули. Присыпанная со всех сторон землей и поросшая травой, она казалась большим бургом, и, возможно, поэтому мы ее не замечали. «Буржуй» тогда все ходил и ходил вокруг своей находки и мечтательно твердил:

— Вот колупнуть бы.

Мы добегаем до громадной, еще дымящейся воронки и застыаем в немом молчании. Такой воронки еще никто из нас не видел. Мы обходим воронку со всех сторон и ничего не находим.

Подбегают люди. Среди них и моя мать, и бабушка, и Петькин отец, у него сегодня выходной, он его специально привел к Петькиным именинам. Мы ходим и ходим вокруг развороченной и дымящейся раны и вдруг замечаем такое... Как по команде, наклоняясь вниз, разрасываем землю, достаем солдатский сапог с блестящими подковками. Мы этот сапог не перепутаем ни с каким другим.

Нас окружает толпа. Петькин отец тоже наклоняется, смотрит на сапог и вдруг кидается на землю. Он разрывает ее руками и ищет, ищет, ищет. Он никого не слушает, ничего не видит и не понимает. Мы смотрим на него и дивимся: «Неужели он не понимает, что ничего найти невозможно? А еще солдат?»

Хороним мы Петьку через день. Четверо мужчин несут гроб. На какой черт Петьке этот гроб! Мы шагаем за Петькиным отцом и удивляемся. Голова старшего Агафонова белее молока. Говорят, это после того, как он присидел у воронки всю ночь. Говорят... Будто мы сами не сидели с ним рядом. Только мы не смотрели на его голову, а когда наступило утро, он уже был вот таким.

Мы хороним Петьку. Нет, не хороним. Мы закапываем гроб с сапогом и возвращаемся домой. Возвращаемся, чтобы поливать огорода, их теперь у нас на один больше, бегать в магазин за хлебом, присматривать за Ванюшкой да и за его отцом тоже...

А он... «буржуй», даже бомбу для себя выбрал та-ку же, «буржуйскую».

Мы возвращаемся домой и упорно думаем о том, что теперь Петькин склад надо найти во что бы то ни стало... Ведь не пропадать же добру, если не сработала макитра...

г. Юрмала, Латвийской ССР.

# Игорь Шкляревский



◆

Я получил твое письмо,  
но я не открывал его,  
чтоб длилась радость ожиданья —  
есть мука сладкая молчанья!

Так в горле сдерживают крик  
и счастье попадают в сети,  
увидев первый боровик  
в сосновой роще на рассвете.

Так в детстве на вершине взгорья  
услышат чаек голоса,  
но прежде, чем увидеть море,  
спешат на миг закрыть глаза...

Так покидают самолет,  
не зная, что они воскресли,  
а чудотворец и пилот  
бессильно остается в кресле.

Так рентгенолог гасит свет,  
и моля снимают изучает,  
и медлит, но уже он знает,  
что страшной опухоли нет.

Так в ласточкиной синеве  
душа купается отважно!  
А что написано в письме,  
в конце концов совсем не важно...

## Вечные радости

Навьючили мы лошадей  
узлами, ружьем, дровами,  
чтоб рядом с горными орлами  
покинуть, не зная новостей.  
Защелкал воздух от бичей!  
Мы сами не из тех, кто глухо  
живет, когда на шее муха.  
Кровь побежала веселей.  
И двинулся наш караван!  
Сначала мы вошли в туман,—  
слова как будто загустели.  
Потом курицы обледенели,  
пространство было в барабан,  
от ветра уши заболели.  
Мы перевалили преодолели.  
Дыханье пальцы отогреши.  
И склоны гор зазеленели...  
Синь резанула по глазам —  
и в воздухе расцвел фазан,  
роющая памя каждым взмахом!  
Он улетал, гонимый страхом,  
и все равно прекрасен был!  
Он радугу возвел над нами,  
и я охоту разлюбил  
и щеки остудил стволами.  
Уже все больше я люблю,  
когда ломает счастье мою,  
когда насекомые дырявят вентерь  
большая редкая форель,  
когда заряд летит на ветер,  
когда живой уходит цель.  
Не старость это и не жалость,  
а ко всему живому жадность! /  
...У ног моих текла змея.  
И вздрогнул. И подумал я:  
как велика еще земля!  
Мы всю испортить не сумели.

◆

Когда я слишком долго весел,  
вдруг ночью обжигает стыд,  
землею пахнет влажный ветер,  
и кто-то тихо говорит:

служу отчизне, правде, веку.  
Душа — берестою в огне.  
Но чем трудней как человеку,  
тем как поэту легче мне.

**22 июня 1972 года**

Лежим с зашитыми желудками  
и ночью шуточками жуткими  
поддерживаем бодрый дух.  
Мир сразу выцвел и потух.

Беспомощные, словно дети,  
бессильные, как старики,  
выталкиваем языки...  
Боли разбудила на рассвете.

Как щелочка едкая, как соль,  
все краски вытравила боль..  
Включили радио. И вдруг  
над скопом наших жалких мук  
плеснула сила неумытая:  
— Вставай, страна огромная...

И кто-то бледный у окна  
сказал спокойно и жестоко:  
— Сегодня началась война,  
уже убитых было много.

— И раненых, — сказал другой.  
Музыка громом оглушила,  
и перед болью мировой  
моястырь отступила.

И я с осколком в животе  
себя представил в дымном поле,  
и появился смысл у боли,  
и разум был на высоте.

Всего за несколько минут  
мы пережили все начала,  
и душу боль не унижала.  
Пускай нас внуки не поймут!

И всплески радужной форели  
и на снегу медвежий след —  
вот новость лучшая недели  
и жизнестойкости привет!..



Тишина — это лозунг мира,  
Вот в чем суть любой тишины,  
Задевающей честь мундира  
Делегатов любой войны.

Все ты видишь, однако, себе не на горе,  
все ты знаешь, однако, без лишних забот.  
Знаешь — Волга владает в Каспийское море,  
знаешь — Неман в Балтийское море течет.

Тишина — это лозунг века  
И закон для любых планет,  
Чтоб могла работать аптека  
И трудиться любой поэт.

Разве время тебе отдает их навеки!  
Не в моря, а в грядущее реки текут!  
Так отдай же грядущему чистые реки,  
а не то твои внуки тебя проклянут.

Это самая суть прогресса —  
Современная тишина.  
Тишины боится агрессор.  
Тишины боится война.

Эту вязкую глину, лесные болота,  
цепкий вереск и сосен предсмертную рать  
сбереги, потому что надежной оплота  
никогда и никто не сумеет создать.



Разлюби этот мир со своих колоколен,  
попоби его зависию голых планет,  
и тогда, умирая, ты будешь склонен,  
а для смертного радостней участи нет.

Уступаю дорогу цветам,  
Что шагают за мной по пятам,

Настигают в любом краю,  
В преисподней или в раю.

Пусть цветы защищают меня  
От превратностей каждого дня.

Как растительный тонкий покров,  
Состоящий из мхов и цветов,

Как растительный тонкий покров,  
Я к ответу за землю готов.

И цветов разукрашенный щит  
Мне надежней любых защит.

В светлом царстве растений, где я —  
Тоже чай-то отряд и семья.

На полях у цветов полевых  
Замечанья оставил мой стих.

## Варлам Шаламов



Я поставил цель простую:  
Шелестеть как листопад,  
Пусть частично вхолостую,  
Наугад и невплодад.

Как сердечный больной,  
Для словесности,  
Я живу тишиной  
Неизвестности.

Я такой задался целью:  
Беспрерывно шелестеть,  
Шелестеть льдяной метелью,  
Ледяные песни петь.

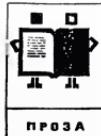
Круг вращают земной  
Поколения.  
Мое время — со мной!  
Без сомнения.

Я пустился в путь бумажный,  
Шелестя, как листопад,  
Осторожный и отважный,  
Заменяя людям сад.

Иногда в одиноком походе  
Рукавичка — и то тяжела!  
Или даже при зимней погоде  
Рукавичка не держит тепла.

И словарик ударений  
Под рукой моей всегда,  
Не для словоговорений  
Шелестит моя вода.

И таит непомерную тяжесть  
Принесенный с земли карандаш,  
Карандаш, поднимаемый даже  
На плечах на десятый этаж.



АЛЬБЕРТ  
ЛИХАНОВ



ПОВЕСТЬ

# ОБМАН

Часть первая

## ОРАНЖЕВЫЙ САМОЛЕТ

1

**О**ркестр заиграл туш, духовики из музыкального кружка весело раздували розовые щеки. Кто-то ткнул Сережку в бок, кто-то шлепнул по плечу — он покрылся испариной, только кончик носа почему-то мерз, вскочил, отбросил со лба светлую челку и побежал к сцене.

Сережа бежал и бежал вдоль рядов, и на него все смотрели, и от музыки, играющей в его честь, и от тугих всплесков аплодисментов, и от яркого сияния многоярусной люстры он как бы потерял себя, не чувствуя ни рук, ни ног, ни тела. Он словно летел туда, к сцене, и полет этот был бесконечным, медленным, тягучим...

Потом он оказался в слепящем свете рамп. Растирая топтался на виду у всех. Со страхом, как в пропасть, смотрел в зал, шевелящийся и возбужденный. Оборачивался на президиум.

— Первый приз,— наконец сказал главный судья,— вручается Сергею Воробьеву, установившему абсолютный рекорд. Приз и ценный подарок — именные часы — вручает Герой Советского Союза, пилот первого класса Юрий Петрович Доронин.

Аплодисменты загрохотали, как канонада, высокий, толстоносый Доронин протянул Сережке широкую и грубую ладонь, сказал в шуме: «Годзя-ляю»,— и начал давать ему одна за другой кучу грамот — за первое место среди юношей, среди взрослых, от комсомола, за абсолютный рекорд и еще, еще какие-то, и с каждой грамотой в зале нарастал добродушный смешок, а когда Герой положил коробочку с часами прямо в блестящий кубок, потому что руки у Сережки уже были заняты многими наградами, зал захотел.

Доронин поднял руку, и стало тихо.

— Ребята! — сказал летчик.— Вот этот знаменитый самолет! — Он под-

Рисунки  
Геннадий  
НОВОЖИЛОВА.

нял вверх оранжевую модель с перебитым крылом, Сережину победу, абсолютный рекорд! — Ее нашли колхозники в лесу за много километров от старта. Но я не о рекорде! — Он повернулся к Сереже. — Мне сказали, что Сергей Воробьев мечтает стать летчиком. Я уверен, он станет им, потому что во всяком стремлении должны быть вера и воля. Сегодня мы празднуем первую Сережину победу. Придет время, и у него и у вас будут победы позакаже. Стремитесь же к ним!

Сережа бежал обратно, и снова грохотали аплодисменты, отмечая самый радостный день в его жизни.

## 2

**Г**олова немножко кружилась.

Слава! Фу ты, он ее и не ждал. И не готовился вовсе — она обрушилась, как шквал, как ураган, как ливень.

Впрочем, какая это слава? Случайность! Ведь и не его модели могли подхватить эти невидимые, стремительные, восходящие потоки, прилепить потом, как марку к открытке, к густому, кудреватому облаку с золотистыми краями! И привет! Не страшно, что кончится горючее, что остановится мотор... В общем, просто выигрыш по лотерее, слава бывает не такой, слава — это же когда ты сам, сам что-то делаешь... Вот если бы быть там, в модели, если бы управлять ею хотя бы с земли, по радио, тогда другой разговор. А тут. Крутанули колесо, развернули билетик — вам, гражданин, часы и кубок. И стопка грамот.

— По-моему, ты уже зазнался, — говорит Галя, — уже рисуешься!

Она идет впереди Сережи — он ее всю разглядеть может, — черная коса на плече лежит, а когда Галя поворачивается к нему, Сережа смущается и смотрит в сторону.

— Слово самурай! — смеется он. — Знаешь, на каждую модель мы наклеиваем табличку: при нахождении просим вернуть туда-то и туда-то, но, клянусь, никто не думает, что наклейка пригодится.

— А все-таки приклеиваете? — не верит она.

— По правилам так положено, — говорит Сережа. Он разглядывает удивленно свой оранжевый самолет, отмочивший такой номер, и сам себе не верит.

Когда модель ушла под облако, как водится, стартовал спортивный самолет. Он должен был преследовать ее и преследовал, пока не потерял из виду. Сережа жутко расстроился — ведь он выбыл из соревнований. Но через неделю оранжевую модель привез юфер грузовушки. Он сказал, что модель ему дали в сельсовете, и назвал очень далекое село.

И вот теперь Сережа нес свою птицу с переломанным крылом, разглядывал ее удивленно.

— Вот Доронин! — говорит Сережа восхищенно. — Это да! Человек! Вражеский самолет таранил!

— И все-таки у твоего Доронина, — спорит Галя, — славы меньше, чем у той же Дорониной, у артистки. Ты прямо смешной! Времена другие!

Другие, соглашается про себя Сережа. Ведь этот герой Доронин теперь на «кукурузнике» летает, на четырехкрылой этажерке. А когда-то немец таранил. Но с Галей он спорит:

— Допустим! Все, допустим, относительно! Но тогда нельзя так спорить! Ведь в ответ я скажу, что твою Доронину не сравнять с Гагаринами.

— К старости, — Галя весело рассматривает Сере-

жу, — ты, наверное, станешь жутким сухарем. — Она машет рукой. — И, уж конечно, будешь технадзором!

— Буду, — соглашается Сережа, — для авиации гуманитарного образования маловато.

Он кивает Гале и, улыбаясь, ждет, пока ее скроет поворот. Галя оборачивается, улыбается тоже, и ему легко и радостно на душе.

## 3

**С**ережа входит в комнату, и его сразу оглушает самодельная музыка.

— Труу-ру-ру-ру-ру-ру! Ру-ру-ру-ру! Труу-ру-у-у-у!

Мама трутб в свернутый журнал, Олег Андреевич играет на расческе, тетя Нина стучит ложками по блюдам.

Сережа слепит крахмальная скатерть, золотистая пробка на толстой бутылке.

— Итак, — говорит Олег Андреевич, — торжественный банкет считают открытый!

Он в милиционском мундире, на погонах — майорская звезда.

Сережа кладет на пол свою замечательную модель, гости разглядывают грамоты, часы, кубок.

— За удачу, — говорит Олег Андреевич. — За чемпионов!

Пробка жаждет в потолок, шампанское гибкой струей выливается из горлышка. Ему наливают тоже самую капельку, на дне, Сережа слегка сладкую щипящую водицу, похожую на компот, крутят завод у первых часов, надевают на руку, проверяют время у Олега Андреевича, радио включает — пора.

Все никак не может наудивляться Сережа этим чудесам.

Вот мама возле него сидит, с тетей Ниной разговаривает, папироску размягчает, в пальцах вертит — и в эту же минуту по радио говорит.

Про колхозы, как там хлеб сеют и кто впереди. Про заводы, какие у кого дела. Или рассказ какойнибудь, под музыку. Сереже больше всего нравятся рассказы и стихи. Их мама читает как-то особенно. Неторопливо, плавно так. Словно артистка.

Лично он, Сережка, разницы между мамой и артисткой совершенно не видит. Только артистка на сцене выступает, а мама — по радио. Но чем диктор хуже артистки? Ничем. Вон летом, когда мама в отпуск уходит, вместо нее артистки разные работают. «Подзарабатывают», — мама говорит. Так у них в сто раз хуже получается. Про картошку, например, говорят и уж так декламируют, будто из самодеятельности только что высокими. И голос скрипучие какие-то.

То ли дело у мамы.

Вот разговаривает она тут, дома, с тетей Ниной, и голос у нее хрипловатый, даже грубый. А по радио совсем иначе звучит. Красиво, сильно. Тетя Нина говорит: «контрастно».

Тетя Нина вообще про маму хорошо говорит. Что она — настоящий талант. Что ничем не хуже московских дикторов. Что живи мама в Москве, она бы там давно заслуженной артисткой стала. Дают же дикторам такие звания.

Мама на тетю Нину машет рукой.

— С такой-то харей! — говорит. Мама вообще говорит грубо. Грубые словечки выбирает зачем-то. Это ей не идет, она совсем другая. Она, когда с Сережей одна остается, совсем другие слова выбирает. Добрьи и ласковые. А тут повторяет: — С такой-то харей!

— При чем тут лицо! — возмущается тетя Нина. — Знаешь поговорку: по одежке встречают, а по уму провожают.

— Какой у меня ум! — не соглашается мама.

— У тебя — пожалуй красоты и ума, — отвечает тетя Нина. — У тебя талантливый голос. Такое на догофе не валяется.

Сережка вскакивает, тянется к динамике, вкручивает его на полную громкость. Мельком видит себя в зеркале, видит, как блестят, как светятся радостью глаза: он тетю Нину хочет поддержать, хочет показать, какая талантливая мама. Он говорит гостям:

— Давайте послушаем, мама читает.

Сережка ждет, что мама скажет что-нибудь грубоватое, как-нибудь нехорошо про себя пошутит, но она молчит, только недоверчиво усмехается. А по радио говорит про колхозников, про то, как они работают на полях. Из-за маминого голоса выплывает музыка. Сначала тихо, потом громко и опять потише. В динамике что-то щелкает. Сережка выжидаяще смотрит на Олега Андреевича и на тетю Нину. Сейчас они будут хвалить маму. Но они молчат.

— А ты говоришь — талант! — смеется мама. — Все мы тут таланты. — И вдруг взрывается, вскакивает даже. — Да разве можно это талантливо прочитать? Что там сделаешь! Ну ответь, ты же понимаешь!

Мама кричит на тетю Нину, словно в чем-то ее обвиняет, а Сережка растерянно хлопает глазами — ведь он хотел как лучше.

— Но, Аня, — рассудительно отвечает тетя Нина, — ты знаешь лучше меня, талантливую вещь прочесть талантливому диктору легко, разве не правда? И ведь куда сложней талантливо прочесть обязательные материалы.

## 4

**M**ама курит папиросу, думает о чем-то сосредоточенно, потом говорит:

— Ладно, выпьем!

Она разливает вино по рюмкам, поднимает свою, говорит Олегу Андреевичу:

— Можно, я тост скажу?

— Можно!

— Тост у меня только свой будет, бабий, не обижайся, — говорит мама, — но он и вас, мужиков, касается, потому что куда мы без вас-то, одни...

Она молчит минутку, Сережка смотрит на маму: что она скажет, интересно? Про себя? Про талант? Про тетю Нину?

— Ну так вот, — говорит мама, глядя на тетю Нину, — выпить надо нам с тобой не за талант, не за красоту, не за ум. А за бабье счастье, понимаешь? За тебя, Нинка, потому что счастье это у тебя есть. И за меня, потому что у меня его нет... Но будет!

Сережка понимает, что мама немного оглынела, он принимается пристальноглядеть на нее, чтобы она заметила его взгляд, чтобы поняла, сдержалась... Мама всегда его понимала, даже без слов. Но теперь она не замечает Сережку.

— Ничего нам не надо, Нина, кроме дома, кроме мужа и детей.

В глазах у мамы блестят слезы, Сережка не выдерживает, подходит к ней, обнимает сзади за плечи.

Мама вздрагивает, смахивает слезы, пьет вино, берет Сережку за руку, притягивает к себе, заглядывает ему в глаза.

— Открою я тебе секрет, Сергунька, — говорит мама и просит вдруг: — Пойми, если сможешь.

— Ну что ты, мам, что ты, — бубнит Сережка, думая, что это из-за вина она прийти в себя не может.

— Не говорила долго, боялась сказать, да и еще не сказала бы, может, но вот Нина здесь, Олег Андреевич, не так страшно... — И вдруг словно удрила: — Замуж я выйду скоро, Сергунька.

— За кого? — спрашивает от машинильно.

— За Никодима Михайловича. Приезжает он.

— Закончил курсы! — спрашивает тетя Нина.

— Закончил, — говорит мама. — На днях приезжает. Будет торопиться, Олег Андреевич наливает вино в рюмки, поднимает свое.

— Ну, так за вас, Анна Петровна, — говорит он. — За тебя, Аннушка! — Тетя Нина вскакивает со стула, подходит к маме, обнимает ее, и обе они плакут.

Скрипит дверь, в щель сперва вкатывается голубой грузовичок, потом просовывается красная сандалья, а затем появляется весь Котыка, тети-Нинин сына.

— Папа, — говорит он Олегу Андреевичу из всяких предисловий, — а кораблям очень опасно северное море, там снайберги.

— Что?

— Такие ледяные горы.

— Айсберги?

— Ну да, снайберги.

Все смеются. Сережка улыбается тоже. Потом берет чайник и выходит на кухню.

Из кухни дверь ведет на улицу. На двери с тугой пружинкой висит объявление, намертво приклеенное соседкой. Сережка знает егб на память: «Прозьба ко всем гражданам когда ходите двери задерживайте не хлопайте! то у меня голова разламывается и мозги вылетят».

Он идет по двору, не замечая ничего вокруг, и в такт шагам повторяет про себя объявление — со всеми ошибками:

«Прозьба ко всем гражд-да-нам... то у ме-ня го-ло-ва раз-ла-мы-ва-ет-ся... моз-ги вы-ле-тят».

Слова тупыми ударами отдаются в висках...

## 5

**K**огда не знаешь, куда идти, ноги сами тебя привнесут.

Неподалеку от дома «Гастроном», а во дворе его висят штабели фанерных ящиков. Сережка приходил сюда однажды — искал материал для моделей: планки от ящиков очень ему подходили.

Ящики составлены в высокие стены, и кое-где между ними есть узкие коридоры. Взрослый не пройдет, а мальчишка пролезет.

Сережка пробирается боком по коридору, отыскивает место пошире, усаживается неудобно на узенький край ящика.

Откладывает голову, вверх смотрит.

Над щелью среди ящиков небо виднеется. Густая синева. По нему облака тянутся — легкие, как дымок. Перистые. По географии проходили.

Сережка глядит на небо, думает про облака. Но размышляет про облака будто и не он вовсе, а кто-то другой. Тоже Сережка, но другой Сережка. Настоящий же молчит. Настоящий словно замер и ни о чем думать не хочет, хотя думать надо, надо.

Один Сережка вверх глядит, в щель среди ящиков на небо. Другой Сережка в землю взгляделом уперся, и все в нем болит. Все частички его.

Никодим! Зря поправлялась мама, не Никодим Михайлович он, а Никодим просто. По отчеству ведь человека зовут, когда уважают его. А Никодима Сережа так и зовет — по имени только. Про себя, конечно. Но главное ведь, как про себя человека зовешь.

Может быть, зря Сережа к нему так относится. Может быть, он вовсе не плохой человек — Сережа его один раз только видел, разве скажешь что-нибудь серьезное о человеке с первого раза, да еще о взрослом? И, может, неплохо отнесся бы к нему Сережа, если бы не мама.

Она после той встречи, после того раза, когда Никодим к ним в гости приходил и с Сережей познакомился, его фотокарточку в уголок зеркала вставила.

Тогда Сережа все понял. Тогда он сказал маме:

— Зачем нам этот Никодим?

Мама поглядела на Сережу виновато, подошла к нему, взяла за плечи, заглянула в глаза и ответила, как взрослому:

— Должен же у тебя быть отец!

— Ты что! — крикнул тогда Сережа оторопело.— У меня есть отец!

Отец! Вот был бы он жив!

Отец Сереже часто снится. То в гермошлеме и вы сотном костюме с гофрированными рукавами, похожий на космонавта, — картинки, где нарисованы такие летчики, Сережа из «Огонька» вырезал и над своей раскладушкой повесил. То просто за столом, в белой рубашке, улыбается во весь рот, как Чкалов. Такой портрет тоже над кроватью у Сережи есть. А то будто Юрий Гагарин — люди его на руках подбрасывают, и отец в летчицком кителе с майорскими погонаами, фуражку с кокардой одной рукой придерживает, чтобы не упала.

Отец что-то говорит беззвучно или просто молчит, и Сережа замечает: если отец приснится, значит, в чем-то повезет. В школе или в кружке. Или просто будет хорошее настроение.

Одно только странно — отец ему всегда разный снится. С разными лицами. Но и к этому Сережа привык. Он просто знает: если снится летчик, значит, это отец. И неважно, какое у него лицо. Это объясняется просто. Сережа своего отца никогда не видел. Отец его погиб, когда Сережа еще не родился.

Он был летчиком-испытателем. Они жили в маленьком городке тогда. В поселке даже. Поселок был от авиазавода. И отец обкатывал военные истребители.

Однажды он ушел на работу, поцеловал маму на прощание, помахал ей рукой, как всегда. И мама, как всегда, села у окна смотреть на летающие самолеты. Ей казалось, что на всех самолетах — отец. В тот день летали три самолета. Они были похожи на треугольники с маленькими хвостами. Летающая геометрия. Или что-то вроде морских скатов. Мама смотрела, как треугольники измеряют небо. Потом один из них пошел на снижение. Как-то очень резко пошел. И упал на землю. Мама говорила, что небо вдруг стало красным. Кровавым.

Она уехала в чём была, не собрав даже чемодана, — села на станции в проходящий поезд. Потом мама ехала на лошадях в бабушкину деревню и едва добралась до порога, как родился он, Сережа.

Сережа родился раньше срока на целых два месяца, он должен был умереть вслед за отцом. Но мама и бабушка спасли его.

Сережу всегда смешил этот мамин рассказ — как они спасали его. Забавно очень спасали. В русской печке. Подпаливали ее слегка, клади Сережу в нее. Так он в печке и жил два месяца.

А отца он не видел. И отец не видел его. Сережина жизнь началась тогда, когда кончилась жизнь отца. Вот почему снится ему отец с разными лицами...

Сережа смотрит вверх. Он не раз замечал: солнце ушло за горизонт, на улице уже сумерки, а небо еще совсем дневное, и облака на нем горят дневным светом. Небо и облака темнеют позже земли.

Земля загородила собой солнце, но не навсегда. Завтра придет утро, и снова станет светло.

Сережа вдыхает в себя прохладный воздух. Обида угасает, как вечер.

Он берет чайник и встает.

Надо идти. Домой, к маме. Он представил, как мама бегает по улице, спрашивая знакомых мальчишек, не видели ли они Сережу, и по спине между лопаток струится холодок. Он представил себе ее курносое лицо, почти безбрюзовое, будто выгоревшее на солнце, представил, как округлились от испуга ее глаза. Если бы кто знал, как любят его мама. И как любят ее он. Вот без отца жить — это возможно, хотя и горько, но без мамы представить себя нельзя. Без мамы он жить не мог бы!

Сережа бросается назад, по узкому проходу среди штабелей фанерных ящиков и вдруг ощущает боль. Острый гвоздик, торчащий из ящика, рассек кожу на запястье, и боль вернула его к настоящему. Никодим!

Никодим будто напомнил о себе этим гвоздиком.

## 6

Мама дома, моет посуду в тазу, наклонив склегка голову и прищурив один глаз, чтобы не щипал дым от папироски.

Когда Сережа входит, она глядит на него широко раскрытыми глазами, молчит, потом медленно произносит:

— Я думала, ты поймешь...

Сережа не отвечает.

Он раздевается, ложится на свою раскладушку у стены, линяет кровь из ранки, смотрит на карточку Никодима.

Бывают же такие лица — сказать нечего. Глазки маленькие, серые, волосы какие-то сивые, жидкие, зачесаны назад. Уши торчком — два лопуха. И чего только мама кашла на нем!

Сережа отворачивается от зеркала, разглядывает вырезки на своей стене. Летчики в высотных костюмах, Гагарин, Чкалов. Все вместе — для Сережи отец.

Обида распирает грудь. «Как же так! — думает он... — Всю жизнь мама говорила про отца, часто рассказывала, как он погиб, — и вдруг Никодим! Эх, мама!»

Сережа смотрит на картинки. Это же мама на него всегда вляпалась! Это же она советовала картинки на стену наклеить, и благодаря ей он твердо решил летчиком стать. Как отец. И в авиамодельный кружок записался... Вот освон он сперва там все премудрости, потом в школу планеристов пойдет — без отрыва от учебы, конечно, — а там и на летчика выучится. После в летное училище поступят. Или в авиационный институт. Тут еще подумать надо, потому что летать и без училища научиться можно, в школе ДОСААФ, а конструирование очень его увлекает.

Сидишь в кружке — тишина. Бамбуковую основу над спиртовкой гнейши или крылья тончайшей бумагой обклеиваешь. Запах казеинового клея совсем особенный, на другие не похожий: этот клей авиацией пахнет.

Сережа поглядывает на оранжевый самолет, ко-



торый лежит на полу — изуродованный, но геройческий, усмехается, говорит ему про себя: «Ну, брат, не ожидал от тебя, не ожидал». А сам думает про новую модель — другой конструкции, посложней. Он решил ее с Робертом сделать, старостой кружка, — одному будет трудно.

Хлопают дверь.

— Не спиши? — спрашивает мама, подсаживаясь к нему на раскладушку.

Он подвигается, не отвечая. Мама тоже молчит. Смотрит на Сережку, о чем-то думает сосредоточенно, потом поднимается, снимает с гвоздика гитару, садится опять.

Сережка разглядывает внимательно мамину кровать с блестящими шариками на спинке, обшарпанный шкаф, который протяжно скрипит, когда его откры-

ваешь, стол возле стены — одна ножка хромает, бу-  
мажку под нее подкладывают, если редкие гости  
приходят. А без гостей и так хорошо.

Бабушка, когда приезжала, ворчала на маму:

— А как у людей? — поддразнивала ее мама.

— Чистота, порядок, уют! — шумела бабушка.

Квартиры получают, обстановку покупают. Ну, да пад-  
но, квартиры нет, так хоть бы эту-то комнатишку  
подкрасила, побелила. Живешь, как по течению плы-  
вешь. — Бабушка махала рукой, уходила в кухню.

— Это точно, — кивала мама, — как по течению..

Потом, после бабушкиного отъезда, бралась за  
тряпку, за веник, мыла, скребла, прибирала, приносил  
даже мелу, чтобы побелить потолок, кисть с

длинной ручкой, но вдруг садилась на кровать, закуривала папироску, молча глядела перед собой, потом собирала все приготовленное для ремонта, отдавала соседям.

— Ты что, мам? — удивлялся Сережа. — Раздумала?

— Плевать на все, — говорила она, улыбаясь. — До потолка, боясь, не дотянутся.

— Так давай маляров позовем! — удивлялся Сережа. — Тоже нашла причину.

— Позовем, позовем, — говорила мама, но так никого и не звала.

Потолок в комнате был серый от папириной копоти, и все оставалось по-прежнему у них: хоть и неуютно, но привычно...

...Мама трогает тихонько струны, поет негромко:

Гори, гори, моя звезда...

Голос у нее глуховатый, но сильный. «Профессиональный», — говорит тетя Нина.

Звезда любви приветная...

Больше всего любят Сережа, когда мама поет. Не в компании — шумит и весело, а вот так,тихо, как для себя. А значит, и для него, Сережки...

Ты у меня одна заветная,  
Другой не будет никогда.

Мама кладет руку на струны, спрашивает, улыбаясь:

— А ты знаешь, кто эта звезда заветная?

Сережа мотает головой.

— Ты.

Он смеется.

— Ты, ты, не смейся. Каждый, кто поет, думает про свою звезду, конечно. У каждого она есть. А я вот про тебя думаю.

— Почему не про папу?

Мама удивленно глядит на него, смущается отчего-то, потом твердо повторяет:

— Нет, про тебя.

— Ну, я а тогда про тебя, — говорит Сережа. — Ты тоже моя звезда заветная. — Он садится в раскладушке.

— Ладно, ладно, — грустно говорит она, — пока заветная, и то хорошо. А вырастешь, будет у тебя другая звезда. Про меня и не вспомниши.

— Эх, ты! — возмущается Сережа, отстранясь. — Так про меня подумала! Я же твой сын, как я про тебя забуду? — Он умолкает, вспомнив Никодима, прибавляет обиженно: — Не то, что ты!

Мама резко вскакивает, вешает гитару на гвоздик. Не поворачиваясь к Сереже, чиркает спичкой, сильно затягивается, говорит:

— Не беспокойся, я уже решила. Будет все, как было. И Никодим тут ни при чем.

Сережа приподнимается на раскладушке, молчит от растерянности, потом спрашивает жалобно, надеясь и не веря:

— Правда, мама?

Она разминяет папироску, подходит к зеркалу. Сережа притихает. Мама смотрит не в зеркало, а на Никодима.

Потом берет карточку в руки, трогает ее, словно гладит Никодима, и вдруг рвет в мелкие клочки.

У Сережи перехватывает дыхание.

— Зачем? — удивляется он, приподнявшись на локте. Теперь-то Никодим не страшен ему. И может еще сто лет сидеть там, в углу зеркала.

— Да что уж тут, — отвечает мама, подходит к выключателю и щелкает.

Сережа, приподнявшись, вглядывается в темноту, стараясь рассмотреть маму. В сумной летней ночи он видит ее лицо, и ему кажется, что она лежит с открытыми глазами. Он зовет ее шепотом, но она не отвечает, и тогда Сережа решает, что это, верно, от усталости ее так скосило.

**С** ереже снятся войны. Будто он летит на своем оранжевом самолете и строчит по невидимому врагу. Трассирующие пули идут впереди самолета широким белым веером, вспарывают землю внизу. Сережа летит на бреющем, одно крыло чуть вниз, потом штурвал к себе, и оранжевый самолет круго взмывает вверх. Сережа видит, как оттуда, из-под облака с золотой каймой, падает на него черный крест — вражеский самолет.

Он нажимает гашетку.

«Та-та-та-та...»

Но трассирующий веер не рассыпается впереди него.

«Та-та-та-та...»

Значит, кончились патроны. Кто же тогда стреляет? Черный крест? Черный крест...

Сережа видит, как смертельный веер тянется к нему, словно белые длинные пальцы. К его замечному, оранжевому самолету.

Сережа вскакивает. Ощущает, как капельки пота ползут по либу. Фу, душно в комнате.

Он вздрагивает.

«Та-та-та-та...» Черный крест опять строчит. Хотя нет, это стук. Кто-то стучится в дверь. На улице уже светает.

— Мама! — шепчет Сережа. — Мама!

Она поднимает голову, говорит испуганно:

— Что случилось?

— Стучат.

— А-а, — говорит мама, позевывая и сразу успокаиваясь. — Ну, открою.

После душного сна Сережа приходит в себя. Никакого креста нет, слава богу. Все нормально. Дом, мама. Он вздыхает, идет к двери.

— Сейчас, сейчас, — ворчит он, сбрасывает цепочку, вертит круглый английского замка, распахивает дверь и отступает назад.

Сердце у него обрывается. Будто он снова уснул. Будто продолжается страшное видение, только теперь другое. Вторая серия.

В дверном проеме стоит Никодим.

Он улыбается, глядит приветливо на Сережу, потом протягивает ему руку, и Сережа, как загипнотизированный, дает свою.

Сначала, пока никого не видно, мама удивленно покрывает глазами, но когда Никодим входит в комнату, она вскакивает, натягивает халат и смотрит на Никодима — растерянная и взлохмаченная.

А Никодим, ничего не замечая, подходит к столу, грохает на него тяжелую авоську, рядом приставляет фибровый чехол.

— Не ждали! — говорит он, усмехаясь. — Помните, картина такая есть? Кого-то из передвижников, ждется. Так и называется: «Не ждали».

Сережа помнит. В какой-то книге видел. Комната большая, не такая, как у них, и все в ней замерли, потому что на пороге стоит человек, коротко стриженный, усталый. Вернулся, наверное, из тюрьмы. Или с катоги. Революционер.

Там понятно, там революционер. А Никодим тут при чем? Ну да, не ждали.. Вообще не ждали, прально. Хотя почему же. Ждали. Даже приготовились.

Сережа видит, как трудно маме. Он вглядывается в ее лицо, и она чувствует его взгляд. Но не может решиться. Не может шагнуть к Никодиму и сказать ему сразу. Она смотрит в зеркало, торопливо причесывается, а Сережа стоит один на один с Никодимом.

Гость развязывает авоську. Старательно развязывает.

— Аня, — говорит он, не отрываясь от авоськи,



Вы извините, что я так рано... Хотел было другим поездом, но не утерпел, взял билет на самый первый, приехал ночью, еле утра дождался и бегом к вам... Так что извините, разбудил все же.

— Ничего,— глухо отзыается мама.

— Хотел попозже прийти,— говорит Никодим,— но, думаю, Сережку надо застать, пока в школу не ушел, может, думая, порадую...— Он зубами развязывает узел, но говорить не перестает.— Аня,— мычит он,— а ты Сереже-то... м-м, черт, вот замотал... ты Сереже-то все сказала?.. Ничего... надо же... ничего не скрыла?

Мама молчит.

— Ну вот,— продолжает Никодим,— размотал все же... Он хрюстит бумагой и протягивает Сереже сперва ласти, потом трубку для плавания под водой, потом маску.

Сережка растерянно топчется на холодном полу, держит охапку подарков и чувствует себя одурченным. Не знает, как быть. С Никодимом он разделялся еще вчера. Вечером, когда мама порвала его карточку. Но вот Никодим пришел. И дарит подарки. И

заговаривает зубы. А мама причесывается у зеркала и молчит. И будто ничего не видит.

Не видит! Все она видит! Только трусит.

Сережка решается. Он больше не даст себя одурочить. Жалко, конечно, возвращать все это добро. Лясты вон какие зеленые, прекрасные, лягушачьи! И трубка! И маска! Но разве можно на это поддаваться? Он не карась какой-нибудь глупый. Он на красивые приманки не клюнет.

Сережка складывает подарки на стол, говорит хриплым голосом:

— Спасибо, мне не надо,— и добавляет невпопад:— Мне в школу надо.

Никодим останавливается, смотрит внимательно на Сережку, но Сережка торопливо одевается и неглядит по сторонам. Только чувствует на себе тяжелый этот взгляд.

Никодим переступает с ноги на ногу, спрашивает маму:

— Что же, Аня, получается, а?.. Или ты передумала?

— Передумала,— отвечает мама, все причесываясь.

— Да повернись ты! — вдруг командует Никодим. Сережа возмущенно вскидывает голову, хочет сказать, чтобы потише он тут себя вел, не командовал, но видит, как покорно поворачивается от зеркала мама, как смотрят она на Никодима испуганными, округлившимися глазами, в которых дрожат слезы, и вдруг его озаряет: мама слушается Никодима! Значит!..

— Извини, Никодим! — говорит мама и что-то требует в руках. Сережа видит, что она перебирает обрывки фотографии. Той, вчерашней. — Извини! — повторяет она. — Я не все учила.. И я передумала.

— Но как же так? — разводит руками Никодим. Мы же переписывались! Две годы!. Мышь договорились!. Я приезжал!

Лицо его покраснело от натуги, уши топориком тоже порозовели, и Сереже становится жаль его. Но жалость тут же исчезает.

Никодим говорит маме:

— И вообще, Аня! Ты так настаивала, так хотела, чтобы мы жили вместе. В конце концов, ты знаешь, я иду против воли матери! И вообще это все было нужно больше тебе, чем мне.

Сережа думает, что мама сейчас взорвется. Прогонит Никодима прочь. Но мама жалко улыбается, говорит, николечко не обижаясь:

— Да, да, Никодим, ты прав, все так и есть, но я не могу... Решила.

Никодим смотрит на Сережу, подхватывает свой чемодан и шагает к двери.

Он больше не смотрит на маму. Он разглядывает Сережу. С интересом разглядывает, и Сережа замечает, что губы у Никодима вздрогивают, как от сильной обиды.

— А это? — говорит ему Сережа, показывая на подарки, но Никодим не слышит. Он останавливается в распахнутых дверях, пристально смотрит на Сережу и склоняется:

— За что ты меня ненавидишь?

Сережа чувствует, как сердце в груди начинает метаться зайчиком. Почему он так говорит? Разве Сережа его ненавидит? Вовсе нет... Совсем нет... Он не ненавидит его...

Сережа всхлипывает. Он открывает рот, чтобы объяснить, чтобы как-то ответить этому чужому человеку, но вместо слов из него вырывается странный хрип.

Дверь захлопывается.

Шаги Никодима грохотают по кухне. Варится дверь на сильной пружине, и у соседки, наверное, выплетают мозги.

Все стихает.

А Сережа стоит, открыв рот, задыхаясь от обиды.

широко открыты. В пустоту смотрят. Глаза большие, а лицо постарело мгновенно...

Сережа судорожно оглянулся, приходя в себя, как бы возвращаясь к действительности. Класс. Зеленые стены. Учительница возле доски ходит. Вероника Макаровна, по прозванию Литература.

Лет Веронике Макаровне много, но она всегда на высоких каблуках. А ноги тонкие и, наверное, слабые, поэтому на каблуках она пошатывается. Как на коньках, если плохо катавшься.

— Ну, займемся повторением. Вспомним Пушкина. Кто ответит? — спрашивает Вероника Макаровна и подспевают щуриться: она близорукая, так что тем, кто не здешних партах, может повезти — издалека лицо не разглядят, а фамилию, кто там сидит, не сразу вспомнят. И вообще она странная. Вот и теперь остановилась у окна и словно уснула. Забыла, что у нее класс, что она спрашивать должна. Смотрит на улицу, где дождь ерошит лужи. Класс притих. Если вот так тихо сидеть, Вероника Макаровна может долго в окно глядеть. Минут пять. А то и больше.

— Ну, кто ответит? Кто помнит «Капитансскую дочку»? — повторяет Вероника Макаровна.

Сережа видит, как Понти, сосед его, руку тянет.

Вероника Макаровна смотрит на Понти, потом в журнал, ручкой ставит напротив Понтиной фамилии точку и торжественно объявляет:

— Пантелеимон Карпов.

Имя, конечно, у Понти забавное. Пантелеимон! Да сейчас таких имен никому и не дают. Но Понти как раз этим гордится. Его так в честь деда назвали. А дед у Понти — Герой Советского Союза. Генерал в отставке. Деда Понти никто не видел, он в Москве живет, но карточку Понти приносил. Очень он на генерала своего похож.

— Отвечай! — говорит Понти Вероника Макаровна.

— В повести Пушкина «Капитанская дочка», — говорит Сережин сосед, — есть два типичных представителя своих обществ.

— Гринев — от «Динамо», Пугачев — от ЦСКА, — шепчет кто-то в классе; по партам прокатывается смешок.

Вероника Макаровна стучит ручкой по столу.

— Гринев — представитель дворянского общества, — продолжает Пантелеимон, — и хотя он является врагом крестьян, он вынужден обращаться к Пугачеву за помощью по личным вопросам.

— Выбирай выражения, — говорит Литература, — думай, как говоришь.

— Да я в том смысле, — горячо объясняет Понти, — что ведь ему же никто, кроме Пугачева, не помог. Пугачев был добрый человек. Пугачев возглавил восстание крестьян против царизма. Зря он только себя за царя выдавал. Пушкин подчеркивает его обреченность, потому что в то время еще не назрела революционная ситуация.

— Когда назрела революционная ситуация? — спрашивает Вероника Макаровна.

— Седьмого ноября семнадцатого года, — отвечает ей кто-то с места.

— В начале, — поправляет она, — семнадцатого года. А когда происходили события, описываемые в «Капитанской дочке»?

— В восемнадцатом веке, — отвечает Понти.

— Вот именно! — подтверждает Литература, поднимаясь со стула и давая Понти сигнал садиться.

— События, описываемые в «Капитанской дочке», — говорит она, — относятся к 1774 году и отражают восстание крестьян под предводительством Емельяна Пугачева.

Вероника Макаровна говорит что-то про Пугачева и Гринева, а Сережа думает о Марии Ивановне, из-за которой и случились у Гринева все эти происшествия

## 8

**M**ай, а на улице дождь, нудный, будто осенью. Тучи над самыми крышами носятся рваные, ключковатые, злыне. Тягостно на душе. И от погоды и от утреннего разговора.

Сережа смотрит за окно, а плотный дождь, который стущевывал силуэты домов, и будто перед Никодимом оправдывается.

Что же, в самом деле он Никодима ненавидит?

Ну, ненавидит, допустим. От обратного пойдем. Как в теореме. А за что он его любить должен? За то, что к нам притягивает?

Сережа раздумывает. Вспоминает маму.

Он тогда сразу за Никодимом выскочил. Схватил портфель и убежал. Мама у комода осталась. Глаза

с Пугачевым, а особенно, как стискивал Гринев руки шлаги, как горело его сердце, как воображал он себя рыцарем Марии Ивановны и желал защищать ее от врага.

Сережа растерянно оглядывает класс и видит Галину косу, «вот с кем надо поговорить», — думает он и принимается внимательно смотреть на Галю. Она начинает беспокойно шевелиться, потом вопросительно глядит на Сережу.

— Борбьев! — слышит он голос Литературы и поднимается, мучительно думая, что же спросит сейчас Вероника Макаровна. Но она говорит ему: — Ты чего такой рассеянный?

Сережа пожимает плечами, глядит внимательно на учительницу.

— Бывает, — говорит он виновато.

И Вероника Макаровна неожиданно кивает:

— Бывает.

В глазах ее Сережа видит растерянность.

Галя улыбается.

— Ты, конечно, защита, — говорит она, — но не опора. Пока что, конечно. Вырастешь, будешь и опорой.

— Высоковольтной? — шутит Сережа.

На душу стало легче. Подъезд, куда они забежали, недалеко от Сережиного дома. От Галиного еще ближе. Но он вдруг предлагает:

Идем в кино!

В конце квартала — «Колизей». Галя кивает, и они мчатся. Бежать с Галей приятно, Сережка сдерживает себя, чтобы не обгонять ее, чтобы она бежала чуток впереди, самую малость. Лужи хлюпают под ботинками, расплескивая в стороны брызги. У Сережки есть рубль — им хватает на билеты, на кофе и даже на два песячника. Он прихлебывает невкусный, но горячий кофе и снова вспоминает последние Галины слова. Думает над их смыслом, и ему делается неловко. Действительно. Замуж хочет мама, а решает он. Как глупо.

— И потому, — вдруг говорит Галя, — отца не вернешь, ведь правда? Что же делать?

Гаснет свет. Сережа смотрит кино, но в голове его совсем другое. Как все запутанно, в самом деле... Как все горько. Мама часто говорит: «В жизни все бывает не так, как в кино. Я сама убедилась». Когда говорят другие, этих слов не слышно. Пропускаешь мимо ушей. Но когда касается самого...

Сережа смотрит на Галю, на грустную ее косичку, и она, не поворачиваясь, стукает его по руке:

— Смотри на экран.

— Смотри, — покорно отвечает Сережа.

10

**Д**ождь встал глухой белой стеной — в двух шагах не видно человека. Девочки и ребята бросаются с крыльца, как в сутки, и тут же пропадают. Краешком глаза Сережа следит за Галей и мечтится за ней, боясь отстать, потерять из виду. Длинноногая девочонка догнать непросто. Сережа хочет уже позвать ее, крикнуть, чтобы подождала, но неожиданно Галя ныряет в чужой подъезд. Сережа заскакивает следом.

— Тебе чего? — настороженно спрашивает запыхавшаяся Галя.

Он переступает с ноги на ногу, мнется, не знает, как начать, как вообще спросить про то, что его мучит.

— Галь! — заикаясь, говорит Сережа и повторяет: — Галь! — Наконец бухает: — А у меня мамка жениться хочет.

— Замуж выйти, а не жениться? — поправляет его Галя. И переспрашивает: — Хочет? — Галя смотрит на него внимательно, приблизив к Сережиному лицу свое лицо. — Ну?

— Не знаю, что делать, — вздыхает Сережа.

— Он некорней? — спрашивает Галя. — Пьяница?

— Нет, — растерянно отвечает Сережа. — Не пьяница... Потом, разозлившись, объясняет: — НА фиг он мне нужен.

Галя задумывается. Говорит неуверенно:

— Но ведь замуж не ты выходишь... Мама...

Дождь все льется и льется, будто в небе проходился какой-то клапан.

— А зачем ей замуж? — удивляется Сережа. Никак он не может этого в толк взять: действительно, зачем? Разве плохо жили они до сих пор? Разве скучно им было друг с другом? Ну разве же это не ясно — придет третий лишний, этот Никодим, и никогда уж не будет Сереже так хорошо с мамой и маме с ним, потому что Никодим будет мешать. Что ему, про отметки рассказывать прикажете! Про авиамодельный кружок? Про то, что Сережа хочет на отца походить и будет, как он, летчиком?

— Ты странный человек, — говорит Галя, строго глядя на Сережу. — Зачем маме замуж? Для счастья, разве не ясно. Ведь человек рожден для счастья, как птица для полета, слыхай! Она еще нестарая. У нее еще должен быть муж. Защита и опора.

— Рассуждаешь, как старуха, — недовольно бурчит Сережа, но что-то словно успокаивает его. — Защита и опора... — хмыкает он. — А я

дождь прошел.

Сережа стоит перед высоким серым зданием. Вверху, под крышей, блестят серебряные буквы: «Почта — телеграф». И часы — вполстены.

Все в городе знают, где почтamt, но очень немногим известно, что здесь без всяких вывесок — и вход со двора — на верхнем этаже находится радиостудия — важный объект. Государственный. И его охраняют.

Сережа гордится: мама его как бы на важном заводе работает. Туда только по пропускам вход. Поэтому Сережка к вахтеру подходит, просит:

— Позвоните, пожалуйста, Воробьеву.

— Анику Петровну? — спрашивает женщина с пистолетом. Сережа с улыбкой смотрит на нее.

Сережа ждет маму, прогуливается вдоль здания и едущим замечает, что возле лужи на корточках сидит тетя Нинин Котыка.

Сережа говорит:

— Здорово, Котыка.

— Сергуне наш привет, — отвечает важно Котыка. Ничуть не удивляется его появлению. — Сергуня, — спрашивает он без перехода, морща маленький нос-кнопку. Будто только и ждал, когда Сережа придет. — А тебе не страшно?

— Чего страшно? — не понимает Сережа.

— Посмотрите в лужу, — говорит Котыка. — Видишь, какая глубина. Видишь, вон то большое дерево в этой луже умещается.

Сережа смотрит в лужу. Вот какой глазастый этот маленький Котыка. Действительно, если взглянуть в лужу, глубина страшная. И дерево в ней, и кусочек почтамта, и даже тучи. Сережа закрывает глаза. Открывает их снова.

— Нет, не страшно!

— Это сейчас не страшно, — говорит Котыка, — по-

тому что ты большой. А когда ты маленький был, тебе тоже было страшно.

Сережа берет Котыку за ляжки коротких его штанов, поворачивает к себе. Котыка доверчиво обнимает Сережу за шею. Сережа не хочется его оторвать.

— Страшно! — говорит он.— Еще как страшно. Мне и сейчас страшно бывает.

— А чего ты боишься? — спрашивает Котыка, но ответить не дает. Люб его сморщен. Он все время чего-то соображает.— Я, например, боюсь тигров, леопардов и змей. Змей шипят. Но я их не видел. Только в кино.

— А леопардов и тигров? — смеется Сережа.

— Тоже в кино,— ничуть не смущается Котыка.

У Котыки накопилось много мыслей, ему их надо обсудить, и он без передыха говорит Сереже:

— Хочешь, научу, как надо сорок ловить? Верши бумажку от шоколадной медальки, привязываешь к ней длинную нитку, бросаешь под дерево, где сорока сидит, и начинаешь к себе тянуть. Сорока бумагку видит, подлетит, а ты веревочку к себе тяни. Она подойдет, ты снова к себе. Вот сорока за блестинкой совсем близко подойдет, тут ты и ловишь.

Котыка облегченно вздыхает. Он, наверное, боялся, что не успеет рассказать все подробности и Сережа уйдет.

— Серёж! — кричит от проходной тетя Нина.— Иди сюда! Я тебе пророведу!

Наверху, где радиостудия, люди ходят тихо. Разговаривают вполголоса. Ни специального табло, как у входа в рентгеновский кабинет, горят строгие красные буквы: «Тихо! Идет передача!»

Тетя Нина вводит Сережу в аппаратную. Тут стоят магнитофоны, огромные, вполроста. Это если взрослому. Сереже так до груди будет. Медленно вращаются огромные бобины с магнитной пленкой.

Вот интересно! Когда фотографируется, все по-нятно. Фотопленка, светочувствительный слой, проявитель, фотобумага... В фотографии свет записывает свое лицо, это ясно. Происходит химические изменения. А здесь? Пленка крутится с одной бобины на другую. И никак не изменяется. А записывает-то по-сложной изображения! Записывает звуки!

Тетя Нина держит Сережу за плечо, чтобы не отходил, кивает на стеклянное большое окно в стене.

За стеклом, как в аквариуме, сидит мама. Она шевелит губами — что-то говорит, но что — не слышно. И это выглядит очень забавно.

Сережа разглядывает мамин аквариум. В комнате, где она сидит, все стены оббиты материями, чтобы не было резонанса. Перед мамой на гнутых ножках, будто склонившиеся цветы, штуки пять микрофонов. Один, побольше, похожий на черный блин, свисает прямо с потолка.

Мама читает старательно, изредка отрывается от бумаг, но в окно не смотрит —глядят на потолок или в сторону. Иногда она жестикулирует. Морщит лоб. Прикрывает глаза. Качает рукой в такт словам. Может быть, читает стихи.

Мама ведет себя так, будто совсем одна. А на нееглядят: человек десять. Пристально смотрят. Другой бы не выдержал, смущился, но маме до людей по эту сторону окна дела нет. Она занята. Мама кончила читать, откинулась на стул, устало бросила вниз руки.

У главного магнитофона стоит дядька, седой и лохматый. Волосы у него, будто дым из трубы валил, торчком стоят. Щетина на бороде. Но глаза веселые, так и бегают.

— Молодец, Анька! — кричит он маме, щелкнув чешмой.

И вдруг мамин голос, измененный динамиком, Сережу оглушает.

— Черта с два! — говорит мама грубо.— Перепи-сываем!

— В последний раз,— испуганно кричит взлохмаченный дядька.— А то на тебя не угодишь! Проси-дись с тобой до ночи! И передача скоро!

— Не ор! — спокойно советует ему по радио мама.

Сережа думает, дядька рассердится, но он только смеется, нажимает кнопку в магнитофоне. Лента с маминим голосом несется назад, как курьерский поезд.

## 11

**Л**ужи походят на осколки темных стекол. Огни, загоревшиеся в окнах, отражаются в воде. После дождя потеплело. Небо расчистилось от туч.

Они идут медленно, мама вдыхает влажный воздух и тихо повторяет:

— Как хорошо!.. Хорошо...

Тетя Нина так и не дождалась, когда мама освободится. Пожала Сереже плечо, сказала, что ей пора кормить Котыку, и убежала. Сережа стоял в аппаратной до конца. Сидел в коридоре, когда шла передача. Мама курила папиросы, сыпала пепел, вздыхала от вынужденного безделья, потом передача кончилась, и вот они уже подходят к дому, а Сережа все не знает, как начать. Как сказать маме про Никодима?

Просто так сказать: «Я согласен», — глупо. Нехорошо. Надо сказать так, чтобы мама поняла. Чтобы ее не обидеть.

Сережа весь вечер думает про людей. Про то, от чего счастье зависит. Ему кажется: из всех его взрослых знакомых тетя Нина самая счастливая. Почему? Ну, во-первых, она красивая. Сережа даже в нее немножко влюблен. Он от этого с тетей Ниной долго говорить стесняется. Если один на один. При других, пожалуйста, потому что при других только с ним тетя Нина говорить не станет. Обязательно отвлекается. С ней ведь все поговорить хотят — Ниночка да Ниничка. Всикий, кто мимо нее пройдет — знакомый, конечно, — немременно останавливается. Что-нибудь скажет. Или спросит. Тетя Нина не только красивая. Она обаятельная. Так мама говорит. Это правда. Если все к ней тянутся, значит, обаятельная. Глаза у тети Нины всегда блестящие. А голос на мамин похож. Грустной. Она, как и мама, стихи любит. Мама ее хвалит за то, как она читает стихи. А тетя Нина маму хвалит.

Мама ее обрывает, говорит:

— Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку!

Они смеются обе. Действительно, что поделать? Они подруги, и не просто подруги, а товарищи по работе. У них одна профессия — дикторы. Только одна — радиодиктор, другая — теледиктор.

Но разница между ними все-таки есть.

Про эту разницу мама любит тете Нине рассказывать.

— Возраст — раз. Два — вывеска. — Это мама лицо вывеской называет. — Три — характер. А на трех китах, как известно, держится мир.

Тетя Нина красивая, веселая, легкая, добрая.

Сережа задумывается. А мама, что же, не добрая? Еще какая добрая! Сережа припоминает утренний разговор. Никодима. Вон она какая добрая, мама. Решила, что Сереже с Никодимом хуже будет, и отказалась от того, что решила. Для него, Сережки.

Сереже делается жалко маму. Он берет ее под руку, заглядывает ей в глаза.

— Ну что, Сергуня,— говорит мама,— вот и добрались мы домой.

— Добрались, мама,— отвечает Сережа. Сердце у него щемит от жалости. Он хочет сказать что-нибудь хорошее, выбрать какое-то необыкновенное слово — светлое и прозрачное,— чтобы маме сделалось хорошо, чтобы она не когда-нибудь, а вот теперь, тотчас почувствовала себя счастливой, но придумать ничего не может.— Мам! — говорит он грубо и хочет поправиться, сказать мягче. Но ничего у него не выходит.— Мам, — повторяет Сережа непослушным голосом.— Понимаешь, только не обижайся, пожалуйста, я хочу сказать тебе про Никодима...— Он молчит, потом поправляется: — ...Никодима Михайловича.— И опять молчит.— Я не против, — выговаривает он наконец,— пусть женится на тебе.

Мама останавливается, смотрит на Сережу испуганными глазами.

— Пусть он на тебе женится, — начинает торопиться Сережа,— пусть. В тесноте да не в обиде, ты не беспокойся, мою раскладушку можно от окна отвинтить в шкафу, тогда войдет еще одна кровать.— И кончает неожиданно:— Ведь папы нет...

Он говорит, захлебываясь от слов, и мама смотрит на него спокойнее, без испуга. Потом берет Сережу обеими руками за голову, притягивает к себе. Он тыкается носом в холодный, влажный плащ, чувствует, как от мамы пахнет горьким табаком.

— Не думай об этом, Сергунька, — говорит мама.— Я ведь решила.

Он отшатывается от нее.

— Это ты из-за меня, — говорит он громко.

Мама молчит, качает головой.

— Да он теперь и не придет.

— Придет! — уверяет Сережа.— Еще как придет! Бегом прибежит! Ведь к тебе же, к тебе!

— Глупенький, — улыбается мама, — не все просто. Он не придет. И я к нему не пойду.

— Значит, я пойду! — не задумываясь, отвечает Сережа, и мама хмыкает. Он молчит и хмыкает тоже. Бръкнулся, называется. Он? Пойдет к Никодиму? И что скажет?

## 12

**У**тром, по дороге в школу, Сережа видит Веронику Макаровну. Узнать ее можно за сто верст. Она идет не одна. С каким-то мужчиной. Литература о чем-то спорит с ним, но и мужчина не соглашается. Они размахивают руками и, похоже, ссорятся, потому что возле школы расстаются, даже не кивнув друг другу.

Сережаглядит, как учительница ковыляет, покачиваясь на каблуках, будто на коньках. Потом он смотрит на мужчину и обмывает: через дорогу, посматривая на машины, переходит Никодим.

Сережа мгновение стоит в нерешительности. Потом кидается вслед. Догнать его очень просто. Десять секунд быстрого бега.

— Здравствуйте, Никодим Михайлович, — говорит он, переводя дыхание.

Никодим останавливается. Удивленно разглядывает Сережу.

— Ну, привет! — отвечает недоверчиво.

— Это я виноват, Никодим Михайлович, — говорит Сережа. Неожиданность помогает ему говорить решительно, не выбирая слов.— И я вас не ненавижу. Вы ошибаетесь. — Сережино наступление обескуражило Никодима.— Если я вас обидел, извините



меня,— продолжает Сережа.— Вы должны к нам прити.

— Никому ничего я не должен,— мрачно говорит Никодим, но тут же спрашивает: — Это ты сам? Или мама тебя послала?

— Эх, вы! — задыхается от возмущения Сережа.— Можно ведь догадаться, кажется! Если мама, я бы вас дома нашел. А я случайно вас увидел. С Литературой.

Никодим растерянно кивает и спрашивает:

— С Литературой, говоришь? — И вдруг смеется. Сережа не понимает, чего он. Потом догадывается: ему смешно, что учительницу так зовут. Нет, не такой уж он, оказывается, противный, этот Никодим. Всё не противный.

— С Литературой.— Сережа тоже смеется.— А вы с ней, оказывается, знакомые!

— Знакомые! — говорит Никодим.

Они стоят друг против друга и улыбаются — тревожно, недоверчиво, не зная, что будет дальше...

— Последние подробности, — говорит он. И велит: — Вставай скорее!

Они быстро застывают, выводят во двор своих «коней». Никодим рассказывает, как весь вечер очищал от смазки купленный вчера велосипед для Сережи, как бранит напрокат оставленные.

И вот они едут, и Сережа думает, что все произошло словно по волшебству. Раз — и они в свадебном путешествии. Едут втроем не в душном вагоне в незнакомый город, а по полевой дороге, среди зеленых колосьев и васильков в деревню к башибузе.

У Сережи дорожный «ЗИЛ», он его пощупать даже как следует не успел. Ход мягкий, бесшумный. На бугорочках сиденье пружинит — не скривите! Шины по гладкой тропе шуршат, словно у новенького автомобиля. Тормоз действует безотказно. Только нажми на педаль, и велик, как вкопанный, на месте стоит.

Сережа разгоняется, тормозит, поворачивает, поднимаясь в рост, с силой давит на педали. Велосипед фурчит, мчится на встречу маме и Никодиму. Сережа тормозит опять, взрыхляя пыль, облезает их аккуратно, слушает, о чём они говорят.

— Если гнать, — говорит Никодим, — то можно и за сутки доехать. Всемедесяти километров не так уж много. Но к чему? За три дня не спеша и доедем. Покуемся где-нибудь. Позагораем. Цветов наравем. Заночуем у костера.

Мама согласно кивает Никодиму, Сережа смотрит на него с интересом.

«Как все-таки я неправ был, — думает, — на Никодима зверем глядел».

Осторожно, чтобы Никодим не заметил, Сережа разглядывает его. Вглядывается.

Нет, на карточку свою он похож, конечно. Волосы сивые, гладко назад зачесаны. Вообще-то их можно светлыми назвать. Белокурыми. Но не чисто. С какими-то серыми отливами. И уши торчат, тоже правда. Но если рассудить спокойно, не такой уж это грех. У него торчат, у кого, напротив, прижаты. Тоже нехорошо. А в общем-то для мужчины такие недостатки значения не имеют. Девчонке, женщины — да. Уши торчком — нехорошо. Но и то их, наверно, волосами можно прижать. Волосы подлиннее отрастить, узлом завязать — вот уши и прижмутся.

От Никодима Сережа к Гале почему-то переходит. Хорошо, думает он, у Гали вот уши не торчком. У нее вообще все как надо. Кончик сзади. Глаза... Он вспоминает Галины глаза.

Сережа смущенно хмыкает. Что это он о Гале думает? Уж не того ли... Не влюбился?

Раньше бы за такую идею Сережа сам на себя разозлился. А сейчас — странно — ему даже приятно это слово повторять. Влюбился... Хм.... Влюблена.

Ничего такого Сережа не чувствует. Никакой любви. Просто думает об этом, но словно бы со стороны. Вот Понти зимой влюблялся, так на уроках ничего не слышал. Всю промокашку сердечками со стрелой изрисовал. Сереже ничего такого рисовать не хочется. Но он смотрит на себя в велосипедное зеркальце. Разглядывает свой профиль. Нос у него, пожалуй, широковат. Мама раньше говорила — отцовский нос. Она его вообще на две части делила. Нос, говорила, отцовский, глаза ее. Ресницы тоже ее, у нее, когда девчонкой была, такие же пушистые были. Даже смотрят мешали. Сережа жмурит один глаз, другим на себя в зеркало смотрит.

Да, пожалуй, ему тоже ресницы мешают...

Эта мысль ему уже на земле приходит. Как очутился внизу, не помнит. Заглядился в зеркало. Вот черт, локоть саднит.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

# СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

### I

Никодим сказал:

— Едем в свадебное путешествие.  
— Счастливого пути, — прогнув, ответил Сережа.

— И ты с нами, — сказал Никодим. Сережа посмотрел на него подозрительно.

— Куда? — спросил он.  
— Секрет фирмы.  
— А когда?

— Когда кончишь учиться.  
Сережа где-то читал, что раньше в свадебное путешествие ездили за границу. На какое-нибудь корабль с парусами. На какие-нибудь Азорские острова. Вот жизнь была! Качаешься себе на волнах, разгуливай в белых штанах, кури сигару. Любуйся морями и пальмами.

Ясно, что на Азорские острова они не поедут. Но куда? В Москву? Это было бы здорово! В Ленинград? Никогда Сережа в Ленинграде не бывал. Ни где он не был, кроме пионерского лагеря в тридцати километрах от города.

Но Москва и Ленинград и даже Азорские острова померкли, затуманились, когда Никодим открыл тайну.

Утром проснулся Сережа, а на столе три рюкзака: большой, поменьше и маленький. А у дверей — подумать только — три велосипеда. Он даже не поверил вначале. Поморгал, глаза кулаками потянул — нет, стоят. Поблескивают никелированными частями.

Сережа у мамы давно велич просил. Мама не покупала. Ей не жалко, она боялась, что он под машину угодит. А тут — три сразу! Да откуда?

Дверь открывается, входит Никодим с авоськой. В ней хлеб, сахар, чай.

Сережа смущенно поднимает свой «ЗИЛ», оглядывает технику. К нему бежит мама — ее велосипед прямо на дороге лежит. Никодим отводит его в сторонку, кладет рядом со своим, подходит к ним.

— Как это тебя угарили? — смеется он.

Сережа пожимает плечами. Не признаваться же, в самом деле, что в зеркало загляделясь.

— Тебе штуки, — недовольно одергивает Никодим мама. — А у него кровь, видишь? Локоть разбил.

— Сейчас обеспечим, — говорит Никодим и приносит свой рюкзак.

Из фляжки он обмывает ссадину, смазывает ее йодом из дорожной аптечки. Сережа боли, он покискивает, но терпит. Перед мамой одной и пореветь еще можно было бы. А перед Никодимом срамиться нельзя.

— Перебинтуй? — спрашивает Никодим, но Сережа качает головой. Опять ему нравится Никодим. Без маминых сентиментальностей. Раз-раз — и готово. По-солдатски.

Они едут дальше. Проселочная дорога пуста, и они катятся рядышком. Никодим и мама. А с краю Сережа.

— Со мной однажды случай был, — говорит Никодим. — В армии я служил, назначили меня в наряд. Зимой дело было. Стою я у склада, карабин на плече висит...

— Заряженный? — спрашивает Сережа.

— Конечно, заряженный, — отвечает Никодим. — Ведь не посту! Ну, стою я, валиками притопываю, чтоб не окоченеть. А погода как назло. Ветер. Снег лицо сечет. Ночь. Одна лампочка у входа болтается. Хожу я, значит, как положено, вдоль склада. У двери чуть толчусь. А слыхать я только начинал еще. Устав хорошо помнил. Если опасность — три раза предупредить, а потом и огонь открывать можно. И вдруг гляжу — под колючую проволоку, которой склад обнесен, кто-то пролезть пытается. Я притаился, не дышу, вглядываюсь. Так и есть. Кто-то в черной одежде перебирается. Уже на этой стороне. Ну, я карабин с плеча, кричу, как положено: «Стой! Кто идет?» Не отвечает. Вроде притихла. Снова кричу, гляжу: полез. В третий раз окинуло — шевелится. Ну, я в воздух — шар-рак!

— Выстрелил? — ужасается Сережа.

— Выстрелил. Потом целился в нарушителя. Нажимаю спуск. И вдруг — грохот. Взрыв! Видно, попал не то что в диверсанта, а прямо в его мину. Или что там еще он волок.

— Ну? — нетерпеливо торопят Сережа.

— Ну, прибежало начальство. Стали разбираться. Оказывается, у проволоки баллон оставил. Со скрытым газом. А снег и ветер его в моих глазах шевелили. Оптический эффект. Казалось мне, что он шевелился.

Сережа хочет, мама не отстает.

— Не смейтесь, — говорит Никодим, — надо мней без вас весь полк потешался. Кличку дали — «Бдительный».

Никодим и сам беззабально смеется. Это хорошо, думает Сережа. Мама ему говорила, что если человек над собой пошутить не боится, значит, он над другими смеяться не станет. Такому человеку можно смело доверять.

Никодим все больше симпатичен Сереже.

— А на войне вы были? — спрашивает он Никодима.

— У Никодима Михайловича имя-отчество есть, — строгоглядят на Сережу мама.

— Вот пустяки! — обижается Никодим. И говорит серьезно: — Ты это, Аня, бросы! Как Сереже захочется, так пусты и зовет.

Сережа нажимает педали, мчится вперед.

Ветер бьет ему в глаза. Он жмурился. И злится на маму. Что она, не может одна это сказать? Без Никодима?

— Сережа! — кричит сзади мама. — Подожди!

Сережа не торопится, но и не крутит большие педали. Велосипед замедляет ход. Мама и Никодим догоняют Сережу.

— На войне я не был, — говорит ему Никодим, хотя прорваться туда хотел. Даже сделал попытку. Мне, когда война началась, десять лет было... Но я об этом потом расскажу. Сейчас у меня предложение есть. Давай вот этот отрезок — до леса — наперегонки пройдем. Кто кого.

Сережа, улыбаясь, кивает.

— Но вы же не на равных, — напоминает мама.

— А мы устроим гандикап, — говорит Никодим. — То есть, уравняем силы с помощью форы. Сережа, отъезжай вперед, к тому кусту... Вот, теперь на равных.

Мама слезает с велосипеда, снимает с головы косынку.

— Приготовились! — кричит она. — Внимание! Марш!

Сережа привстает с седла, всем весом наваливается на педали — даже цепь трещит — и мчится вперед, к Никодиму финиш. Ветер звенит в ушах. Пахнет сладким клевером. Сережа мчится к лесу, косо освещенному падающим солнцем, и слышит шепот шин, взвивающие пыль...

2

**С**ережка бросает в огонь еловые ветки, смотрит, как они темнеют вначале, как валит от них густой дым — испаряются соки хвойи — потом ветка вспыхивает, и хвоинки изгибаются ало, раскаленной стружкой. Звенящее комарье, как только ветки начинают дымиться, исчезает. Но потом появляется вновь, ведущимо кружится за спиной, в тени, и Сережка опять бросает ветки.

Он слушает, о чём говорят мама и Никодим, а сам не может оторваться от kostра, от огня, вглядывается в трепещущие его языки, и пламя кажется ему живым: оно прихотливо меняется, то опадая, то взлетая, и показывает Сереже странные чудеса — то красную, в проекциях, скрюченную руку, то косматый, щерившийся лик, то крылья птицы. И все это мгновенно: секунда, и крылья исчезли, вместо них рыхлая борода.

— Мне, когда война началась, — говорит Никодим негромко, — было десять лет, а в сорок третьем я решил уйти на фронт. Насушил немного сухарей, упер у матери две свечки — на всякий случай, спичек взял, чаю. Рассовал по карманам, чтоб без мешка ехать — для конспирации, влез каким-то чудом в поезд, который на Москву шел. — Никодим выхватывает из огня тлеющий сучок, протягивает маме, чтобы прикурить; сам он некурящий. — Ну, а правил тогдашних не знал. Доехал до Владимира, там проверка пропусков — в Москву по пропускам только въехать можно. Меня прихватили. В изолятор.

— А мы в войну, — перебивает его мама, — в деревне из города перебрались. К родственникам. В городе совсем голодно было. Летом еще ничего, летом крапиву собирали, щи из нее варили, а зимой невмоготу. Отец без вести пропал, у матери специальность — домохозяйка. Устроилась на завод грузчицей, а там железо таскать надо... Решили в деревню уехать. В деревне хоть тяжко, но все же еды хватало. Даже на трапезы потом меняли...

— Ну, а вы-то? — спрашивает Сережа Никодима и осекается. Ждет, что мама снова ему внушение

43

сделает. Но мама молчит, Сережа продолжает: — Как там дальше было?

— Никак. Доставили меня назад, — отвечает Никодим. — В тюремном вагоне, с решетками. Потом в милицию передали. Матя прибежала, не разбираясь, хлест, хлест меня по щекам. Думала, я с ворами связался, что-нибудь украл... Потом разбралась.

Сережа улыбается. Не отрывая взгляда от огня, говорит Никодиму:

— Что она у вас такая драчунья? — и добавляет: — А кто она?

Спросил Сережа просто так, механически, без интереса, потому что смотрел загипнотизированно в пламя, разглядывая огненные фигуры и вовсе не обратил внимания, что Никодим замолчал и ответил лишь спустя минуту:

— Да так... Женщина...

Потом они пили чай, сваренный в котелке. Сверху, в кружках, плавали кусочки сгоревших хвоинок, тонкие полоски пепла, и Сережа отдувал их краю кружки, обжигался вкусной, ароматной жидкостью. Никогда в жизни не пил он такого вкусного чая!

Мама прилегла, голову Никодиму на колени пристынила. Никодим ее волосы тихонечко гладит. Сережа на них посмотрывает. Он теперь не вздрагивает, когда Никодим прикасается к маме. Маме это нравится, тихая улыбка на ее лице бродит. Она о чем-то думает. Мечтает.

Никодим гладит маму по голове, играющи щекочет ей ухо тихвинкой. Мама, задумавшись, стягивая с уха букашку, а она ее снова щекочет. Никодим подмигивает Сереже, он улыбается в ответ, мама ловит букашку, не догадывается, что ее разыгрывают. Они не выдергивают, оба фыркают.

Мама смеется, а Никодим начинает петь. Потом он неуменно, сразу видно, что медведь ему на ухо наступил, но мама подхватывает песню, и получается уже лучше, Никодим под маму подстраивается.

Что стоишь, качаешься,  
Тонися рябина,  
Головой склоняясь  
До самого тына.

Песня грустная, но Сереже вовсе не печально, ему хорошо, ему хочется прыгать, бежать куда-нибудь. Веселье его переполняет. Хочется ему и взрослых развеселить, сказать какую-нибудь шутку. Он вспоминает, когда они в младших классах Пушкина проходили, Понти весь класс смешил:

Там царь Кошкой по рынку бродит  
И спекуляцию наводит,  
Он банки тама продаёт  
И по полтиннику дерет...

Шутка, конечно, не для семиклассника — а он все же в восьмой перешел, — но ему дурить хочется, и взрослые его понимают: мама и Никодим улыбаются. Сережа видит: они довольны, и вскакивает с земли. Кричит по-дикарски. Звук получается пронзительный, непривычный, и эхо подхватывает его.

— Ого! — кричит Сережа.

— Ого! — кричит мама.

— Ого! — кричит Никодим.

Эхο объединяет их крики, отвечает по очереди Сережинным, маминым, Никодимовым голосом:

— Ого! Го! Го!

Потом они спали. В стогу!

Никодим раскопал подножие стога, уложил туда маму и Сережу и присыпал их сверху. Комары сюда не добирались, но Сережа все равно долго не мог уснуть: сено бесконечно шуршало, тут шла какая-то своя жизнь, может быть, без букашек, без живых существ, но ведь жизнь может быть и у предметов неодушевленных. Жизнь могла быть и у склоненной

травы, у этих миллионов пахучих, душно-приторных травинок.

Сквозь щелочки в сене Сережа разглядывал небо, громадное, бархатно-синее, со звездными россыпями. На небе, казалось, нет ни одного, даже крохотного кусочка, где не было бы мельчайшей звезды, и он подумал, что в мире всегда есть сравнимые предметы. Вот, например, огромное небо можно сравнить с этим стогом, совсем, в сущности, небольшим. И все-таки в стогу, наверное, не меньше травинок, чем на небе звезд. Траву эту скосили с целого поля, а для муравьев, к примеру, которые ходят внизу, эта трава казалась бесконечным, небозримым лесом, самой большой величиной на земле. Сережа улыбнулся. Конечно, муравьи не смотрят на небо. Не видят миллиардов звездных россыпей. Они слишком малы, чтобы видеть высокое небо. К тому же по ночам они спят. Муравьи видят траву, ежи, может быть, лес, а Сережа, как всякий человек, видит небо. У каждого существа свои измерения, свой мир. Они не думают про Никодима, про маму, они, может, и материей-то своих не знают, не привыкли знать. Но ведь радуются же и они чему-нибудь. И оговарчаться, наверное, умеют. И бояться. И страдать.

Сережа закрывает глаза. Травинки шуршат, пахнут чем-то необыкновенно легким и удивительным.

Сережа засыпает и, кажется, тут же просыпается. Как быстро прошла ночь! Уже утро.

Перебивая друга друга, поют, трещат, заливаются неизвестные птицы в лесу. Над травой, рядом со стогом, кисеей тянется туман.

Мама уже встала и собирает с Никодимом цветы. Сережа видит, как они наклоняются и как бы ныряют в теплое молоко: наполовину исчезают за белой кисеей.

Солнце, похожее на медный блин, выбирается из-за тумана. Словно оно окунулось в него и теперь, умываясь, выходит на работу.

Они едут дальше.

Спинцы в колесах сливаются в серебристые круги. Шесть сверкающих на солнце кругов катятся по дороге, взвиная легкую пыль, выбираются на Большак, пропуская мимо себя урчащие самосвалы и стремительные легковушки, потом съезжают на тропинку и неслышно серебрятся посреди ромашек, голубых колокольчиков, шелестящих пик иван-чая.

«Что такое счастье? — думает Сережа и сам себе отвечает: — Счастье — это как сейчас!»

### 3

Бабушка их не ждет.

Когда три велосипедиста подъезжают к ее дому, она копается на огороде и долго не понимает, кто приехал. Не может поверить.

Потом подходит, глядясь на огород, осторожно подает ладонь Никодиму, маме, Сереже. Уж тогда говорит испуганно:

— Господи!

Бабушка отходит медленно, постепенно понимает, что произошло, и чем лучше понимает, тем чаще повторяет:

— Господи! Господи!

Бабушка ведет их в избу, тут же выводит обратно, крутит колодезную ручку, достает, расплескивая, воду в ведре, подает умыться.

Никодим скинул рубашку, голый до пояса, смеется, крякает зычно. Сережа ему подражает: вода ледяная, и он орет, дурачится, растирается длинным полотенцем с красными петухами по краям.



Замечательно все-таки кругом!

И бабушка улыбается — пришла в себя! — толстые губы растягиваются, показывает ровные, будто у девушки, зубы, и морщинки по ее лицу плывут-расплювываются.

Они сидят за длинным столом, потемневшим от времени, пьют холодное молоко, заедают медом и большими ломтями хлеба, похожими на кирпичи. Потом отыкаются.

— Это так, впередиускую, — говорит бабушка, волнуясь, и Сережа кажется, что ей вовсе не об этом хочется сказать. — Это так, с дорожки, — разъясняет она. — Сейчас курицу зарежу, будем обедать.

Мама, улыбаясь, гладит ей руку, говорит:

— Мама, Никодим — мой муж. Вот мы к тебе по-казаться приехали.

Бабушка кивает головой, хочет улыбнуться, но отчего-то плачет, подходит к Никодиму, тянется к нему — тот к ней наклоняется, целует ее.

— Здравствуй, зяньюшко, — говорит она, — здравствуй, золотко!

Мама отворачивается, хлюпает носом, закрывает, смеется.

— Ну что, — спрашивает, — довольна? Дождалась?

— Дождалась! — говорит бабушка и при Никодиме маму спрашивает: — А он какой? Не пьет? Не блудничает?

Мама смеется, качает головой, бабушка строгость меняет на улыбку и крестит издали Никодима.

Днем они едят наваристый куринный суп, соленые грибы, огурчики, капусту. В большом чугунке дымится молодая картошка.

После обеда мама гладит платье, Никодиму брюки, Сереже рубаху, и в четвером, вместе с бабушкой, все идут вдоль деревни.

На лавочках, на бревнышках возле своих домов люди сидят. Семечки щелкают, транзисторы слушают. На бабушку с гостямиглядят.

Одни просто кланяются. Другие встают, подходят за ручку подержаться. Сперва с Никодимом, потом с мамой и с Сережей. С бабушкой за руку здороваться не обязательно — она своя, тутоящая, а гости всем интересны. Сережа заметил, лица у деревенских как бы бронзовье. Загорелые. Только морщинки на лбах, когда люди смеются, распрямляются и белеют.

Сережа себя на этой прогулке неловко чувствует. Словно зверь в зоопарке. Все на него смотрят. Разглядывают. Маму и Никодима разглядывают больше, и Сережа видит: им тоже неловко, но терпят.

— Э-э! — подходит лысый, но с косматыми бровями старик. — Анька голоногая приехала.

— Она самая, — отвечает мама, деда обнимает, а Никодиму объясняет: — Меня голоногой прозвали за то, что, было, и зимой без чулок в школу бегала. Нечего было надеть.

— Вот-вот, — говорит старик. — Бедовали крепко. Теперь, гляжу, опправились. Вон Евгения-то распухла, — кивает он на толстую бабушку. — Эх, кадушка!

Бабушка старика шутя кулачком по лысине колотит, толкает, сама же смеется.

— Это он, старый лешак, забыть мне не может, что за него не поша, вдовой осталась!

— Ага! — кивает старик. — А теперь пойдешь?

Все смеются.

— Идем! — шумит бабушка, берет старика под руку, и они впереди шагают. Старик благурит, берет у мамы папироску, курит. Колечки пускать пытаются.

— А ты кто же по специальности-то будешь? — допытывается дед у Никодима.

— Экономист, — отвечает тот.

— Экономист! Хо! Бухгалтер, что ли?

— Нет, — смеется Никодим, — похоже, но не то.

Дед проводил их до конца деревни.

Деревня Сереже понравилась. Тополями за-росла. На плетнях глиняные горшки сушатся. Подсол-нухи из огородов головами машут.

Когда домой возвращались, колесный трактор на встречу попался. Тракторист, весь черный от копоти, возле них затормозил. Кепку снял.

— Ань! — говорит бабушка. — Не узнаешь? Двоюродный братенький.

Мама охнула, трактористу руку подала, рассмеялась, на ладошку поглядел: вся черная.

— Валь! — кричит трактористу. — Приходи с гармошкой!

Под вечер полная изба народу собралась. Валентин с гармошкой пришел, играет. Мама частушки поет:

Я не знаю, как сказать,  
чтоб судьбу с твоей связать,  
чтобы путать — не распутать,  
чтобы рвать — не разорвать.

Сережа и не думал, что у него столько родственников. Двоюродные тетки и дядя. Дети их. Троюродные Сережини братья и сестры, значит.

Один родственник Сереже привглянулся. Парень постарше его. На лавочке скромно сидит, скользкий огурец в тарелке пытается не может.

Надоели родственнику огурец ловить, встал тихонечко, вышел во двор. Сережа подождал для приличия, тоже вышел.

Парень столбик у крыльца подпирал. Сережу увидел, не удивился. Сунул руку в карман, протянул сигареты.

— Не-е! — испугался Сережа и оправдываться стал: — У меня мать смолит ужас как. Я поэтому табака не выношу.

Парень кивнул, солидно объяяснил:

— Меня Колькой звать, — и спросил без перехода: — Ваша техника?

Велосипеды посверкивали в глубине двора.

— Наша, — ответил Сережа.

— Сразу три велика! — удивился Колька.

— Сразу три, — подтвердил Сережа, не вдаваясь в подробности. Предложил: — Хочешь попробовать?

Колька закатал одну штанину, вывел Сережин велосипед на улицу, сел как следует, повислая, едва не навернулася, но все-таки поехал и скрылся в темноте. Вернулся он не скоро, минут через десять, и по тому, как он торопливо слез, а потом стал многословно навхваливать велосипед, Сережа понял: все-таки навернулся.

«Ну и пусть, — подумал Сережа, — не жалко, все же родственники».

Родственник поставил велосипед в ограду, вышел на улицу, потоптался немного и вдруг сказал:

— Хочешь на тракторе прокатиться?

— А ты умеешь? — не поверил Сережа.

— Айда, — ответил Колька и, не оглядываясь, побежал.

Трактор оказался тот самый, колесный, на котором ехал Валентин, и тут выяснилось, что Колька — сын Валентина, а трактор научился водить в школе, у них есть уроки механизации, да и отец недаром тракторист.

Колька уселился в сиденье, пристроил рядом Сережу, включил фары. Трактор затарахтел, застрелян, рванулся с места.

— А вдруг отец услышит? — крикнул, тревожась, Сережа.

— Не, — мотнул головой Колька, — он гармошкой себе все звуки заглушает.



Трактор вырвался за окопицу, помчался по пыльной мягкой дороге.

— Как легковушка шпарит! — крикнул, щурясь, Колька. И вдруг свистнул протяжно, по-ухарски. Сережка засмеялся, приставил ко рту два пальца. Теперь они свистели вдвоем, и звук, смешанный с тракторным треском, получился ужасный. Похожий на вок динотерического животного.

— Колька! — крикнул Сережа симпатичному родственнику. — Давай в город приезжай!

— Я был! — ответил Колька.

— Нет, ко мне приезжай. Я тебе все покажу! В киношки походим! В зоопарк!

— Договорились! — крикнул Колька и повернулся к Сереже. Голова его в отраженном свете фар подхинала на круглого ежика.

Сережка рассмеялся. Ему захотелось сделать что-нибудь хорошее этому Кольке. Что-нибудь подарить, к примеру. Какое-нибудь сказать словечко, чтобы Колька понял его расположение, сердечность и дружбу.

Все ему нравилось в этот миг: и добрый родственник, который так лихо водит трактор, и пыльная дорога впереди, и мелькающие сбоку березы.

— Ну, так приедешь? — воскликнул Сережка.

— Железно! — ответил Колька.

Как приятно, подумал Сережа, узнавать новых людей. Вот вчера еще не знал он Кольку, даже не подозревал, что у него родственник есть. А сегодня у него прибавился еще один друг.

— По рукам! — крикнул Сережа.

— По рукам! — ответил Колька. И, повернувшись, протянул Сереже свою ладошку.

Пожал ее Сережа не успел.

Раздался треск, и он как бы очутился во сне: под ним не было земли, он летел куда-то, летел долго и плавно...

## 4

Теперь Сережа — «самолет».

Левая рука торчит на отлете. От нее к плечам тянутся металлические мачты, обтянутые марлей. Рука гипсом укутана. Посмотрши со стороны — в самом деле одно крыло.

В палате, где он лежит, два «самолета» — он и молодой парень — серый дядька с мешками у глаз. Он сломал ногу и лежит на деревянной доске, а нога, как пушка, торчит вверх, прицепленная через колесики к тяжелому противовесу. Есть «рыцарь». Шутейный мужик, балагур, дядя Ваня. Рыцарем он стал потому, что сел на подоконник спиной к улице, покинул вниз, вылетел вниз с третьего этажа. Ладно, повезло, упал на клумбу — сломал только шею. Теперь лежит, закованенный в броню от затылка до пояса.

Невеселая компания, что говорить.

Времени много, а девять его некуда. Придет врач с утра, постучит по гипсам, похмыкает, уйдет, ничего не скажав, а что тут скажешь, теперь время нужно, пока переломанные кости под гипсом в плюс срастутся.

Сережа читает «Графа Монте-Кристо», толстенный том — мама достала. Кино он смотрел, но книги вот не читал, а в ней, оказывается, поинтереснее. Потом товарищам своим новым пересказывает. Они внимательно слушают. Довольны, что Сережа время убить помогает. «Ухокощите», — говорит дядя Ваня.

Он слово берет, когда всем все надоедает и уж невмоготу становится. Когда и «Граф Монте-Кристо» не помогает.

— Кхе, кхе, — начинает, — однако, вот выпишу, в космонавты пойду. А что? — Сам себе удивляется, — Там мягкая посадка, а я и твердую испытал, возьмусь...

От тоски да скучи больным любая шутка мила. Самая малая.

— Хотя нет, — говорит дядя Ваня. — Надо еще себя испытать. Этажа с десятого бы жажну.

— Ты хотела испугаться-то успел? — спрашивает его Пушкикарь.

— Зачем пугаться? — отвечает Рыцарь, — я, может, к этому прыжки всю жизнь готовился.

У дяди Вани трое пациентов. И жена — худенькая, замотанная. Они приходят в конце дня: жена с работы забегает в магазин, потом за ребятами, и все вместе они приходят к отцу. Жена перед ним отчитывается долго, подробно: чего купила, куда ходила, кто из соседей чего сказал, как ведут себя дети — каждый в отдельности. Дядя Ваня делается серьезным, все строго слушает, потом внушительно разговаривает с пациентами — кто как вести себя должен, — но под конец не удерживается.

— А то брякнетесь, — говорит, — как ваш папка, с третьего этажа. Да коли не на клумбу!

Сережа прысает, жена балагура уходит, рассерженная, но на другой день они снова все вместе

являются с тощенькими гостинцами: яблоком или банкой компота.

Дядя Ваня работает на асфальтовом катке, делает дороги. Каток все-таки напоминает трактор, и Сережа рассказывает ему, как катался он ночью с дальним родственником, этим Колькой, как врезалась в березу, и Сережа пролетел вперед метров на семь, пока не приземлился, потеряв память.

— Тоже, знаешь, легун, — родил его с собой дядя Ваня. А про память объясняет коротко: — Замыкание! У меня тоже было.

Серый Пушкикарь хоть и смеется дяди-Ваниным шуткам, но осуждает его, когда тот из палаты по нужде выйдет.

— Балабол! — говорит он. — Болтать только и умеет.

— Откуда вы знаете! — возмущается Сережа. — Хе, — машет рукой унылый Пушкикарь, — да по специальности видят! На катках бабы работают.

Это Сережу не убеждает. Ему дядя Ваня нравится.

Два раза в день — утром и вечером — к Сереже приходит мама. Она как-то изменилась, стала красивее. Лицо блаже — чуточку пополнела. Платья у мамы новые появились — цветастые, яркие. Туфли на высоких каблуках. А главное — улыбается все время.

— Ох ты, горюшко мое, — говорит Сережа, а сама улыбается, и сюда рассказывает, как тогда, после тракторной катастрофы, Сережу в районную больницу повезли. На большак машину остановили и помчались. Пока до райцентра ехали, мама у шофера узнала, что он в город едет. Ну, вместо райцентра его сразу сюда доставили.

Так что свадебное путешествие закончилось быстро. Интересно, как у Кольки дела? Он маму спрашивал, она сказала, что трактор не сильно побился, только большая вмятина в радиаторе и фары вдребезги, а Колька отдался ушибами.

— Попало ему! — спрашивает Сережа.

Мама плечами пожимает, улыбается неопределенно.

— Наверное, — говорит, — немножко...

Сережа жал Кольку. Он же знает: тот его катал от чистого сердца, в благодарность за велосипед.

Сережа просит, чтобы мама принесла листок бумаги, ручку, она приносит, и он пишет здоровой рукой письмо:

«Колька, не унывай, я поправляюсь, ничего особенного, просто перелом, только чешется шкура под гипсом, но уговор дороже денег, приезжай в город, как обещал. Привет!»

Мама придерживает листок, чтобы удобнее писать, потом читает послание.

— Ты не забыл? — спрашивает она. — Ведь завтра день рождения!

В середине июля у Сережи день рождения. Нынче ему четырнадцать лет. Как не повезло с рукой! День рождения — в больнице.

— Может, выпустят? — жалобно говорит Сережа. Ему хочется, чтобы день рождения дома был, чтобы позвать Понтио, Роберта из кружка. Может, позвать Галио.

— Не унывай, — отвечает мама и снова улыбается. — Что-нибудь придумаем.

Вечером Сережа засыпает не сразу. Долго возится на правом боку. Надоело ему на правом боку спать, до смерти хочется левую руку на затылок забросить, повернуться. Но левая рука вверх торчит.

Сережа ерзает, пыхтит, искомкал простыню. Нако-

неч притихает. Думает: что же завтра мама изобретет?

Но мама ничего не изобретает. Ее просто нет. Всегда два раза в день приходит — утром и вечером, а сегодня, в такой день, ее нет.

Сережка ест утреннюю большинскую кашу, и обида хмурит его лицо. Ему тоскливо, тяжело, не хочется никого видеть, даже балагура дядю Ваню.

А тот как назло старается. Мелет какую-то ерунду. Пушкари и второй «самолет» ржут. Дядя Ваня умоляет, подходит к Сереже, садится рядом. Молчит. Протягивает яблоко.

Сережка смотрит на дядю Ваню, на Рыцаря в гипсовой броне, разглядывает его внимательно, словно видит первый раз, потом говорит негромко:

— Спасибо, дядя Ваня.

Тот хмурится. Черные брови съезжаются на переносице, соединяются в одну черную полоску.

— Между прочим, я тебя за умного мужика считаю, — говорит. — Ты скис, Думашев, мамка тебя забыла? Дурак! Она потому и не идет, что помнит. Вот увидишь.

Настроение у Сережки поднимается. Он не отрывается взгляда от двери. Конечно! Что за сомнения! Мама придет, и не одна — с Никодимом, он просто уверен в этом.

Когда терпение начинает иссякать, дверь действительно открывается.

На пороге стоит Понти во взрослом халате. Халат нянчиться по полу, рукава на Понте, как на пугале, свисают вниз.

Понти делает шаг в палату, и на пороге возникает Гали.

Сережка приподнимается, пораженный и смущенный.

Он чувствует, как начинают гореть щеки. Гали изменилась, пока он ее не видел. Глаза, кажется, стали еще больше и вообще... Какая-то совсем взрослая...

Сережка смотрит на Гали, но та тоже делает шаг вперед и уступает место Никодиму. Сережка приветливо машет ему здоровой рукой, ждет, когда появится теперь мама, но вместо мамы в палату входит Котя, за ним тетя Нина и Олег Андреевич в своей форме.

Вот это да: столько гостей сразу! Сережка теряется, ему нужна помощь, и помощь приходит. Это мама. Она стоит на пороге нарядная, с новой прической.

Все поздравляют Сережку, жмут ему руку, балагур и второй «самолет» норовят выйти, смущенные таким числом гостей, но мама их не выпускает; они сдвигают кровати, застилают газетами, потом чистой скатертью — мама принесла ее с собой — и из авоська выгружается еда. Жареная курица, помидоры, огурцы, большая миска со смородиной, пышный, узорчатый торт.

— По всем правилам! — кричит Понти, втыкает в торт четырнадцать тонких елочных свечек и зажигает их.

Все замолкают на мгновение, глядя на горящие свечки.

И тут вдруг Олег Андреевич говорит очень торжественно:

— Серьезный возраст, Сережка. Теперь в комсомол вступать надо.

В комсомол! В комсомол когда вступают — это ведь совсем всерьез, это уже взрослая жизнь. Сережка задумывается, кивает головой, и ему чуточку страшно становится, будто теперь надо сделать что-

то важное, взрослое или сказать какие-то особенные слова.

Но слов он не выберет никак. Его мама выручит.

— Вот придет осень, — говорит она, — и в комсомол вступят. Вместе со всеми.

5

**Ч**ерез неделю после Сережиного дня рождения второго «самолета» выписали, а дядя Ваня сделали новую операцию. Что-то у него не так срасталось.

— Это надо же, — говорит он, покрываясь липким потом, серые, но все-таки улыбаясь. — Второй раз шено сломали и снова составили.

От боли он курит, пуская дым под одеяло.

Тогда, в день рождения, когда ушли гости, дядя Ваня спросил Сережу:

— Который отец-то? Милиционер?

— Нет, другой, — ответил он и осекся.

Выходит, назвал Никодима отцом?

Сережка задумался. Выходит...

Ему стало грустно. Как он быстро от отца отказался... Давно ли Никодим к нему пришел? Третий месяц... Три месяца назад Сережка его не ненавидел, а теперь относится хорошо, привык. Может, даже любит?

Сережка думает о Никодиме, вспоминает про свадебное путешествие, как они в стогу ночевали, как на заре Никодим собирался с мамой цветы, а еще прежде, у kostра, гладил ее голову, щекотал ухо травинкой.

Раз мама любит Никодима, значит, и он любит ее. Выходит, так? И выходит еще, что Сережка должен любить его. Должен считать отцом?

Сережка думает про измену, про страшную измену, которую он совершил. Вот он согласился, что Никодим — его отец. И этим как бы предал отца настoisящего.

Отец у Сережи — летчик, он этим всегда гордился. Хотел быть похожим на него. Модели клали. А теперь... Теперь что же выходит?

Он прикрывает глаза, пытается вызвать в памяти неизвестное лицо отца — то похожего на Чкалов, то с улыбкой Гагарина, то как-то в высотных kostюмах. От усилия Сережка даже сжимает веки. Но не выходит... Это ужасно, не выходит. Он кленяет себя последними словами, щиплет за ногу, но у него ничего не получается. Три месяца, всего три месяца назад отец снялся ему ночами — пусть с разными лицами, но снялся, а теперь он видит во сне что угодно, всякая чепуху, но отца нет. Нигде нет. Ни в сне, ни в памяти.

Мамины ульбки начинают раздражать его. Ему противны ее яркие платья, прическа, каблуки. Он смотрит исподлобья, когда она приходит, и хмурится. Мама спрашивает, что с ним случилось, шутит, пробует расшевелить, но Сережа от этого только большие раздражается. Потом говорит негромко, чтобы не слышали соседи:

— Ты все забыла?

— Что забыла? — удивляется мама.

— Про меня. Забыла, да?

Мама трясет головой, не понимает никак.

— Кем я буду, — говорит он и видит, как мама грустнеет.

— Нет, — отвечает она. — Помню. Я звонила в кругожок. У них скоро соревнования.

— Когда? — проподнимается Сережа.

— Могу уточнить, — обещает мама.

Сережка припоминает новый самолет, управляемый

по радио, который они вместе с Робертом начинали, припоминает запах казеинового клея и тишину, которая бывала в кружке.

Что ж делать, отца нет, и нет его карточки, чтобы знать и помнить лицо. Но есть его дела. Есть авиа-ция. И авиамодельный кружок!

Сережа ловит пристальный мамин взгляд. Она разглядывает его строго, как взрослого, который сказал серьезную вещь. Глаза ее не улыбаются — смотрят широко, удивленно, как тогда.

— Я все помню, — говорит она ласково. Неожиданно добавляет: — Но и ты помни про меня.

Сережа не понимает этих слов. Что она хочет сказать? Что он не помнит про нее! Очень даже хорошо помнит. Разве забудешь? Разве забудешь хотя бы день рождения?

Он вздыхает, мама уходит, оставив, как обычно, вкусных гостинцев, после которых больничная еда кажется ужасной. Сережа идет к хмурому «пушкарю», к балагуру где-то воне, угощает их, читает «Графа Монте-Кристо», подает им лекарства, какие положено. Вечером тушит свет: он теперь один в плавате ходячий.

А потом у него снова праздник.

Спустя несколько дней утром вместо мамы приходит Никодим. Он достает из авоськи сверток. Сережа смотрит с любопытством: что там вкусненького? Но Никодим достает не еду, а Сережины брюки.

— Одевайся скорей, — улыбается он, — едем!

Сережа знает: выписать его не могут, пока не снят гипс. Полнуюсь, надевают брюки, не спрашивая ничего, оттягивая вопрос, потому что ответ, судя по виду Никодима, будет приятным.

И все-таки не выдерживает:

— Куда?

— На аэродром, — отвечает Никодим.

— Зачем? — удивляется Сережа.

— Твои соревнования! Едва врача уговорили — только на два часа.

Сережа подпрыгивает от счастья! Никодим помогает натянуть брюки, набрасывает на плечи спортивную курточку.

Они идут вниз. Там ждет такси.

— Заедем за Котькой, — говорит Никодим. — Тетя Нина просила.

И вот они вместе с Котькой и с Никодимом летят по асфальту, за город, и вот уже из-за кустов видно аэродромную мачту с полосатой колбаской, по которой определяются направление и сила ветра; потом появляются ангары с полуокруглыми крышами — двери у них открыты, и в ангарах темнеют похожие на этажерки АНы.

Еще из машины Сережа видит красный стол судейской коллегии и выстроившихся в шеренгу ребят. Перед каждым на траве стоит модель. Модели разноцветные, и оттого кажется, что на зеленой траве переплевывается радуга.

Сережа выбирается из машины. Его гипсовый «самолет» привлекает внимание шеренги, ребята разглядывают его, он видит, как кто-то машет рукой. Роберт! Это он!

— Привет рекордсмену! — кричит Роберт.

Сережа машет Роберту, кивает знакомым ребятам. Он чувствует за спиной дыхание Никодима, и он счастлив.

Пусть Никодим увидит его самолет! Пусть он узнает, кем будет Сережа.

Сережа думает об этом без иронии, без превозхвастства. Просто Никодим должен знать это, вот и все.

— Что ли, ты летчиком будешь? — спрашивает Котька.

— Может, летчиком, — отвечает Сережа, — а мо-

жет, конструктором. — И предлагает Котьке в порыве счастья: — Давай и ты!

— Даваю, — соглашается Котька. — Но я еще не решил, кем буду. Может, диктором, может, сыщи-ком, а может, и летчиком.

Они отходят в сторонку. Садятся в траву. Стрекочут кузнецники. Всплескивают крыльышками красные и белые бабочки. Зеленое поле спортивного аэро-дрома только кажется зеленым. Оно цветное. Оно алеет, голубеет, желтеет, и Сереже после больницы, после духоты и противного запаха лекарств дышится освобожденно, легко.

Он улыбается Котьке и валит его здоровой рукой на землю, борется с ним, благодарно смотрит на Никодима.

— Никодим Михайлович, — спрашивает Сережа, — а вы что же, с работы отпросились?

— Отпросился, — говорит Никодим, — у мамы срочная запись, она не могла, и я договорился.

Сережа вновь вглядывается в него, в который раз за немногие эти месяцы. Да нет, Никодим замечательный! Он добродушный человек, а добрые люди — всегда замечательные. И глаза у них добрые, открытые, и лицо прямое, светлое. У Никодима все такое. И уши тут ни при чем. Уши у людей могут быть всякие. Даже должны!

Сережа садится рядом с Никодимом, прижимается к себе Котьку.

Потом, подумав, тихонько прислоняется к Никодиму спиной.

Никодим обнимает его за плечи. Сережа прислоняется к нему посыльней.

Ему хорошо.

Просто великолепно!

В поле урчат моторчики самолетов. Ревут, форсируют обороты.

Одна за другую модели взлетают ввышину, чтобы сесть потом в поле.

У кого дальше летает, у того, значит, лучше модель. Надежный фюзеляж, легче крылья. У того вернены глаза и умеет расчет.

Ведь в каждом лишнем метре, который пролетят модели, целая зима работы. Сережа знает, почем фунт модельного лиза. Строящий самолет долго, а он в последнюю минуту не летит. Отказывается мотор. Или плохо отцентрован корпус. Сколько горя потом, обиды. Хочется бросить все, растоптать ногами самим же сделанную птицу.

Модели взлетают, а Сережа переживает за каждую.

Вот ровно идет, набравшая высоту, значит, все в порядке. Моторчик стrectочет в тишине, потом замолкает. Кончился бензин. Но модель не падает. Она летит и летит плавными виражами. Это воздух. Восходящие потоки. Невидимые струи воздуха не дают упасть модели.

Сережа осторожно трогает руку Никодима. И вдруг слышит шепот.

— Сергей! — шепчет ему, наклонясь, Никодим. — Сережа! Хочешь быть моим сыном?

Сережа резко оборачивается к нему.

— Как это? — говорит он. — Как?

— Я тебя усыновлю. Ты будешь мой сын...

Сергей смотрит на Никодима широко раскрытыми глазами. В них испуг, смятение, сомнение, радость, подозрение.

Но все, что вокруг: аэродром, модели, летающие в синеве, Никодим, Котька, солнечное тепло, — это реальное счастье, необходимое, как воздух, заслоняет все остальное.

— Хочу! — говорит он Никодиму. И повторяет жарко, словно в омут бросается: — Хочу! Хочу! Хочу!

**A** вгуст. Духота. На листья тополей и акаций толстый слой пыли: давно не было дождей. Сереже сняли гипс. Рука слослась замечательно. Только малость похудела, и надо ее разрабатывать.

Каждый день Сережа ходит в кабинет лечебной гимнастики. Шевелит пальцами, сгибает и разгибает руку, крутит ею. А остальное время — на речке. Вместе с Понтием они ныряют в маске и с трубкой, бурлят воду ластами. Выныривают, отплевываясь, заезжают на счет, кто дальше под водой пробудет, кто дальше пронырнет не высыпает.

За лесом, над спортивным аэродромом, прыгают парашютисты. Сережа видит, как медленно, старательно урна мотором, АН-2 поднимается над верхушками сосен, и от него отрывается черная точечка. Вспыхивает парашют, другой, третий, лес проглатывает их, а самолетик снова ползет в небо и опять бросает парашютистов.

Сережа стоит по пояс в воде, смотрит, как мелькают в прозрачной воде Понтини ноги, и опять думает об этом, опять, опять...

Это было все тогда же, в тот замечательный день во время авиамодельных соревнований. Сережа был счастлив, бесконечно счастлив, и еще Никодим скзал свои слова... Сережа согласился. Не было никаких сомнений, впрочем, что говорить — он и теперь согласен, но дело не в том.

Тогда, на авиамодельных соревнованиях, произошло еще одно событие. И Сереже стало стыдно за Никодима.

Все случилось словно бы нарочно. Модели взлетали одна за другую, наконец настало заветная минута: на старт вышел Роберт с их новым самолетом.

Сначала все шло нормально. Роберт крутанул пропеллер, мотор заверещал пронзительно и отчаянно. Самолет пошел плавно в высоту.

— Видите! — кричал Сережа Котьке и Никодиму. — Видите!

Красный самолет смело разрезал воздух, потом неожиданно пошел резко вверх, почти вертикально, пошел, видно, засло элероны, — звук мотора сделался надрывным, дребезжанием, самолет нехотя вывернулся набок и вдруг пошел вниз. Прямо на них.

Сережа глядел на красный самолет, толкая рукой Котьку, но Котька не уходил — им кричали что-то, и тут Сережа почувствовал, что теряет опору. Он погнулся. Рядом раздался треск, и все стихло.

Сережа увидел красный самолет, воткнувшийся в траву, бегущего к нему Роберта.

А потом — Никодима.

Он стоял метрах в двадцати позади Сережи и Котьки, растерянно оглядывался и чиркался. Сережу словно ударило: Никодим убежал! А их оставил! Сережа сидел, наливавшийся на Никодима, а потом потерял опору...

Они скоро уехали в больницу — пришла пора возвращаться, — и чем дальше отъезжали от аэродрома в подвернувшемся «газику», тем больше Сережа стыдился: ведь Никодим бросил их, испугавшись за себя!

Времени прошло уйма — целый месяц. Сережа из больницы выплысал, плывал в с Понтием, но как напомни ему что-нибудь про аэродром — модель или парашютисты вот эти... — так он сразу вспоминает испуганное, растерянное лицо Никодима.

Конечно, если подумать, можно ли винить Никодима? Что мог он сделать тогда? Прикрыть их собой? Как прикроешь? Ляжешь, что ли, на них? Вторую руку Сереже сломал бы. А потом психологически объ-

яснить можно: им же кричали. Сережа не опомнился, и Котька не сообразил, а Никодим среагировал. Всючи и убежал. «Бдительный».

Сережа вспоминает смешной рассказ Никодима про то, как он баллон расстрелял и как солдаты его прозвали.

Сережа старается забыть странный случай. Тем более Никодим ему сказал такие слова... Но не забывается. Словно заноза в голове засела...

Нанырившиеся досыта, Сережа и Понти идут домой и разсуждают о подводном плавании.

— Мой отец, — говорит Понти, — может минуту под водой просидеть.

— А дед, наверное, все пять, — ехидничает Сережа. Ему надоели, что Понти каждую минуту то на деда, то на отца ссылается... «Мой дед!», «Мой отец!».

Понти дуется. Молчит. Молчит и Сережа. Ему невыгодно. Вот сказал, а вышло будто по злобе. Ему тоже хочется сказать: «Мой отец!» Но он не может.

Чтобы загладить свое глупое ехидство, Сережа хочет сказать Понти про Никодима. Про то, что тот его усыновил хочет. Он уже совсем решает рассказать это Понти, но что-то удерживает его в последнюю секунду.

«Усыновит, тогда скажу», — решает он, хлопает Понти по плечу, и ему радостно оттого, что промолчал, сдержался. Что оказался сильным сам перед собой. Сдержаться вообще труднее, чем склониться.

С Понтием Сережа прощается у дома. Прыгает по скрипящим деревянным ступенькам, придергивает дверь на сильной пружине, чтобы у соседки мозги не выплытели, входит в комнату, оглядывается, глазам своим не верит.

У стола сидят Никодим, мама и — господи! — Литераторы.

Сережа застывает на пороге, ничего не может сообразить.

— Здравствуй, — первой здоровается Вероника Макаровна.

— Знакомься — говорит Сереже Никодим. — Это моя мама.

Мама! Сережа неловко роняет на пол листы, нагибается, чтобы поднять, лихорадочно соображает: значит, Литератор — его мать? Он вспоминает приезд Никодима. На другой ведь день Никодим шел с Литератором по улице. Но Сережа тогда не задумался, почему: знакомые, и все, мало ли! И вот, оказывается, Литератор — Никодимова мать и его, Сережини, родственница.

Он поднимает листы, выходит на кухню, долго мылит там руки и все не может прийти в себя.

За столом ему неловко, он глядит в стакан, потеет и думает о том, что пришел домой рано, надо было еще погулять.

Взрослым, похоже, тоже неловко, они молчат, бранчат ложечками в стаканах с чаем.

— А ваш голос, — нарушает молчание Литератора, — я часто слышу. Пряятный голосок...

— Ничего, — сдержанно отвечает мама. — Специалисты хвалят. — Слово «специалисты» она произносит с ударением. Сережа посматривает на нее. Лицо у мамы вежливое, но не доброе. Он приглядывается и замечает, что мама сидит напряженно, неестественно прямо. И голову подняла гордо. Сережа переводит взгляд на Никодима. Тот растерянно глядится в никелированный чайник.

«Зачем уж она так», — думает он про маму и размышляет о Литераторе. Что бы мог он сказать про свою учительницу? Вообще-то мнения о взрослых у ребят не спрашивают, к тому же об учительях. Но хоть не спрашивают, мнение имеется. Одних учителей любят, других — нет, а Вероника Макаровна —

никакая. Вернее, обыкновенная. Только ругается часто, что ребята ее предмет не любят. Русский, мол, понятно, там правил много, а литературу — почему? Как интересно: Пушкин, Гоголь, Лермонтов. Действительно, почему! Но не любят, это верно. И неизвестно, за что.

А вообще Литература обыкновенная. Вот только из-за каблуков выглядит чудачкой.

И не вредина она никакая, не злая, зря мама с ней так говорит.

Снова слышен звон ложечек в стаканах, опять молчат взрослые. Вероника Макаровна снова первой заговаривает, будто маму приступом, как крепость, берет.

— Вы должны меня понять,— говорит она аквардично,— наши судьбы очень похожи, я потеряла мужа в войну, Никодим рос тяжелым...

Сережа видит, как напряглась учительница, как волнистые она и как непрступна мама. «Нехорошо это,— думает он,— негостепримно,— и лугается по-своему: — Вот будет теперь Литература двойки из-за этого ставить!»

— Не женился он о долго, мне хотелось, чтобы все у него было хорошо, понимаете? Как следует!

— Понимаю! — говорит мама злым голосом.— А вышло не как следует! — И вдруг наклоняется к Веронике Макаровне, спрашивает ее мягко и ехидно: — Кто вот только меня поймет?

Вероника Макаровна заливается краской.

Сережа не очень понимает, о чем это они так странно говорят, но чувствует, что разговор всем неприятен.

Ему хочется, чтобы взрослые перестали так говорить, хочется перебить их, отвлечь чем-нибудь. Растирнякша у него уже прошла, и, хотя радоваться не приходится, что его учительницаоказалась еще и родственницей, ничего ужасного пока не произошло. И маме надо бы повежливей разговаривать с Вероникой Макаровной.

Сережа зерзает, придумывает, что бы ему сказать подходящее к моменту, и вдруг для себя неожиданно бухает невпопад:

— А Никодим Михайлович рассказывал, как вы его ремнем лупили.

Сережа краснеет, понимая, что ничего он не учился, наоборот, только испортил, и Вероника Макаровна сейчас встанет и уйдет, он хочет добавить какие-нибудь слова, объяснить подробнее свою мысль, но только теряется от этого и подавленно молчит.

Вероника Макаровна испуганно глядит на Сережу, не понимая, в чем ее обвиняют, и вдруг улыбается:

— Это когда он на войну убежал?

Никодим оживляется, перестает глядеться в чайник, благодарно смотрит на Сережу.

Вероника Макаровна объясняет:

— А я в тот момент ничего другого придумать не могла. Била, а сама боялась: вдруг снова воевать удерет?

Сережа тоже улыбается: слава богу, что Вероника Макаровна его поняла, и еще хорошо, что мама уже сидит не напряженно и злое выражение сошло с ее лица. Теперь разговор идет обыкновенный, простой.

Никодим рассказывает, что маме обещают дать к Октябрьским квартиру в новом доме.

Вероника Макаровна участливо кивает головой, близоруко, как в классе, щурится, оглядывая комнату и соглашаясь с тем, что новая квартира, несомненно, нужна.

А мама смотрит в стакан, и лицо ее измученно, устало, расстроено.

Наверное, ругает себя за свои же слова. Такая уж она, мама,

**K** Октябрьским квартиру не дали.

Но это ничего не значит. К Новому году непременно дадут.

По вечерам, после работы, мама водит Сережу и Никодима к их дому. Дом уже есть. Он построен. В нем даже горят огни. Правда, пока огни освещают мутные окна, измазанные белилами. Рабочие белят потолок, красят полы.

Мама притопывает сапожками, смеется весело, валит Никодима в сугроб.

— Скоро! — кричит.— Скоро в ванне будем мыться, под душком плескаться! Хватит в бани ходить! Надоело!

Никодим барабанится в снегу, Сережа толкает в сугроб маму, хочет ее тоже посадить в сугроб, но Никодим голосит:

— Осторожнo! Осторожнo!

Сережа оставляет маму в покое.

Сначала он никак не мог понять, в чем дело? Почему мама с ним все о Котыке заговоривает:

— Как тебе Кости тети-Нинин, нравится?

— Мировой мужик,— отвечает Сережа.— Мыслитель! А что?

— Ничего. Такой проказник. К нему ремонт пришли делать. Малыши принесли бочку с золотой краской — цветы на стены наносить. Так он в этой краске вывозился, приходит и хвастается: «Я золотой!»

Сережа смеялся.

Известное дело, Котыка. Что-нибудь да выдумает. И мамины слова буквально принимал. Нравится ей Котыка, и только.

Это еще летом было. Но потом, к осени, мама что-то поправляться стала. И уже в открытую разговаривать принялась: кого бы Сережа больше хотел — братику или сестренку?

Сережа сперва чуть не заплакал от обиды. Без него решили! А теперь спрашивают!

Он себя почувствовал одиноким, бездомным, не-нужным. Мамино такое решение ему казалось предательством, жестоким эгоизмом. Он дулся, не разговаривал. Мама Сережу разглядывала с любопытством. Потом подвел итог:

— Это потому, что ты один всю жизнь рос.— И прибавила, подумав: — Представь только, будет у нас братишка. Такой же забавный, как Котыка.

Сережа подумал. Ну, если как Котыка — куда ни шло. А через несколько дней сам над собой смеялся. Ну, если даже не как Котыка, чего особенного? Или как девочка, то что?

— Ладно,— сказал он маме,— рожай кого тебе хочется. На такое усмотрение.

Мама расхохоталась. Потом сказала:

— Девочку хочу! И мальчиков!

Теперь уже Сережа смеялся:

— Жадная!

— Жадная,— кианула мама,— жадная, Сергунья! Хочу, чтобы много детей у меня было. Ведь дети — это для женщины счастье! Это ее продолжение, понимаешь? Дети — продолжение человеческое. Всё будут у тебя дети, а у твоих детей еще дети, твои внуки, а у тех еще — правнуки твои, и так вечно!

Мама вообще очень переменилась. Грубо не говорят. Курить совсем бросила.

— Этим вредно,— говорит мама и кивает на себя. Шутит: — А то еще родятся да вместо соски запросят папириски.

Стихи получаются! «Вместо соски запросят папириски».

Вообще смеются они часто. Вот и теперь. Вытащила мама с Сережей Никодима из сугроба, вытерла слезы от смеха и говорит:

— Не к добру это! После смеха всегда слезы! — Типун тебе на язык! — говорит Никодим. — Задали!

Дом, в котором дадут маме квартиру, стоит перед ними важно, осанисто. Сережа даже немножко робеет перед ним, представляет, какая будет у них квартира, какую купят они мебель.

Он вспоминает, как бабушка, приезжая, укоряла маму, что живет она не как люди, что нет у нее квартиры, приличной обстановки и вообще... Мама отвечала ей: «Значит, не задалась твоя дочка». А потом гоняла по комнате табачный дым.

Как изменилось все, думает Сережа. Будет теперь у них хорошая квартира. Но и это не главное. Мама — счастливая, вот что важно. Ничем не отличишь ее теперь от тети Нины.

«Дурак», — тут же клянет он себя. — Какой я дурак был! Ведь если бы Никодим к нам не пришел, ничего же не изменилось, там бы и осталось все, как было.

Он обзывают себя дураком, хвалит Галю за то, что уму-разуму научила, думает о Новом году, каким он будет.

Еще счастливее?

Конечно, счастливее!

Так и выходит, как Сережа думает.

Ключи от квартиры им дают в три часа. Тридцать первого! А в двенадцать — Новый год.

Мама привычала домой на такси, ворвалась румяная, веселая. В руке железный ключик высоко держит. Словно волшебный, золотой. Никодим за спиной посмеивается.

— Собирайся! — кричит мама Сереже. — Летим!

Они летят в такси, их на каждом шагу пытаются остановить — все торопятся, времени мало, но машина мчится, круто руля, норовя носом врезаться в загород.

— Потиши! — кричит мама шоферу. — Мы в новую квартиру еще не въехали! Да и вообще! На тот свет не торопимся! У нас на этом еще дела есть!

Шофер улыбается, разглядывает маму — в пушистом зеленом берете, с помпошечкой, — говорит неожиданно:

— Что-то, извините, мне ваш голос знаком.

— Знаком! — важно надуваясь, отвечает мама. — Каждое утро слушается! Какую я вам погоду объявлю.

— Нет, правда? — удивляется шофер. — Всё, что ли, и есть Воробьев?

— Ветер умеренный, до сильного, — говорит, чуть меняя голос, мама. — Температура в области минус пятнадцать, в южных районах минус двенадцать. В городе ожидаются малооблачная погода. Она смеется, не выдерживает, шофер мотает головой.

— Как это у вас получается? — спрашивает шофер. — Учились где?

— Самоуком!

Потом они бегут по лестнице на пятый этаж. Дом пятиэтажный, без лифта.

— Тяжело будет ходить! — говорит Никодим.

— Ни чёрт-чёрт! — бушует мама.

— Тебе будет тяжело, — кричит ей вслед Никодим. Она обогнала их на целый марш. — Да осторожнее! — сердится она. — Сумасшедшая! Куда летиши!

— К небу! — шутит мама. — Выхе, к небу!

Дрожащей рукой поворачивает мама ключ в двери, распахивает ее, скинув сапожки, бежит в одну комнату, потом, в другую. Возвращается молча, едва дыша, и бросается на шею Никодиму.

Он ее подхватывает осторожно, кружит на месте. И вдруг мама плачет.

Никодим отпускает ее. Мама садится на пол, слезы градом льются из глаз.

— Боже мой! — говорит мама. — Подумать только! И все это мое! — Она показывает на Сережу: — И ты! — Смотрят на Никодима. — И ты! — Разводят руками, обхватывая квартиру. — И это!

Она плачет и тут же смеется и вытирает лицо пуховым беретом, размазывая краску с ресниц.

И Сережа неожиданно замечает: лицо у мамы, только что радостное, вдруг делается усталым. Словно мама долго-долго шла по какой-то дороге и вот пришла, села. Все в ней опустилось, оборвалось.

Она пришла к цели.

8

**В**ечером они сидели на матрасах, разложенные на полу, а посередине большой лист ватмана. Это стол. На нем вина и закуски. Кроме матрасов, ничего перевезти не сумели, да не буда! Не буда, что на окнах занавесок нет, что маленькая лампочка, голая, без абажура, едва освещает комнату: главное — есть новый дом. И есть елка.

Ее Олег Андреевич принес.

— Котыкина инициатива, — сказал серьезно. — Это он предложил свою елку вам отдать. И игрушки притащили.

У Сережи игрушки есть, но они остались в старой комнате, про них забыли в суете и хлопотах, а Котыка молодец. Пыхтит, тащит большую картонку. Они развесывают игрушки и гирлянды с цветными лампочками, включают их, и в доме сразу настает праздник.

— Ура! — кричат гости.

До Нового года еще полчаса, и мама вдруг предлагает:

— Хотите, прочту стихи?

Все хлопают ей.

— Их записали на плёнку, — объясняет она, — скоро передадут. Но радио нет, я вам сама прочитаю. Наступает тишина.

Мама стоит коленками на матрасе. Лицо ее светлеет. Она говорит:

— «Как выпить солнце!» Владимир Соловухин...

Немного молчит.

Профаны,

Прежде чем сесть гранат, —

Режут его ножом.

Гранатовый сок по ножу течет,

На тарелке — красная лужица.

Мы

Гранатовый сок бережем.

Сережа разглядывает гостей. Тетя Нина смотрит на маму во все глаза, будто впервые видит. Олег Андреевич, напротив, уперся взглядом в пол и думает о чём-то. Еще Виктор Петрович, звукооператор — тот дядька с маминой работы — волосы у него стопкой, похожи на серый дым. Он пришел с женой, румяной и толстой, — у нее щеки, как две булки. Хорошо, что все на матрасах сидят, ей бы и двум стульям не хватило. Улыбается, внимательно слушает маму.

Теперь осторожно мы мнем и мнем  
Зерна за рядом ряд.  
Строй толкнутся под кожурой,  
Ходят, переливаются.

53

Стал упругим,  
Стал мягким жесткий гранат.  
Все тише, все чуточку ладони рук:  
Надо следить, чтобы не лопнуло едрут —  
Это с гранатом случается...

Стреляет пробка. Врезается в потолок. Рикошетит по потолку.

— Вот и чудеса,— говорит он задумчиво,— вино пьют взрослые, а достается мне.

Ну, Котыка, ну, мыслитель! Все чокаются.

— Ур-р-ра! — надрывается Сережа.— Ур-р-ра! — Он торопливо зажигает бенгальские огни, передает их гостям, гасит свет. Мерцают на елке разноцветные огоньки, брызгут сверкающие цветы, мама ползет на коленках к гостям и всех целует: тетю Нину, Олега Андреевича, седого звукооператора, его жену. Мама роняет рюмки, вскрикивает, а Никодим говорит ей:

— Ахи! Ахи! Осторожней!

— Ну как же! — кричит ему мама.— Как же не выпить, не порадоваться? Такой день,— и грозит ему пальцем: — Смотри, не забудь. Тридцать первое декабря.

...Тридцать первое декабря. Потом первое января. Сошлились два года в одну ночь. Забавно все-таки. Еще минуту назад старый был год. А через минуту — новый. Никакой паузы, никаких остановок. Одна секунда Нового года, пять секунд — и пошло, поехало... Целый час прошел. Потом незаметно — день.

Январь для любого школьника счастливо начинается — ведь каникулы. Сережа ходит в кружок. Теперь он свою модель делает. Самостоятельно. Роберт его только консультирует, чтобы не вышло ошибки, как в прошлый раз. После кружка Сережа на лыжах катается. На троллейбусе едет до конца маршрута. Там горы. По субботам он с собой Котыку берет. Когда едут домой, Котыка от усталости засыпает, привалившись к Сереже. Сережа обнимает его, старается не шевелиться и представляет, что это он едет с братом. Котыкина мохнатая шапка усыпана снегом, в троллейбусе снег превращается в капельки, а сверху Котыка похож на мокрого, жалкого щенка. Нежность нему разливается в Сереже.

Он знает: это нежность к будущему брату. Или сестре...

После Нового года мама вся в хлопотах. Она заняла денег у тети Нины и Олега Андреевича, носится по магазинам.

Сережа приходит домой, а в квартире новый шкаф блестит лакированными дверцами. Потом появляется диван. Стол со стульями. В маленькой комнате две деревянные кровати.

Дом обрастает вещами, и Сереже нравится каждый вечер помогать Никодиму и маме. Мама дает указания — ей на стол, к примеру, теперь не заваться, да и ни к чему — на столе стоит Никодим, он цепляется к потолку новую люстру, присоединяет провод, вкручивает лампочки. Мама щелкает выключателем, лампочки сияют в матовой оправе люстры, тихо бренчат стеклянные висульки...

Мама расстраивается из-за холодильника: ей обещали его доставить, но вот не выходит; расстраивается из-за каких-то покрытий, и он удивляется — какая она стала! Всегда была равнодушна к вещам, а теперь даже расстраивается.

— Ты это зря, — объясняет он маме. — Тебе волноваться нельзя.

— Верно, — соглашается мама.

Она уютно усаживается в уголке дивана, вооружается иглой и начинает возиться с распащонками, простынями, чепчиками. Сережа удивляет, что все это имущество такое крохотное, простыни, к примеру, чуть больше носового платка.

Мама тихонько бубнит под нос песенки, улыбка блуждает у нее на лице. Вдруг она негромко охает. Сережа испуганно спрашивает:

— Что с тобой?

— Ничего, — загадочно говорит мама, радостно смотрит на Сережу и зовет: — Хочешь малышку послушать?

Ничего не понимая, Сережа подходит к ней, мама прижимает к себе его голову.

Сережа внимательно слушает. Тихо. Только гулко, как колокол, блещет мамино сердце. И вдруг кто-то шевелится там. Кто-то тикает.

## Часть третья

# РОДСТВЕННЫЕ ЧУВСТВА

1



вот настает пора.

Никодим бежит на улицу ловить такси. Сережа подает маме шубу. В мохнатенькой старой шубке мама, как колобок.

Потом они заезжают за тетей Ниной. Оказывается, и Олег Андреевич с Котыкой тоже дома. Машина набивается битком, водитель ворчит, но все же везет.

В больнице, в приемном покое, когда они входят, становится тесно. Мама шутит, целует всех по очеди.

— Ни пуха ни пера, Аннушка, — говорит ей тетя Нина.

— К черту, — отвечает мама, ненадолго уходит, потом появляется новая: в больничном халате с широченными рукавами. Она отдаст узел с одеждой.

— Платите! — приносите поуже!

Тетя Нина смотрит на нее зачарованно.

— Не боишься?

— Нет! — беспечно отвечает мама.

Она чмокает всех в последний раз, идет к двери, распахивает ее, машет оттуда рукой. Потом манит к себе Сережу. Он послушно идет, и вдруг мама обнимает его крепко.

— Ну что ты, мам, — отбивается Сережа, — ну что ты!

Он силой освобождается от ее объятий, делает шаг назад.

— Возвращайся скорей! — говорит он приветливо.— Рожай, кого хочешь, и поскорей обратно!

Мама кивает, губы у нее дрожат, но она встряхивает головой, закрывает за собой дверь.

Открывает ее снова.

— Никодим, — говорит она озабоченно, — маму не забудь вызвать. И кроватку купи.

Компания вываливает на улицу, топчется на снегу. Наконец, все видят маму в окне на третьем этаже. Она показывает четыре пальца и шевелит губами.

Четвертая палата, ясно. Они машут ей. Котыка даже обеими руками. Потом медленно идут, оглядываясь.

Сережа вздыхает. Ну что ж, это на несколько дней. Скорее мама вернется с братиком или сестрой, надо вот только купить кроватку.

Взрослые вместе с Котыкой идут впереди. Сережа медленно делает шаг. Возникает странное желание: быстро добежать до угла и посмотреть, стоит ли мама возле окна.



Он мчится назад. Возле угла, скрывающего больницу, замедляет шаги, высовыивается осторожно. Выходит...

Мама смотрит на Сережу, не узнавая, потом понимает, что это он, и машет, машет рукой — быстро, отчаянно, будто стоит на пороходе, который отрывается.

Сережа прикладывает ладонь к губам. Воздушный поцелуй. Так учила мама в детстве.

Мама отвечает ему. Сереже становится легче. Он машет рукой в последний раз и бежит обратно, догоняя остальных.

Взрослые говорят о кроватке, обсуждают, где ее купить, оказывается, это непросто, тетя Нина предлагает зайти в «Детский мир». Кроваток там, конечно, нет, но тетю Нину узнает продавец — все-таки телепиджор, выясняет, что и почему, просит минутку подождать, куда-то исчезает.

— Слушай, — смущенно говорит Олег Андреевич, — мы с Котькой отойдем, пожалуй. Неудобно.

Тетя Нина отвечает ему шутливо:

— Эх ты, угрозы! А кроватку сыскать не можешь! То, что не способен сделать страх, делает любовь!

Олег Андреевич машет рукой, отходит, продавец выволакивает деревянную, закутанную бумагой кроватку. Никодим бежит платить в кассу, на продавца набрасываются какие-то люди, ругаются, почему одним можно, другим нельзя, но продавец отвечает:

— По заказу, граждане, не шумите. Диктора Воробьеву знаете? По радио говорит. Так это ей. Сегодня родила.

Никого мама еще не родила, и вообще как-то все выходят неудобно, но в глубине души Сережа доволен. Во-первых, кроватка все-таки есть, а во-вторых, никто же не начал кричать: знать не знаем никакого диктора. Значит, знают. И тетю Нину сразу рассмотрели. Больше даже не ворчали, значит, все в порядке.

Тетя Нина спешит на передачу, а Сережа и Никодим — домой. Олега Андреевича и Котьку они не отпускают. Пьют чай. Сматрят по телевизору на тетю Нину.

— Хорошо, что у меня мама в телевизоре служит, — говорит глубокомысленно Котька. — Сама на работе, а все равно дома.

— Сегодня у нас мужская компания, — говорит Олег Андреевич. — Прямо клуб джентльменов... Интересно, укрепит наш клуб Аня? Или поможет женской фракции?

— Пусть женской, — говорит Сережа. — Не жалко. Нас и так вон сколько!

Но выражение «Клуб джентльменов» ему нравится. Действительно, одни мужчины. Вообще не все мужчины бывают джентльменами, это известно. Но у них-то? У них все. Котька вот, к примеру, настоящий джентльмен. Честный человек, к тому же философ! Олег Андреевич — угрозык. Кому же джентльменом быть, как не ему? Никодим! Подумав, Сережа присоединяет и Никодима к джентльменам. Конечно, как же еще! И поздно вечером вспоминает об этом.

Когда, проводив Олега Андреевича с Котькой и послав телеграмму бабушке, они вернулись домой, Никодим сказал, смущаясь:

— Помнишь, Сережа, я тебе на аэродроме сказала?

Сережа молчит. Что за вопрос? Конечно, помнит.

— Давай так договоримся. Когда мы маленько регистраировать понесем, и с тобой все устроим.

Сережа кивает. Он согласен, что ж. Одно только кажется ему странным: почему так долго Никодим не говорил ничего? Аэродром был в августе, теперь март. И мама ни разу не сказала. Ведь она должна

была сказать? Может, Никодим маме не говорил? Потом догадывается: конечно, не говорил. Он маме приятный сюрприз готовит. Сережа кивает Никодиму, улыбается ему. «Настоящий джентльмен».

Он думает, как будет звать Никодима. Папа? Отец?

Представить это Сереже трудно, никогда никого не называл он отцом. Его отец был в памяти, вернее, в воображении — любой летчик в его воображении был отцом. А тут надо было назвать этим именем Никодима.

Погасла свет, Сережа долго не может уснуть. Он представляет, как вернется мама — это будет, наверное, через неделю... как закутают они маленького в теплое голубое одеяло с кружевным пододеяльником из приданого, которое приготовила мама, как они поедут в загс, где все про людей записывают, как вернутся оттуда уже совсем новые.

Все — новые. И мама — у нее теперь два ребенка, и Никодим — он станет отцом двоих детей, и Сережа, потому что у него будет отец. И, естественно, маленький — кто там появится, все равно, мальчик или девочка. Он тоже новый. Самый новый. Потому что недавно родился на свет...

Утром Сережа просыпается в темноте. За окном свистит пурга.

Он одевается. Март. Мартовские метели. Но ничего! Скорее опять каникулы. Весна!

В школу Сережа приходит с красивым лицом — оно исписано ветром и снегом. Но настроение у него прекрасное. Ему хочется всем рассказывать про себя, про свой дом, про Никодима, про маму.

Он встречается в коридоре Гали.

— Галь, — шепчет он восторженно, — вчера маму рожать отвезли.

— Поздравляю! — говорит Гalia. — Кого загадал?

— Все равно, кто будет, — отвечает Сережа. Начинается урок, а Сережа все никак успокоиться не может. Шепчет с Понтией. Сосед тычет его локтем. Хватит!

— Молотки!

Будто Сережа отлился.

Уроки идут, сменившись друг другом, тягуче тянутся время. Сережа хочется, чтобы скорее прозвенел последний звонок. Он сразу побежит в больницу. Может, он узнает новость. Хочется первому ее узнат...

Последний урок — литература, и Сережа поглядывает на Веронику Макаровну с хитрой улыбкой: знает она или нет? А если не знает, будет ей сюрприз. Ведь этот Сережин братец для Литературы не чужой, внук.

Он задумчиво глядит на улицу, по которой, взвивая снег,носится ветер, и слышит стук.

Случат в дверь. Класс с любопытством настороживается. Кто-то хихикает. Вероника Макаровна, ковыляя на каблуках, открывает дверь.

— В чем дело? — говорит она строго и отступает. В класс входит тетя Нина. Ее все узнают, шушукаются.

Тетя Нина входит в класс, ищет глазами Сережу и говорит:

— Идем! Скорее идем!

Сережа хватает портфель, думает радостно: кто все-таки? Мальчик? Девочка?

И вдруг он видит, что лицо у тети Нины белое. И белые губы.

— Сережа! — говорит она, и слезы катятся у нее по щекам. В классе повисла тишина. Все покрываются Еще бы! Вдруг приходит известный диктор и плачет. — Сережа! — говорит тетя Нина. — Мама умерла!

(Продолжение следует.)

# Олжас Сулейменов



## Черное и красное

Fas! — высшее право в римском законодательстве.  
Fas est — «все дозволено».  
Римские полководцы посыпали солдат на варварские города, вооружив легионы этим кличом:  
Fas! — погружайте клыки: мир для вас,  
Fas! — на чужую жизнь и имущество  
нет запрета.  
Fas! — это блеск суженных злобой глаз,  
рас-  
человеченье  
это.  
И вспыхнули в Риме XX века  
скрещенные молнии фразы —  
Fas ist!  
Да, первый философ в черной рубашке  
был лингвист.  
В наследство от предков ему достался  
варварский мир  
{он был историк},  
он в черной рубашке,  
он против черных  
{он был историк}.  
Нам все дозволено!  
Даже логика, и аналогия,  
и право помнить —  
волчица вскормлены  
Ромул и Рем,  
и повторяются из века в векность  
лбы их пологие  
и волчьи серости,  
овечья бледность  
и бедный Рим.

В любви не признаются на латыни,  
не ссорятся, не спорят на латыни,  
когда вы были молодыми,  
о вас не говорили на латыни.  
Латинским звуком вас не отпевали,  
латинским словом вас не обрекали,  
пощупав пульс, врачи не говорили

<sup>1</sup> Ist — глагольная форма в немецком языке, соответствующая латинской «est».

той фразы, что пугала в старом Риме —

Fas ist!  
А это значит, дело бренное,  
ешь напоследок  
жирное и пряное,  
пей коньяки,  
пусть это горько, больно,  
ты обречен,  
и значит —  
все дозволено!  
Жизнь коротка,  
пока живешь — Fas ist!  
Пока не лягешь,  
на груди скрестив  
худые кисти,  
облачайся в черное,  
гуляй, фашист!

...Но есть под Брестом,  
есть один окоп.

Избитый пулемет  
багровый бруствер,  
залитый кровью фас  
веселых пруссий...  
и мой не защищенный каской лоб.  
Нерв обнажен,  
открыто сердце там,  
туда мои пути, дороги, тропы,  
и где бы ни был,  
я — в окопе том.  
Последний мой рубеж  
меня торопит.

## Весна в пустыне

1. В феврале {да, кажется, в феврале}  
пустыни превращаются в красное море.  
Маки.  
В марте пески покрываются травами, даже  
верблюжка колючка,  
еще не колючка —  
мягка, зелена, и мясистые листья росой  
на изломах исходят.  
В мае зной выжигает траву до песка  
и виднеет овечий помет в раскаленной  
пыли.  
И лишь зеленый чай  
на донышке пиал  
напоминает мне,  
чтоб я не вспоминал.  
И черная вода  
на дне сухих колодцев  
напоминает мне,  
что мир и желт и ал.

2. Парит коричневый орел,  
приветливо качая клювом.  
Я возвращен, я приобрел  
вновь мир, который меня любит.  
Оцепенев, глядит змея,  
стесняется.  
Здорово, поле!  
Любой тушканчик за меня  
и жизнь готов отдать  
и боле.  
Нет лишних в драме,  
все — на сцене,  
и знает даже воробей:  
мир без него неполноценен.  
Поддакивает скарбей.

Он ходит задом наперед,  
мой жук навозный,  
его любят,  
его никто не упрекнет,  
случайно разве что наступят.  
Спокойно здесь и без вина,  
без отрицания былого.  
Встречаются, как слу и слово,  
сливаясь в вечность, времена.  
В песках неспешности закон  
увековечен черапами,  
здесь понимаешь: прав Зенон —  
мы не догоним черапахи.  
И потому живи, люби,  
не торопи заботой вечности,  
прямая — это только Пи,  
направленная в бесконечность.  
И не пытайся измерять  
круг  
суммой абсолютных чисел,  
и не пытайся все понять,  
постичь времен сокрытый смысл.  
Слезами лет орошены,  
овечьи столетий пылью,  
мы плохо выучены бытью,  
легендами развернуты.  
А за Отаром — поезда —  
надежда, радость и отчаянье,  
Не дай мне, боле, опоздать,  
закономерно ли, случайно.

## Леонид Завальчик



### Солнечная соната

Давным-давно на небо не гляжу.  
Ликует май или пурга кружится,—  
По тени, что от прошлого ложится,  
Я без труда дорогу нахожу.  
Давным-давно на солнце не гляжу...

Душа моя — кусты прибрежных лоз,  
Трав колдовских невинное цветенье.  
Я знаю: росы сделаны из слез  
Того, кто до меня вот так же шел за тенью.  
Вон там он проходил с сумой наперевес,  
Как по живому, по земле ступая,  
И из лесу, ему наперерез,  
Вдруг вышла осень, листья осыпая.

И он вздохнул и вспомнил все, чем жил,  
И, растиорясь в радужной отчине,  
Костер из горкой таволги сложил  
И до утра сидел, причастный к вечной  
жизни.

Он вспомнил города, сгоревшие дотла,—  
Войны далекий обагренный хворост  
И то, как жизнь нахаживала скорый тормоз  
Хотела вместе с ним,  
Да не смогла...  
Страдание состраданием равно,  
Но можно ли вечно сострадать далеким?  
И спел он славу молодым и легким,  
Задорным, как икрристое вино.  
Их буйный хмель животворящее свеж.  
Жизнь нами помнит,  
Или — совершает.  
И если память дереву мешает,  
Как ветку дикую, нагни ее и срежь.  
Жизнь нами помнит. По труду и честь.  
Ушедшее... Что может быть дороже!  
И все-таки, друзья мои, и все же  
Былого нет, а будущее есть!  
И что с того, что мы не видим в нем  
Ни места своего, ни песен, спетых нами.  
Они вольются в кровь и станут снаими,  
Спокойным и негаснущим огнем.  
И в том огне грядущие века.—  
Коль будет их на то добро и воля,—  
Увидят этот день  
И это поле  
И свой привет пошлют издалека.  
Его я ныне слышу, как призыв,  
Как в беге дней разлитое внушенье,—  
Взыскуя града, не делить призы  
Меж правдой чувств  
И правотой свершений.

Не богоравны ни добро, ни хлеб,  
Ни тень слезы, ни озаренье смеха.  
Открыт глаза, певец и пахарь века:  
На солнце — вот единственная веха —  
Смотри, смотри, покуда не ослеп!



Я с веселым уловом  
На свиданье бегу:  
Я сегодня заметил  
Преломление света  
В той хрустальной среде,  
Что снега отделяет от лета,  
Я атлет, а не старец  
И не стариться долго могу!  
Янесу эту весть,  
Через поры метро прошиваясь,  
Прохожу сквозь людей,  
Как проходит сквозь ткань  
Заблиставшее тело иглы...  
Вдруг беда —  
На каком-то стекле  
Я душой ошпарюсь,  
И на нитке прозренья  
Возникают большие узлы.  
Люди любят тебя,  
Но не любят, когда ты  
Проносишься мимо,  
В спешке локти расставив  
И на радостях ноги топча.  
Ты атлет, а не старец!  
Это все очень мило.

Преломление света!  
Но зачем ты толкнул Кузьмича?  
Что он сделал тебе —  
Этот тихий старик,  
Твой приятель!  
Или эта вот девушка,  
Кроткий весенний цветок!  
Тот, кто в радости малой  
Вызывающе так неприятен,  
Тот, наверное, счастье  
Беспредельно жесток.  
И они весь твой путь  
Превратят в бесконечную пытку.  
Не от зависти, нет,—  
Чтоб себя от вторжений спасти.  
Не распутывай узел.  
Оборви эту нитку.  
Кто бежал по ногам,  
Тот не мог откровенне найти.  
Вот когда ты и вправду  
Отыщешь большую идею,—  
Ты не двинешься с места,  
Дорога сама поплынет.  
И, не зная о том,  
Вместе двинутся с нею  
И попутчики жизни  
И те, кто навстречу идет.

## Ч е р н о в и к

Двухтысячный закат багрово тлел, как трут,  
Вздыхала над столом рассохшаяся лира.  
И он сидел и добивал свой многолетний  
труд —  
Немыслимый проект переустройства мира.

Там было все о будущем —  
О том,  
Как примирить планеты, поколенья,  
Как избежать войны и перенаселенья...  
На множество странц лежал готовый том,

И не хватало только одного — вступенья.  
Все нужных слов не находил поэт.  
И вот, отчаявшись, он снял со стены лиру  
И вдруг легко сложил простой сонет,

В котором удалось ему, идя за сердцем  
вслед,  
Сплить воедино оду и сатиру.

В застывшее «люблю» введя живую злость,  
В единный круг замкнув неведенье и знанье,  
Он выстроил из слов таинственное зданье,  
В котором горько и легко жилось.

То было тревожный гимн сегодняшнему дню,  
Огнем мечты пылающий, как осень.  
И, приглядевшись к этому огню,  
Сонет он принял,  
А проект отбросил.

От радости труда торжественно суров,  
Он обвязал свой фолиант бечевкой  
И бросил в темный угол за кладовкой,  
Туда, где издавна хранил черновики стихов.

## Алексей Рогов



## Следы

У кромки вечернего неба  
короткий привал облаков.  
На кромке последнего снега  
глубокий провал каблуков.

Следы продвигаются к роще  
и где-то сливаются там,  
на тоненькой, черной дорожке  
к другим примыкая следам.

Их медленно талые воды  
точить начинают сперва,  
и дымкою легкой дремоты  
окутаны все деревья.

А к ночи ударят морозцы,  
следы, словно гипсом, зальят,  
покуда, весны знаменосцы,  
худые грэчи не глядят.

И мир создается весенний  
в свечении тающих льдов,  
расчерченный тенями теней,  
покрытый следами следов.

## П р о е з д о м

Уезжаю, а прощаешься не с кем —  
в городке не накида я друзей.  
Что поделать — парнем компаниейским  
никогда не стану, хоть убей.  
Поезд подплывает к полустанку,  
на платформе ранней никого,  
лишь грызет на лавочке бараку  
мальчуган постарше моего.  
Я к нему с приветом обращаюсь  
[хорошо, хоть к детям я привык]:  
дай-ка я с тобою попрощаюсь,  
ты хороший, кажется, мужик.  
Распрощаться запросто легко нам —  
ни тоски, ни грусти никакой.  
Он бежит вприпрыжку за вагоном  
и усердно машет мне рукой.  
Солнце, сосны поезд окружили.  
Я в вагонном ласковом тепле.  
Города бывают и чужие,  
дети — все родные на Земле.

## Абдулла Даганов



Перевел  
с аварского  
О. ДМИТРИЕВ.

### Родина и мать

(Из стихов о войне)

В каком ущелье, сам не знаю,  
Лежу в траве, сраженный, я,  
И бьется моря синь сквозная  
О скал гранитных острия.  
Лежу я, кровью истекая,  
Здесь на неведомой земле.  
Стервятник, крыльями сверкая,  
Ко мне снижается во мгле.  
Мне берег видится за далью,  
И горской женщины рука  
Оттуда машет пестрой шалью,  
Подобной свету маяка.  
Плыбу. И узкой полосою  
Земля наперевес волне!  
Став на песок ногой босою,  
Я вижу: мать идет ко мне.  
Она склонилась надо мною,  
К груди прижалася, обняла,  
Одежду и кувшин с бузою,  
Печально глядя, подала.  
Прошел озnob, и боль забылась,  
И слышала я, как все сильней  
Мое боливое сердце билось  
В груди у матери моей!  
Еще бузы хмельная pena  
Белела на моих губах,  
Как предо мною встал мгновенно  
На берегу родной Карак:  
Аулы бронзовой чеканки,  
Сады, зурны чуты слышный гуд —  
В тот самый час, когда горянки  
Фассвет с ладоней смуглых пьют!  
Смеясь, соседка наливала  
Сынушке в кружку молока...  
Так близко Родина стояла,  
Ярка, сурова, высока!  
В каком ущелье, сам не знаю,  
Лежу в траве, сраженный, я,  
И бьется моря синь сквозная  
О скал гранитных острия.  
Теперь я не застыну в страхе,  
Услышав посист черных крылья —  
Я мысленно в родном Караке  
У матери любимией бы!  
Знакомых рук прикосновенье,  
И речь ее, родная мне,

И сердца гулкое биенье —  
Совсем как в детстве, в полуслне...  
Вновь закипели  
Силы в теле,  
Я снова смог оружье сжать  
И в бой пошел. И знал —  
Глядели  
Воспел мне Родина и мать.

## Владимир Пучков



### Парашютист

Волненъем челости свело,  
летит к земле, как камень,—  
но за спину, как крыло,  
взметнется белый пламень!  
Наполни ветром купола,  
на поле пыль запляшет...  
И медсестра, белым-бела,  
ромашкой с поля машет.

### Доктор Нина

Не доходят сюда поезда,  
самолеты почтовый далек.  
Ну какая шальная звезда  
ослепила тебя, мотылек!  
Ветер губы твои опалил,  
а потом все равно улетел.  
Был мужчина, берег и любил —  
оказалось, скучал и жалел.  
Ты сомненья сомнешь в купаке,  
но в светящийся тонких сетях  
перепелкой в забытом сипке  
умирает красивый сентябрь,  
пропадает в степях без следа,  
словно дождик, невнятный почти.  
Доктор Нина, ты так молода! —  
ты его не сумеешь спасти.  
И у самой последней черты,  
вырываясь из смертных тенет,  
он увидит в стакане цветы,  
целенея, «спасибо» шепнет, —  
а его ослепит белизной  
сквозь стеклянные двери палат  
ленинградский еще, выпускной,  
твой отчаянно белый халат.



ВЛАДИМИР  
КОЗЫРИН

# БЫЛО ТРУДНО

Рисунки  
Игоря СУСЛОВА.



**Т**яжкая для нашего завода картина: участок реконструируется без остановки производства. За серыми заградительными щитами вспыхивают ослепительные молнии электросварки, брызжет огненный горох. Пулеметная дробь пневматических зубил, вой гайковертов, грохот жести, змеиное шипение клепально-сварочных аппаратов. В ясок бьет горьковато-кислый душок. В беспорядке валяются ржавые обломки железа. А сбоку, пощелкивая ячейками ведущей цепи, степенно движется конвейер: ту «делают программу».

Ко мне подошел парень в брезентовке, испачканной солидолом, в надвинутой на самые глаза белой монтажной каске с козырьком. «Слесарь-сборщик, а в брезентовке и в каске», — отметил я про себя.

— Маршагин?

— Точно! А что дальше? — с вызовом спросил парень.

— Да вот интересно, как тебе удалось добиться первенства в соревновании, — сказал я.

— Газетчик! — Лицо Маршагина сморщилось.

— Нет, — успокоил я его. — Я мастер из соседнего цеха. Хочу поучиться.

— Все ясно, начальник. Значит, дело было так. Перешел из передовой бригады в отставшую. Ну, как Гаганова... Понял? Привет родным!.. — Он помахал мне рукой.

«Парень с гонорком», — подумал я, но не сдаваться же. Я пошел с ним рядом.

— Хочу поучиться. Серезъ...

— Тут вот тоже серьезно! — Маршагин вынул из кармана заводскую многотиражку и прочел: «Ветер развел его кудри...» А где они у меня? — Он приподнял каску, и я увидел жесткий, слегка принятый бобрик. — Или вот: «Как-то в театре ему пришла идея...» А я давно не был в театре. Возможно ли, рационализатор и не любил театра?.. Ну уж какой есть! Не люблю театр. Вот кино, книги...

Я знал уже о нем кое-что. В цехе про него говорили разное. В бирю кадров: «Маршагин-то? Он с приветом, все ему не слава богу, вечно что-нибудь отчебучит!» В комитете комсомола: «Парень, что надо, напорист, энергичный. Горяч, правда!..» В бухгалтерии: «Деньги любят». В партбюро: «Парень дальний: о производстве думает, рационализирует, старателен. Трудяга. Но в общду себя не даст. И принципиальный. Мы его скоро думаем в кандидаты принять...»

А до этого он сменил несколько заводов и городов. Чуть ли не летуном числился. В Ярославле, на одном из заводов, в ответ на просьбу мастера остаться на работе сверхурочно, всыпал: «Не пойду! И другим не советую. Вы штурмовщину устраиваете. Напишу об этом в «Правду!» И ушел домой. Ему этого не простили. Вспомнили, что и раньше отказывался работать сверхурочно. И тут же ярлык приклеили: лодырь, бездельник. Вспомнили, как он когда-то резко разговаривал с работниками бухгалтерии. И как рассказывал рабочим из другой бригады о случившемся на участке. В результате появилось в трудовой книжке традиционное: «По собственному желанию».

Потом были Кандалакша, Стерлитамак, Ростов, Одесса. В Москве задержался проездом: узнал, что на нашем заводе можно устроиться. Решил зимой подработать деньжат, а к лету перебраться в родной Новосибирск.

— Никогда бы раньше не поверил, что так получится. Вот мы говорим: соревнование. Сколько я ра-



богат до этого, столько раз слышал о соревновании, а ведь никогда не думал, что благодаря соревнованию стану рационализатором!

Семидесят первому году это было.

На заводе летом всегда рабочие требуются. Хотел Маршагин сразу к испытателям, но попал в механо-сборочный, на участок мелких серий. Бригада была в общем-то неплохая, но не нашел общего языка с мастером. Собрался было уже уходить, но тут назначили нового мастера — Петра Ивановича Милованова.

Тот дела повел круто: начал сразу с вопроса о соревновании. Собрал бригаду, спросил у каждого, кто какое брал личное обязательство. Многие не знали. Писал за них обязательства прежний мастер. Не знал своего обязательства и Маршагин.

— Вот вам поручение на дом, — сказал Милованов, — каждому продумать и написать личное обязательство своей рукой и в понедельник утром привезти мне. Только прошу не писать по трафарету. Прежние ваши обязательства — словно под коноприку. И еще: без глупостей, без самоочевидного. Вот, например, такого: обязуюсь не варушать трудовой дисциплины, не опаздывать на работу, не совершать прогулов, обязуюсь выпускать продукцию только хорошего качества!. И еще один бич: неконкретность. Маршагин берет обязательство экономить электроэнергию, смазочные материалы, бережно относиться к инструменту. А сколько склономит? Ведь можно и двадцать киловатт склономит и сто пятьдесят. Конечно, обязательства должны быть конкретные.

— Смыты по горло! — крикнул кто-то.

— Верно! Выдумали волокиту! — поддержал Маршагин.

— А вот с тебя-то я и начну! — сказал мастер. — Прямо сейчас сядись и пиши...

Прежде редко занимался этим делом Алексей Маршагин. Даже не знал, с чего начать. Однако с «шапкой» справился быстро: «Обязуюсь отлично трудиться...» А дальше?

— К какому числу выполнишь план?

— К 27 декабря.

— А это почему?

— Все так пишут...

— Да, но бригада-то выполнила прошлый годовой план к десятому... А в этом году, выходят, все вы снижаете темпы.

Алексей хотел было возразить, но подумал: «Один черт, через два месяца сбегу, буду писать все, что скажет».

— Теперь пиши: «Обязуюсь склономит двадцать киловатт электроэнергии и внести одно рацпредложение по увеличению производительности труда».

— Ну, ты уж извини-подвинься — этого я писать не буду. Каков из меня рационализатор? Я в школе-то еле-еле глянул.

— Ты нормальный человек?

— Допустим...

— Каждый рабочий может стать рационализатором. Это уже доказано. Стахановским можешь ты не быть, но внести предложение по улучшению условий труда или лучшей организации производства обязан.

— Да какое ж это обязательство, товарищ мастер? Это принудиловка!

— Пиши дальше: «Обязуюсь не превышать лимита по рекламациям, снизив их на 10%, по своей позиции...»

— А что я буду иметь от этих обязательств, а? Вам-то они для галочки нужны, а мне зачем?

— Затем, чтобы тебя человеком сделать, чудило!

Подходил к концу месяц. Мастер готовился к подведение итогов. Но бригаду, в том числе и Алексея, это почти не волновало. Они уже привыкли к обычному ритуалу: скученное собрание, на которое придет не больше трети ребят бригады. Мастер зачитывает список лучших, на его взгляд, рабочих. Эти же передовики обычно официально становились и победителями в соревнованиях по участку. Все. Ни премии, ни почета. Звание «Лучший по профессии» обычно давали по очереди всем, чтобы не обидеть кого.

Новый мастер все построил по-иному...

На собрание по подведению итогов заставил прийти всех до единого. На участке стало известно, что на подведение итогов Милованов пригласил членов комитета комсомола, бухгалтерию, плановое бюро, цехком.

— Для чего это? — удивлялись люди.

— Для дела. Болельщики нужны. Знаете, когда на стадионе мало болельщиков, игроки хуже играют. Так и тут. Надо, чтобы подведение итогов было ярким, торжественным... Солидная аудитория настраивает на серьезный лад.

А тут еще выяснилось, что на собрание мастер пригласил даже четырех девчат с других участков.

— А их-то зачем? — спросил председчика Холодов.

— Вот эта, в красной шапочке, — подруга Маршагина, а рядом с ней — Шебунин. А Шебунин занял первое место. Пусть ему будет приятно. Ей почет.

— А на каком же месте Маршагин? На четвертом? Да вы что, он же уйдет, если вы это при дивчины скажете...

— Все будет в ажуре. Он сибиряк, парень самолюбивый. Когда его заденет, начнет состязаться по-настоящему.

...Собрание по подведению итогов прошло бурно и интересно. На первом месте оказался Виктор Шебунин, слесарь-сменщик. Это немножко подстегнуло Маршагина. Кто победил? Середячок. Да он же никакого больше 110 процентов не вытягивал!

Постановили: за победу в соревновании по участку наградить слесаря-сборщика Шебунина Виктора бесплатно путевкой в дом отдыха, выдать ему денежную премию в размере 50 рублей и занести в цеховую книгу почета.

Красный уголок загремел аплодисментами, все встали. Алексей, открыл дверь, помчался в общежитие.

Утром с мастером не поздоровался.

— Ты чего надулся-то? — пододел Милованов.  
— Тоже мне нашли передовика! Да я его всегда  
могу причесать!

— А чего же не причесал? Болтология... А ты  
знаешь, на сколько ему варяд закрыли?

— Рублишник, наверно, на двести,— усмехнулся  
Алеша.

— А двести восемьдесят не хочешь?

Маршагин перво выдернул из кармана яркую  
пачку сигарет, закурил...

На свидание к своей Кате в тот день Алеша не  
пошел. Что-то не очень радостное для себя высту-  
рел он в ее глазах, когда они переглянулись на том  
собрании...

Через неделю мастер объявил:

— С завтрашнего дня у нас на участке начнем вы-  
давать ежедневное подведение итогов, в которых будут  
указаны заработка рабочего и процент выполне-  
ния нормы за день и с начала месяца. Там будет графа с  
указанием процента, который вам нужно сделать,  
чтобы выполнить свою собственность. Вчера в цехкоме согласились еще с одним моим предложе-  
нием. Теперь победитель соревнования за год полу-  
чит право передвигаться в очереди на квартиру.

Это сообщение многих подзадорило.

— Соревноваться будем по десятибалльной системе,— продолжал мастер.— За каждые пять процентов перевыполнения нормы — лишний балл. За внедрение и применение интересных приспособле-  
ний, повышающих производительность труда, — еще пять баллов. За отличное качество работы — четыре. Если человек учится, — единичка обеспечена. И, конечно, за культуру производства, если нет замечаний со стороны инженера по технике безопасности и начальника хослужбы, добавляется два балла. Чтобы не было венценожного ажиотажа (социалистическое соревнование — это не состязание наперегонки, это прежде всего взаимная помощь), будем делать так: Иванов, например, умеет продельвать операцию, эквокома против нормы десять секунд. Так вот: если он откроет свой секрет и обучит прогрессивному приему других, ему начисляется пять баллов сразу на три месяца вперед. Ясно?

— Нет, не все ясно, товарищ мастер! — поднялся Маршагин.— Допустим, я или кто-то другой окончит техникум, а работать останется здесь. Учиться дальше вроде уже некуда: у него за плечами техникум. А другого учится в 9-м классе, и ему — балл, а у него диплом техника — ничего? Несправедливо.

— Пусть учится в школе передового опыта — буду ставить балл. И учите: у кого в школе будет за месяц без уважительных причин более трех пропусков — балл снимается. Я сам буду проверять.

На другой день на участок привезли первые итоги по соревнованию. Милованов стал их зачитывать. И почему-то начал с Маршагина.

— Итак, у слесаря-сборщика Маршагина, табельный номер 4267, на сегодня такие показатели. Зара-  
боток за вчерашний день без премии составил 6 рублей 24 копейки, норма выполнена на 120 про-  
центов. С начала месяца по отношению к плану идет с опережением на 12 процентов. Он отстает от на-  
шего лидера Шебунина сегодня на 10 процентов, но вчера почти догнал его — недобрал 1,5 процента. Причина уважительная: был простой на смежной  
операции.

На другой день вечером мастер опять говорил о  
ходе соревнования. Опять Маршагин отстал на 5

процентов. И это тревожило: ведь простоев в этот день не было. Маршагин заметил, что с появлением «моловий» (они теперь вывешивались через день) у всех появился интерес к работе, к общим делам. Уже с утра, во время перекусов, начинались разго-  
воры о тех, кто лидирует, делались прогнозы.

Однажды Маршагин, идя из столовой, услышал за будкой разговор:

— И ты думаешь, он догонит Витя? Кипка тон-  
ка! — Это голос слесаря Николая Рябцева.

— При всех сказал вчера: «причеш». Сибиряк, сам знаешь, — говорил Миша Котов.

— Слепой сказал: посмотрим. Только мало каши  
ел твой Маршагин, чтоб Витя «сделать».

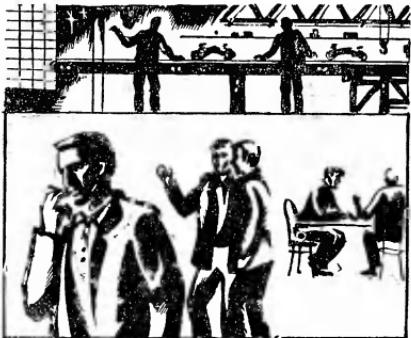
— «Сделает», вот увидишь — он парень напористый, — уверенно заявил Котов.

«Ну все! Уж теперь-то надо выложитьсь», — ре-  
шил про себя Маршагин. — Только в чем же секрет  
его успеха? Ведь все вроде делают одинаково. По-  
чему к вечеру оказывается, что Шебулин всегда на 5–8 процентов обходит? Причины быть не могло: мастер и контролер все проверяют и учитывают».

На другой день на участке появился информа-  
ционный щит. На нем — фамилии всех членов бри-  
гады. Против каждой — цифры: их брали из журнала  
мастера. На стендце в разделе «Какое место зани-  
мает по участку» против фамилии Маршагина стояла цифра «4». Это его огорчило. Ведь вчера же был  
он на втором месте. Из-за него даже люди спорили.  
Как о футболисте. А теперь засмеют.

После смены он подошел к мастеру.

— Петр Иванович, почему так получается? Идем  
и начнем работать одинаково, а к концу смены  
вдруг Шебулин впереди?



— А разве на беговых дорожках не так? Все вро-  
де начинают вместе, а финиш разный. Ты знаешь, на  
чем горишь? На затяжке кулачка. Я наблюдал за  
тобой не раз. Он берет сразу правой рукой штангу,  
шипят и гайку. А левой, ты это заметь, уже дер-  
жит кулаком. И за счет этого выигрывает обычно  
пять — восемь секунд. Вот они в итоге-то и набегают  
к концу смены, превращаясь в дополнительные  
детали. Медальщицы ты и на подиуме восемьки. Он  
заранее ставит все под один угол, чтобы потом не  
тратить времени на развороты. И на каждого трех  
дисках выигрывает по пять секунд. И опять набегают  
у него дополнительные проценты. Вот все это и вы-  
водят его на первое место. Ты не стесняйся, поду-  
чишь у него. Тут ничего зазорного нет!



— Но он же тогда дополнительные баллы получит за распространение ценного опыта, — вроде как в шутку бросил Маршагин.

— Получит, верно. Смотри в будущее, не живи сегодняшним днем. В этот месяц он победит, а затем, усвоив его метод, опередишь ты. И потом давай думай. Тут одной, как говорят, «снутряной силой» и «пуком» не возьмешь. Продумай, как сделать держатель диска. Может, подставку оборудовать специальную. Или еще что-нибудь. Придумаешь — получишь фору в семь баллов. Ты же знаешь Ефимова Николая, который на Доске почета в заводской альбоме висит? Сейчас он заслуженный рационализатор РСФСР. А вот восемь лет назад также считал, что ни к чему не способен. И начал-то с простого: переставил с одного места на другое пустячную деталь. А потом пошел дальше. В рационализации важно сделать первый шаг, перебороть косую мысль, живущую в нашем сознании подспудно. Дескать, раз люди однажды что-то сделали, — значит, сделали совершенно. Нет. В каждой операции, если внимательно присмотреться, можно внести десятки предложений. Думать надо, изучать...

После этой беседы Алексею спалось плохо. В голове возникали десятки вариантов, как обогнать Шебунина. Но вывод напрашивался один: надо внести какое-то рапределение. Пусть даже небольшое. Тем более, мастер тотчас поддерживает всякое новшество. Для начала решил устроить прием Шебунина: единовременный захват трех деталей одной рукой — «хватка Шебунина», как называл этот прием мастер. Целую неделю он приходил на полчаса раньше, во время пересменки под видом подготовки рабочего места учился правой рукой брать сразу шайбу, шплинт и гайку, а левой держать кулачок. И вдруг через два дня обнаружил, что сделал на 25 деталей больше. Через пять дней мастер на оперативки сообщила:

— За вчерашний день на первое место по всем показателям вышли два человека — Шебуин и Маршагин. У них по 127 процентов выработки. Но за внедрение нового способа единовременного захвата трех позиций Шебуину, как я и говорил, набавляется пять баллов. Поэтому он пока впереди. Но я вижу, что Маршагин задумал что-то серьезное. И ты, Виктор, особо-то нас не задирай.

...Дня через два после этого, стоя у конвейера, Алексей вдруг подумал: что, если для гаек, шайб и шплинтов соорудить поверху небольшой шкафчик с отделениями? Против каждого отделения сделать своего рода спуск. Подходит деталь — задевает спу-

щенный книзу шкив. Дверца открывается, и из шкафчика в руки сборщика скатываются шплинт, гайка и шайба. А подачу кулачка сделать так. Ящик с педалью. В ящике — кулачки. Когда нужна деталь — нажимаешь на педаль.

Он продумал еще раз. Потом сказал мастеру. Тот, внимательно выслушав, поклонился по плечу Алексея:

— Молодец! Умная идея! Мы же тут сразу убьем двух зайцев: механизируем ручной труд и убыстряем саму сборку. И можем процентов на пять повысить производительность. Я после смены сяду к механизму. Посоветоваться надо. Вот видишь, ты уже начал рационализировать и даже изобретать.

— А если не понравится механику? — опасливо покачал головой Алексей.

— Не понравится механику — пойдем дальше. Но даю слово: эту идею мы внедрим у себя. А ты думай о другом. Правда, ты в этом месяце, наверно, уже первое место не получишь: Шебуин на седьмом здорово опередил тебя. Ты в начале месяца много наполнил минутов. На второе — за тобой.

Однако Алексея теперь почему-то уже не очень-то волновало, кто будет первым. Его захватил, как говорил мастер, « дух изобретательства и рационализации ». Еще не знал точно судьбу первого своего маленького изобретения, он начал думать о другом. Ему пришла в голову дерзкая мысль: сократить сам конвейер метров на двадцать. Что это даст? Во-первых, сократится число рабочих. Во-вторых, освободится большая производственная площадь и будет где поставить станок-дублер, из-за отсутствия которого очень часто был простор. А чтобы норма выработки участка не снизилась, увеличить звездочку вала, и конвейер пойдет быстрее. Управиться можно: ведь будет же внедрен его, как назвал мастер, «планка автоматической подачи узловых деталей по пятой позиции».

Эта мысль понравилась всем. И уже через неделю в заводской многотиражке, где говорилось о рационализаторском движении на заводе, писали: «Большие надежды подает начинающий изобретатель молодой слесарь-сборщик Алексей Маршагин...»

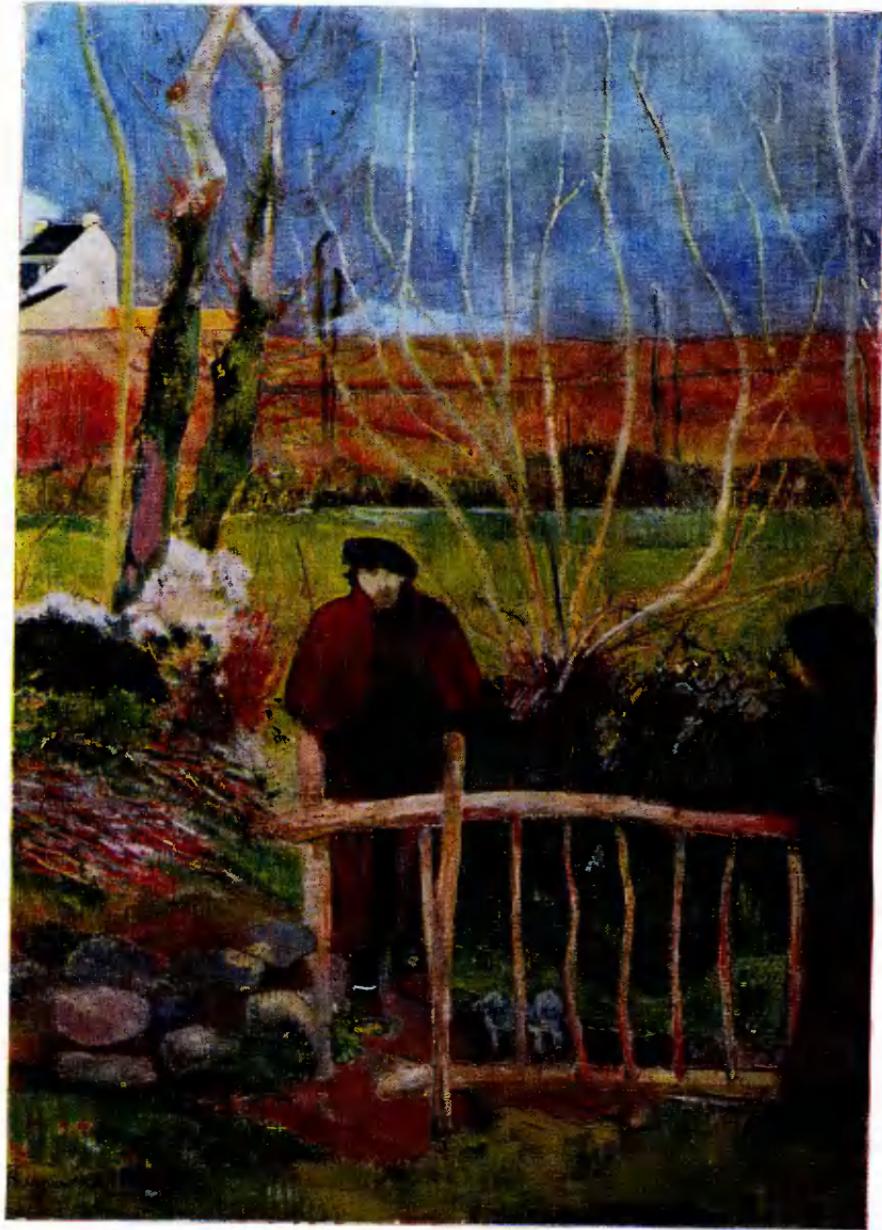
Раз двенадцать прочитал заметку Алексей. Впервые в жизни о нем написали в газете. И не в какой-нибудь там стенной, а в настоящей, печатной.

Шебуин побеждал Алексея три раза. До самого октября при всем своем желании Маршагин так и не смог его догнать. Обидно было. Но хватало-то считанных процентов. Помешала Алексею в один прящедший рекламация. Горькое чувство досады на себя не покидало его все время. И хоть имел Маршагин две тысячи рублей заработка, а норма выработки не была ни разу ниже 120 процентов, он все-таки был собой недоволен.

В декабре Алексея внедрил все его предложение, и он сразу получил «опережение». Но и без этого ему удалось обойти Шебуина на 1,2 процента по культуре производства и выработке.

Вовек не забыть ему того радостного собрания по подведению итогов. И награждения бесплатной путевкой, денежной премией в размере 100 рублей и занесения в Книгу почета не забыть...

— Так и остался я на заводе. И уж теперь — баста. Отсюда никуда не уйду, тут мой дом. Сейчас аумаю, как бы улучшить подачу верхней автоматической линии. Имеется тут одно предложение, сейчас бегаю с монтажниками. Я-то сегодня во вторую смену, а с вами так, до работы... Ну пока, а то Шебуин опять вчера вырвался вперед...

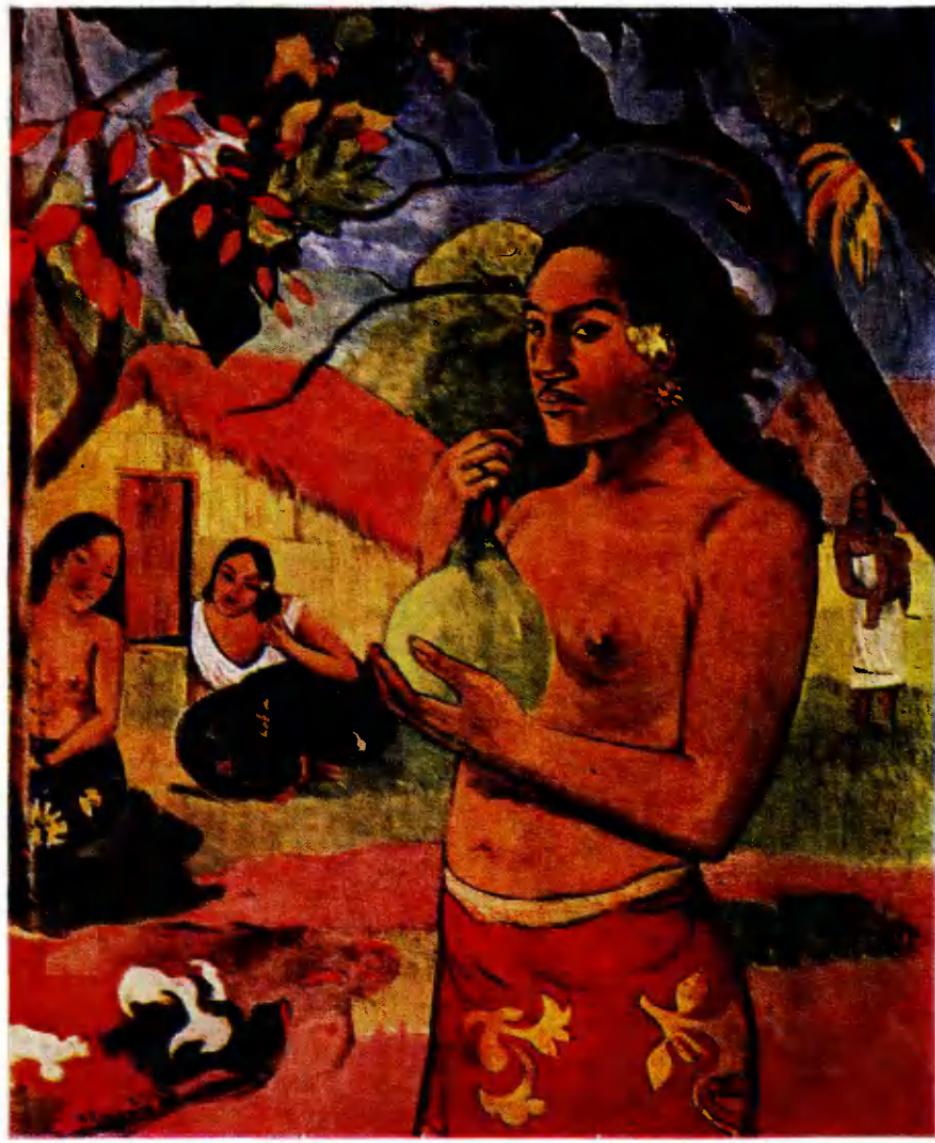


Здравствуйте, господин Гоген. 1889.

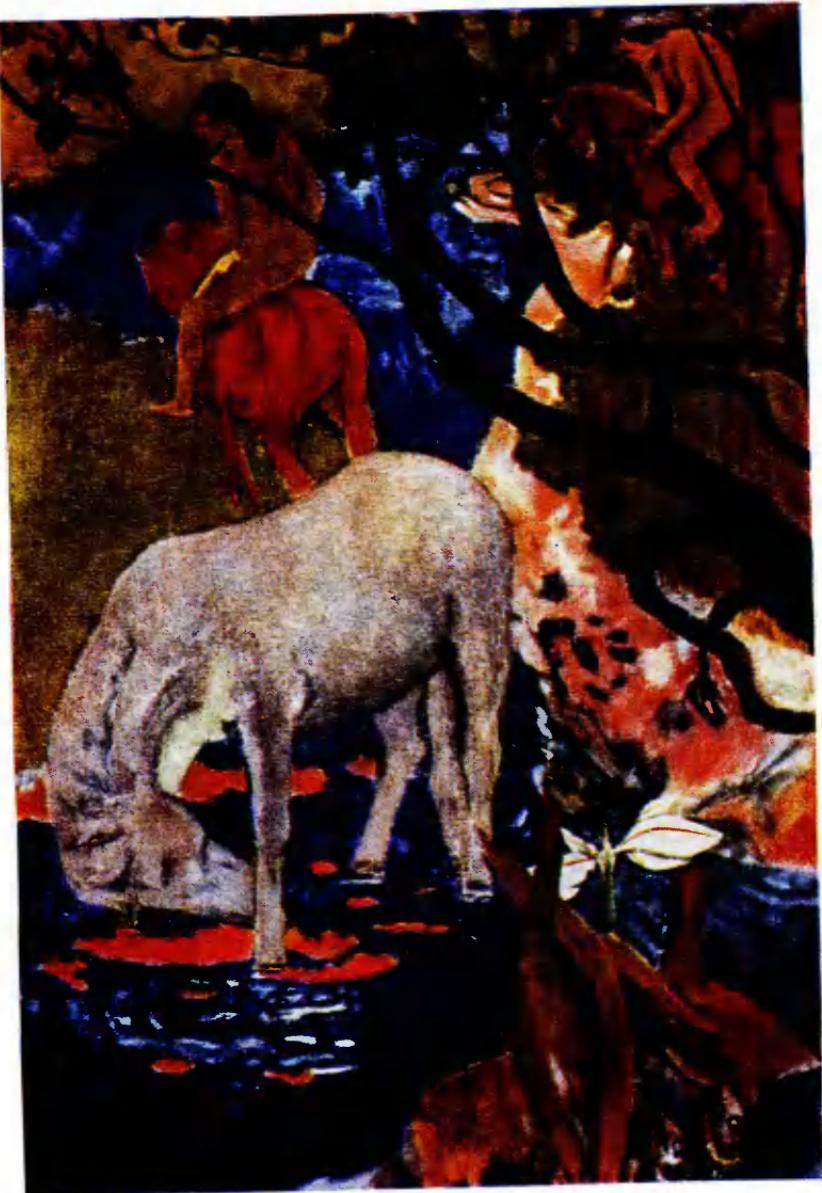
Из произведений Поля ГОГЕНА. 1848—1903.



Пейзаж в Арле. 1888.



Женщина, держащая плод. 1893.



Белая лошадь. 1898.



К НАШЕЙ  
ВЛАДНЕ

Л. БАЖАНОВ

## ЗДРАВСТВУЙТЕ, ГОСПОДИН ГОГЕН!

«Я чувствую,  
что в искусстве я прав»  
Поль ГОГЕН

Гоген. С этим именем связаны легенды, созданные почитателями и врагами, трагедии, восторги наставящих ценителей искусства и людей, в искусстве ничего не понимающих, с этим именем связана история европейской живописи; это имя художника.

Жизнь и творчеству Поля Гогена посвящено огромное число монографий, научных статей в мемуарах, изданных во всем мире. Авторы анализируют произведения художника, ищут в его сложной жизни объяснения созданных им образов, стараются определить место его творчества в истории искусства, пытаются выразить свое отношение к работам мастера. Но обо всем, что связано с Полем Гогеном, написать невозможно. И эти строки являются лишь скромной данью уважению одному из значительнейших художников Франции.

Десятилетия назад тридцатипятилетний биржевой маклер неожиданно для семьи и друзей отказался от карьеры финансиста, и во Франции появился художник Поль Гоген. Конфликт со своим обществом, разрыв с семьей, нищета, болезни, скитание по свету — такова цена творчества этого художника.

Гоген пришел в искусство в тот период, когда импрессионизм из направления революционного, гениального, отвергаемого превратился в почитаемое и ценимое течение в живописи — работы художников-импрессионистов стали регулярно экспонироваться на крупных выставках, торговцы картинами, магазины, начали охотно и за большие деньги покупать произведения импрессионистов. Импрессионизм завоевал право на жизнь. В начале своего творчества Гоген следует импрессионистической манере живописи (например, «Пейзаж в Арле», 1888 г.), но очень скоро собственное видение и отношение к природе, новое понимание художественного произведения как автономного мира уводят художника на путь самостоятельных поисков. Гоген стремится к глубине содержания, большей плотности образа в отличие от импульсивности, непосредственности передачи зрительных ощущений в работах импрессионистов. Он очень внимателен к природе, стремится проникнуть в ее смысл, в ее содержание. Он обращается не только к зрительным впечатлениям, но и к своему знанию, к своим переживаниям, к своей памяти и художественному опыту. Гоген категорически отверг современные ему каноны академической живописи и обратился к традициям искусства архаической Греции, к искусству Востока.

Некоторые работы Гогена кажутся загадочными сценами, фрагментами неизвестной легенды. У зрителя

возникает желание разгадать, понять склад жартии. Такое желание возникает перед картиной «Здравствуйте, господин Гоген» (известны несколько вариантов этой работы; мы воспроизведем картину из собрания Хаммера). Зритель ощущает, что перед ним не простая жанровая сцена и не автопортрет, а попытка как бы отстраненного взгляда на самого себя, попытка создать некоторый многозначный символический образ. Эта черта гогеновского творчества была близка определенному кругу французских художников и литераторов того времени — Поля Гогена прозвозгласил главой художников-символистов. Однако не таинственность складов определяет искусство Гогена. Цветовая гармония, декоративность линейной композиции — в этом раскрывается сущность образов художника. В одном из своих писем он писал: «Цвет, выбиравший так же, как и музыка, способен выразить самое общее и, стало быть, самое неуловимое в природе — ее внутреннюю силу». Цвет не перенесен из картин Гогена непосредственно из природы, он создан волей художника. Может ли быть лошадь зеленою? В картине — да. Мой пятилетний сын со всей непосредственностью неизвестного зрителя сказал:

— Очень грустная лошадь.

Чувствидно, и это верно. Во всяком случае, Гоген не ограничивается простым изображением, а старается наполнить его определенным настроением, содержанием.

Порвав с официальной культурой своего времени, Гоген обратился к культурным пластам, не изуродованым буржуазной цивилизацией. Он пишет свои картины на Мартинике, в Бретани, на островах Океании, проникаясь духом древних культур этих мест.

Синие, золотисто-желтые, розовые, изумрудно-зеленые цвета, собранные в причудливые декоративные пятна, создают музыкальный ритм в полотнах Гогена. Женщины, мужчины, животные, деревья, изображенные художником, как бы участвуют в торжественном ритуале единения человека с природой. Мир вечный, значительный...

Его работа «Женщина, держащая плод» — это не психологический портрет тантрики, а обобщающий образ природы, не обремененной сущностью, от которой бежал Гоген, извечно обновляющейся и продолжająщей себя.

Картины Гогена однажды раскрываются зрителю, захватывают, покоряют своей глубокой чистотой, вызывают радость и ощущение сопричастности основам бытия. Эти картины плохо поддаются анализу; передко анализ разрушает их образный строй. Может быть, в этом одна из причин того, что художники и искусствоведы чаще приходят к Сезанну или Матиссу, чем к картинам Гогена. Но рано и поздно холстам Поля Гогена возвращаешься и снова опушаешь радость.

Творчество Гогена-живописца, несомненно, имеет большое значение для развития европейского искусства новейшего времени. Его живопись нашла развитие в творчестве Бернара, Дени, Серюзе и в творчестве Анри Матисса, оказала влияние на художников, стремящихся к усилению экспрессии в своих работах, и на художников, ищущих обобщенную декоративность. Однако вряд ли можно назвать непосредственных продолжателей гогеновского творчества — искусство Гогена оригинально в своей цельности и по своему неповторимо.

Репродукция не в силах передать всей тонкости и своеобразия гогеновской живописи, и все же мы хотим предложить внимание читателей несколько репродукций с его работ.



Р. МИНАСОВ

# ДИАЛОГ ПОСЛЕ БОЯ



II

очему он взял с полки именно эту книгу? Чем она привлекла его внимание? Может быть, именем автора? Или броским, ве<sup>з</sup> налетом интриги, названием? А может, и тем и другим вместе?..

Тимофей Алексеевич Ромашкин и сегодня, пожалуй, не смог бы однозначно ответить на этот вопрос. Хотя где-то внутренне, видимо, определяющей его интерес, была тема войны. Книга Гельмута Вельца называлась «Солдаты, которых предали»...

Ромашкину не довелось вместе со своей дивизией дойти до стен рейхстага. А шел он к победе от самого Сталинграда. Сто дней в боях — и ни единой царинки! И, наверное, десятки раз дрались с фашистами врукопашную — линия фронта для него проходила на узком клочке земли, под крышей металлургического завода «Красный Октябрь»...

В одном из рукопашных боев, уже в Приднепровье, в феврале 44-го, капитан Ромашкин был тяжело ранен. Два года врачи боролись за его жизнь... А после войны, после выздоровления Тимофей Ромашкин со своим многочисленным семейством поселился в Цимлянске. По возможности трудился. Но старые военные раны постоянно отрывали его от дел, и Тимофей Алексеевич снова и снова отправлялся на лечение.

В библиотеке одного из одесских санаториев весной 67-го года он и увидел книгу Гельмута Вельца. Запитересовавшись, начал ее листать, посмотрел оглавление — и застыл, пораженный... Одна из глав называлась «Бой за цех № 4»...

Сердце Ромашкина бешено заколотилось, он побледнев и едва удержался на ногах. Юная библиотекаря испуганно спросила:

— Что с вами?  
— Ничего, ничего...

Он сел, отдался и залпом прочитал главу. Его поразила точность и обстоятельность, откровенность и беспощадность, с которыми автор описывал события тех дней. Ведя в том страшном, многодневном бою за марганцевый цех № 4 завода «Красный Октябрь» оборону держал (вместе с подразделениями 39-й гвардейской дивизии и рабочим батальоном) батальон, где командиром был Иван Бойков, а комиссаром — Тимофей Ромашкин. А командиром того немецкого саперного батальона, который пытался овладеть цехом, был Гельмут Вельц.

Такие ситуации случаются, как видите, не только в книгах. Гельмут Вельц и Тимофей Ромашкина столкнула лицом к лицу жизнь — сначала в дни великой битвы на Волге, а затем — много лет спустя после войны...

Прочитав книгу Вельца, Ромашкин решил написать ему письмо. Ответ из ГДР не заставил себя долго ждать. Вельц высказал готовность поделиться с Ромашкиным документами из своего военного архива.

Письма пересекали границу в обоих направлениях. Международная почта стала посредником в диалоге двух людей, которые в том бою были противниками.

Диалог этот, поначалу настороженный, постепенно, день ото дня становился все откровеннее, теплее, превращаясь в беседу единомышленников — борцов за мир.

И Ромашкин и Вельц в своих письмах и воспоминаниях вольно или невольно, но очень часто обращаются к своим детям, а через них и ко всей современной молодежи. «Будьте такими, как мы!» — говорит молодому поколению бывший офицер Советской Армии. «Не будьте такими, как мы», — предостерегает Вельц.

регает немецкую молодежь бывший офицер вермахта.

Актуально звучат слова Вельца: «Если старшее поколение прогрессивного мира выиграло войну, то молодое должно выиграть борьбу за мир». Нет, это не из книги «Солдаты, которых предали». Это из письма к Тимофею Ромашкину.

«...Я рад узнать в вас командира героических защитников мартеновского цеха. Если вы прочли мою книгу, то уже знаете, как глубоко я уважал и уважаю сейчас этих бойцов...»

Гельмут Вельц думает прежде всего о юных. Он пишет, что выиграть борьбу за мир — историческая задача молодежи. «И мы, — продолжает он, — должны ей в этом помочь».

«Дорогой Тимофей, — обращается он к Ромашкину, — я думаю, что мы... лично можем очень много рассказать. Мы должны протянуть друг другу руку и посмотреть друг на друга в глаза, чтобы знать, что сегодня мы, объединенные одной волей, стали товарищами и друзьями и идем в едином строю. Поэтому я надеюсь, что мы встретимся в Волгограде. ...Я не хотел бы заканчивать письмо, дорогой Тимофей, не сказав вам, что я от всего сердца рад и счастлив, что именно вы, мой прежний ожесточенный противник, сегодня стали моим другом. Я многому научился в вашей великой стране и сделал правильные выводы из истории. Я верен дружбе с народом великого Советского Союза. Сердечно приветствую вас. Автор книги «Солдаты, которых предали» Гельмут Вельц».

Для капитана Вельца война кончилась задолго до падения Берлина.

26 декабря 1942 года цех № 4 был взят подразделениями Тарацанского полка. Оставшиеся в живых немецкие офицеры и солдаты сложили оружие. Однако среди пленных, убитых и раненых не оказалось командира немецкого батальона. Он тогда ушел. Но не далеко и ненадолго... 31 января 1943 года Гельмут Вельц был взят в плен, и это стало определяющим во всем его дальнейшей судьбе.

Уже в «волокском котле» Вельц пришел к тяжелым, трагическим для него, офицера вермахта, раздумьям. В своем дневнике он записал: «Высокие слова насчет будущности рейха и смысл принесенных жертв уже не вызывают во мне такого отклика, как раньше. Я вижу, куда они завели вас. И на родине уже у многих появилось недоверие к руководству. Дни, когда мы терпим поражение, заставляют нас сильнее задумываться. Меня, во всяком случае...»

И продолжает уже в книге: «Да, я пережил гибель целой армии, душевный паралич, приказ потягнуть. Я видел разделанных и расплощенных солдат, отмороженные ноги, пустые глазницы, поднятые вверх руки. У меня до сих пор звучат в ушах безумные вопли предсмертные крики. Я до сих пор чувствую горький запах пожарищ...»

Три вехи были решающими в последующей жизни Вельца: битва на Волге, «Дом Луноса под Москвой» и образование Германской Демократической Республики.

Гельмут Вельц стал членом Союза немецких офицеров и членом комитета «Свободная Германия», штаб-квартира которого размещалась в доме отдыха «Луноса» на Клязьме. Здесь же он вступил в ряды СЕПГ.

Закономерно, что по окончании войны Вельц избрал своей родиной Германскую Демократическую Республику. Закономерно, что, поселившись в Дрездене, активно сотрудничал с членами инициативной группы по оздоровлению жизни в молодой республике.



На фото: Тимофей Ромашкин (слева) и Иван Бойков. 1942 г.

лике. Наконец, закономерно и то, что Гельмут Вельц избрался обер-бургомистром Дрездена, а затем возглавил одно из химических предприятий города.

Человек принципиальный, Вельц считал делом чести поделяться своими раздумьями о войне, рассказать о виденном и пережитом, ничего не скрыв, — откровенно от начала и до конца.

В канун 20-летия победы над фашизмом издательство «Мысль» в Москве выпустило на русском языке книгу Вельца. Среди исторических исследований и мемуаров, посвященных немецкой катастрофе на Волге, эта книга личных воспоминаний занимает особое место.

И, рассказывая о бое на заводе «Красный Октябрь», Вельц уже понимает, что здесь столкнулись не просто два противоборствующих батальона, но две идеологии, две морали: людей, сознавших правоту своего дела и ответственных за будущее человечества, а потому готовых пожертвовать жизнью ради победы, и людей, гонимых на Восток авантюристом бесноватого фюрера.

Однако мысленно вернемся к тому бою... Тому бою, который беспощадно честно описан в своей книге Гельмут Вельц. Тому бою, который Ромашкин и Вельц вспоминают вновь и вновь сегодня...

Читая книгу, понимаешь закономерность эволюции Вельца. Сначала сознание: «С каждым днем солдаты все больше начинают задумываться. Они видят,

вперед бросают одну за другой танковые и пехотные дивизии и как эти дивизии вскоре превращаются в груду металла и шлака, в горы трупов. Они видят, как постепенно падает боеспособность войск. И они задают себе вопрос: к чему эта мясорубка? Они спрашивают себя: ради чего здесь принесено в жертву столько людей?

Потом — прощание и вступление на путь активной борьбы с фашизмом, борьбы за новую Германию: «Я начал осознавать, что фашистская Германия должна была проиграть войну, потому что фашистский режим вел войну несправедливую. Он преследовал в них разбойнические цели и действовал преступными средствами... нам удалось внезапно напасть на Советский Союз. Только в плену я понял, что эти первонаучальные успехи воине не означали превосходство немецкого оружия. У меня исчезли иллюзии о войне как рыцарской битве. Война человечеству не нужна, народы должны жить в мире, тот, кто встает под знамя германского милитаризма, шагает к гибели».

Прорвав оборону на участке 685-го стрелкового полка 193-й советской стрелковой дивизии, фашисты рвались к Волге. Удержать всеми силами завод «Красный Октябрь» стало первоочередной задачей наших воинов. Особенно тяжело пришлось первому батальону 253-го Тарацанского полка 45-й стрелковой дивизии имени Щорса. Командование этим батальоном взял на себя заместитель командира по политчасти капитан Тимофей Ромашкин. За четыре дня непрерывных боев — с 1 по 4 ноября — батальон отразил двенадцать яростных атак гитлеровцев. В этих боях первый батальон за 4 дня истралил более 400 гитлеровцев и уничтожил более двадцати огневых точек врага, улучшив позиции своей дивизии.

Тарацанцы не только выдержали настиск врага, но и сами перешли в наступление, продвигнувшись вперед на 300 метров и 8 ноября закрепились в мартеиновском цехе (№ 4) завода «Красный Октябрь». Фашисты не смирились с потерей столь важного опорного пункта... На протяжении более полутора месяцев за цех шли ожесточенные бои. Здесь дрались бугуры и донцы, саперы и бронебойщики, минометчики и пулеметчики. Здание цеха несколько раз переходило из рук в руки, но закрепиться в нем нашим бойцам долгое время не удавалось.

Самым решающим боем, окончательно определившим судьбу завода, был бой, завязавшийся 11 ноября 1942 года...

#### «Приказ на наступление. 11.XI.42.

1. Противник значительными силами удерживает отдельные части территории завода «Красный Октябрь». Основной очаг сопротивления — мартеиновский цех (цех № 4). Захват этого цеха означает падение Сталинграда.

2. 179-й усиленный саперный батальон 11.XI овладевает цехом № 4 и пробивается к Волге. Ближайшая задача — юго-восточная часть цеха № 4...

(Из приказа командира 79-й пехотной дивизии генерала фон Шверина).

«Во что бы то ни стало удержать занимаемые позиции. Не допустить продвижения противника. Назад не отходит. 11.XI.42».

(Из телеграммы командующего 62-й армией В. И. Чуйкова командиру 45-й стрелковой дивизии).

Батальон тарацанцев оборонял цех № 4 (мартеиновский).

Батальон Гельмута Вельца занимал позиции в соседнем цехе № 3.

Вот два живых свидетельства о событиях этого дня и последующих 46 сутках бесконечного ближнего боя.

Гельмут Вельц. Смотрю на часы: 02.55. Все готово. Ударные группы уже заняли исходные рубежи для атаки... Невидимые снаряды... завыва и свистя, рассекают воздух и рвутся в пятнадцати метрах впереди нас, в мартеиновском цехе. Но наша артиллерия уже переносит огневой вал дальше, вперед.

Тимофей Ромашкин. Немцы будто обезумели. С шести утра — десятая атака!

— Практически от полка остался неполный батальон, — говорит командир нашего полка Можейко, — а удержаться надо.

Немцы бьют из пулеметов, что-то орут. Они снова идут в атаку. Я командую: «Залповый огонь из всех видов оружия!»

Гельмут Вельц. Авиация целями ведетами бомбила этот завод. Эскадры бомбардировщиков... сменяли друг друга. Гаубицы, пушки и м mortars переворачивали все вверх дном. Здесь не осталось ни единого клочка целого места.

Открывают огонь русские снайперы. Против них пускаем в ход откатмы. На несколько мгновений становится светло, как днем.

Тимофей Ромашкин. Очередная атака отбита. Мы вновь возвращаемся в мартеиновские печи, песьма надежные укрытия. Этую тактику применяли не раз, оставляя наверху лини наблюдателей.

Солдаты приносят тела убитых медсестер, бывших студенток медицинского института Симы Мерзловой и Оли, фамилия которой стерлась в памяти. Девушки выносили с поля боя раневых, и, когда ползли с истекающим кровью старшиной Куликовым, немецкий пулеметчик дал по ним очередь. Сима, умирая, прикрыла своим телом раневого. В ее санитарной сумке, прошитой пулями, нашли дневник и книгу Н. Островского «Как закалялась сталь». И вот сержант Пагорсин в минуту передышки приносит нам в мартеиновскую печь книги. Первые и последние страницы ее опалены, испещрены и запачканы кровью и сажей. При скучном освещении читать эти страницы было невероятно трудно, но это не помешало книге стать организатором нашего мужества и стойкости. В самые тяжелые минуты кто-нибудь находил подходящее место и начинал читать вслух.

А когда в дневнике Симы солдаты обнаружили строки: «Я и Оля решим стать такими, как Павка Корчагин. И мы будем такими», — то наша ненависть к врагу и решимость отстоять цех устроились.

Гельмут Вельц. Через небольшую щель проинкает свет. Иду на свет, распахиваю двери и оказываюсь в другом подвале, несколько большим. В центре горит костер. Вокруг него сидят и лежат около ста пятидесяти солдат.

Впечатление безрадостное.

Изможденные лица, изодранное обмундирование, из брюк вылезают колени. Залатывать никто и не думает: нет ни времени, ни иголки с ниткой. Поскольку на смену частей нет надежды, процесс разложения воинской дисциплины, видно, идет все сильнее. С саногами также не лучше — развалились, подметки привязаны тонкой проволокой. Никого это не волнует. Некоторые солдаты, насквозь промерзшие и промокшие, сидят так близко к огню, что тоги и глади пламя перекинется на них. Они тупо уставились на огонь. Другие с закрытыми глазами растянулись на животе, подперев голову руками. Хранят совсем выбывшие из сил, накрыв голову шинелью. В углу о чём-то шепчутся двое. У того солдата, что поменьше ростом, в руках «Железный



Гельмут Вельц. Итог уничтожающий. Больше половины убиты или тяжело ранены. Теперь цех снова полностью в руках русских.

Итак, цех прямой атакой не взят! Осознание этого факта потрясает меня. Ведь такого мне еще не приходилось переживать за все кампании. Мы прошлись стабильные фронты, укрепленные линии обороны, преодолевали оборудованные в инженерном отношении водные преграды, брали хорошо оснащенные доты, захватывали города и деревни. Нам всегда хватало боеприпасов, нефти, бензина, стали, чугуна, цветных металлов и резины. А тут, перед самой Волгой, какой-то завод, который мы не в силах взять!

Для меня это отрезвляющий удар: я увидел, насколько мы слабы.

Чем это кончится — Сталинград и вся война?

...В одном из своих писем Тимофей Алексеевич спросил Вельца: а что бы он сказал сейчас рабочим завода «Красный Октябрь», если бы встретился с ними?

Гельмут Вельц прислал ответ, содержание которого звучит как политическое предупреждение автора:

«Сталинград сыграл не просто чисто военную роль в Великой Отечественной войне Советского Союза. Для многих немецких соотечественников Сталинград стал поворотным пунктом в их сознании, в их психологии, поворотным пунктом от нацизма к тому строю, который утвердился сейчас в Германской Демократической Республике.

Можно сказать, что Сталинград положил начало существованию нашей Демократической Республики.

Мы поражены волей и решимостью советских людей, построивших на Волге город лучше, чем он был, мы поражены вашими успехами в науке, технике, культуре. Я сделала все возможное в моих силах, чтобы никогда не повторялись трагические дни Сталинграда.

Сегда есть Германская Демократическая Республика, которая противостоят империализму в центре Европы, есть братский союз с Советским Союзом, и мы будем беречь этот союз и укреплять его, чтобы преградить путь любым военным нашествиям и авантюрам.

Это говорит вам один из тех, кто тридцать лет назад пришел в Сталинград врагом, а потом понял, что маршировал не туда. Позвольте заверить вас в искренности моих слов и моих чувств.

Именно эти слова он и сказал рабочим в Музее истории обороны завода «Красный Октябрь», когда весной 1973 года побывал в Волгограде.

...Мы поднимались от Волги в гору. Тимофей Алексеевич Ромашкин шел грузно, с частыми остановками: сердце...

Бот он поднял с земли проржавелый кусок металла, прочертил им воздух с востока на запад, сказал со вздохом:

— Шлаковая гора...

Бот на этой-то горе гитлеровцы в ноябрьские дни 1942 года находились от берега Волги в каких-нибудь пятидесяти метрах... Здесь батальон таранцев четверо суток без передышки отражал одну за другой атаки фашистов, стремившихся во что бы то ни стало сбросить батальон в Волгу...

Мы идем по территории завода «Красный Октябрь». Останавливаемся перед бывшим зданием центральной лаборатории, сохранившимся до наших дней как памятник. Обрушенные стены, скрученные в жгуты балки, лестничная площадка, поросшая

бузиной,— вот все, что осталось от лаборатории. На оставшемся чудом уцелевшей южной стене чернеет надпись, сделанная мазутом: «Здесь стояли насмерть герои-таранцы!»

Идем дальше. Вот тут был КП командира полка майора Маженко. А вот там почти сто дней сидели враги. Этим маршрутом ходили на подрыв стены третьего цеха комсомольцы Кузьменко, Моторенко, Поклейкин...

Я слушал Ромашкина молча. Давно хочу спросить, да все откладывала. Но вот не удержалась:

— Скажите, Тимофей Алексеевич, как объяснить такое нынешнее дружеское общение со своим бывшим врагом, который убивал ваших товарищей?

— Не вы первый задаете этот вопрос... В прошлом году я приходил сюда с сыном, Виктором, который служил в армии здесь, в Волгограде. Когда я ему все это показал и рассказал, он с недоверием спросил: «Прости ты что ли, отец?»

— И что же вы ему ответили?

Ромашкин выдержал паузу, словно собираясь с силами:

— Вот уже тридцать лет я часто вижу во сне Сталинград. Руины мартеновского цеха, печи, в которых мы укрывались. До сих пор слышу голоса погибших друзей, вижу, как, прижавшись спинами к стенам мартеновской печи, они слушают нескончаемую музыку войны... Такое не забывается...

Ромашкин замолчал. Потом медленно продолжал:

— Сегодня я, как и тысячи других ветеранов, исполню волю тех, кто, защищая Родину, отдал на сталинградской земле самое дорогое — жизнь! И я всю послевоенную жизнь посвятил исполнению заветов павших... Простите, если говорю высокренне, но не в словах дело...

Тимофей Алексеевич попросил у меня сигарету, закурил, глубоко втянул в себя дым.

— Человек должен нести ответственность за то, что происходит в мире. Нас такими воспитали. Нам не безразличны судьбы стран и народов. Мой бывший враг был обманут фашизмом, но сейчас он олицетворяет ту Германию, которая очень скоро прозрела и поняла, по какому гибельному пути ее вели.. Своей книгой Вельц откликнулся и на мою боль, на боль миллионов моих соотечественников. Я счел делом совести откликнуться на горькую исповедь своего бывшего врага еще и потому, что нашел в ней логику честного поиска, которая, как известно, неизбежно ведет к формированию прогрессивных взглядов и убеждений...

Мы направлялись к выходу из заводского двора. И вновь остановились у легендарной стены.

— Это было здесь, — рассказывал Ромашкин.— На 10-й день боев за центральную лабораторию. Лейтенант Масленников говорил мне: «Разреши, комиссар, атаковать. Есть верный план. На этот раз мы их взьмем». Операция предстояла рискованная. Я спросил: «А если погибнем?» «Только ценой победы», — произнес лейтенант уверенно. Потом добавил: — Ну, а если... Тогда, комиссар, если ты останешься в живых, приведи сюда своего сына, который, я верю, родится после войны, и расскажи ему, как и за что мы не жалели жизни». Лейтенант Масленников при решающем штурме лаборатории подорвался на мине. Ему было двадцать лет — столько же, сколько моему Виктору, когда я приходил с ним сюда...



ВАЛЕНТИНА  
ЮДИНА

# ЖИЛИ- БЫЛИ ДЕВОЧКИ...

стория, которую я расскажу, документальна. В ней не выдумано ни слова.

**И**Жила в небольшом городе Коврове девочка Ира Головкина. Русые косички, бледное лицо, белые бантинки. Жила с мамой на тихой улице, в деревянном уютном доме.

Мама часто болела, и Ира, хоть и росла хрупкой, привыкала с малых лет все делать сама: могла испечь печь, спинти сарафан, привыкла ходить в магазин. Самостоятельно решала, гулять ли ей сразу после школы или сначала сделала уроки. Уроки, впрочем, делала без особого труда, книги прочитывала за полпачки. Так все и шло. И вот окончено восемь классов.

Радостно начиналось лето. Иру избрали в комитет комсомола школы, заместителем секретаря, направили на учебу в лагерь старшеклассников «Искатель», что под Суздалем, на берегу чистой речки Нерль. В лагере собрались много девочек и мальчишек, все одногодки, все активисты, умники-затейники. Ира примирилась среди них Андрея Башкевича, его интеллигентные очки, его точную, безукоризненно правильную речь... Ей стало хорошо среди летнего гомона, среди сверстников.

...А в другом городе, во Владимире-на-Клязьме, жила другая девочка — симпатичная, сервзная Алла Сергеева, свободно уже читавшая Байрона в оригинале (с детских лет увлекалась английским языком). Алле тоже дали путевку в лагерь на Нерль.

Прошли первые костры, собрания. Стали входить в жизнь ребят «институты самоуправления»: штабы, комитеты, советы.

Аллу Сергееву избрали в актив, Иру не избрали. Но Ира считала, что это справедливо, и втайне надеялась, что на новых выборах дойдет очередь и до нее. Она сумеет показать, на что способна.

Правда, смущали Иру в первые же дни частные маршировки, сбор упавших за ночь сосновых щипок — на то был особый указ Эммы Васильевны, начальницы лагеря. Смущали и длинные паузы среди дня, ничем не заполненные: ни лесом, что синел вдалеке, ни речкой, ни работой в соседнем колхозе. И хотя Ира не могла похвастаться завидным здоровьем, она все-таки очень ждала встречи с колхозным полем. Ждала. Но не дождалась.

Через семь дней ее исключили из лагеря.

Все произошло довольно просто. Во время вынужденного бедзеля (стоял зеленый подень, верещали кузнецы, пахло луговой травой) Ира со своей подружкой Галей вышла за окопницу лагеря. Их долго было видно: забор у лагеря невысокий, по пояс, а они и не прятались, шли и глядели по сторонам. Нашла одуванчик, нашла розовый камешек по дороге. Встретили стог свежескошенной травы — от него пахнуло сладким дурманом. Они наперегонки к стогу — и булыжок, как в омут речной.

А вслед им смотрела Эмма Васильевна...

Потом Гала плакала на собрании и обещала «исправить поведение». Она умоляла как угодно наказать ее, но только не отправлять домой. Ира же не плакала, не каялась: она подавленно молчала, не в силах сразу осмысльть происшедшего. И не видела, как поднимались руки: «Исклучить Ирину Головкину за нарушение лагерной дисциплины, выразившееся в самовольном уходе к стогу сена».

Одной из первых подняла руку девочка из Владимира, Алла Сергеева. Очень решительной и категоричной была она в свои пятнадцать лет. Откинув со лба прядь, тряхнув головой, она сказала звонко:

— Мне тоже бывает скучно. Но что станется, если каждый начнет уходить с территории лагеря?

Кто проголосовал «против»? Андрей Вашкевич. Впрочем, говорит, один в поле не воин.

Ни храбрый Андрей, ни Алла, читавшая в подлиннике «Чайльд-Гарольда», не знали, что Ира Головкина после исключения за «ход к стогу сена» попала в больницу с тяжелым нервным расстройством и долго болела.

...Я приехала в Ковров, когда в школе уже начались занятия. Ира выбежала навстречу мне — в коричневом форменном платьице с кружевным воротничком. Мы проговорили тогда весь день. Она была взвуждена, много рассказывала о школе, о книгах. Но иногда я замечала на ее лице ту мучительную грусть, что запомнилась мне с нашей первой встречи. «Видно, думает про «Искателя», — додавалась я и просила:

— Ира, да что ты? Забудь.

— Я забыла как будто, но как вспомню их лица злые...

Я познакомилась с Аллой Сергеевой чуть позже описываемых событий и все силилась понять: может быть, желание делать, как все, как посчитал нужным кто-то из старших, продиктовало Алле ее поступок? Пытаясь вызвать девочку от оправданных, но безуспешно. Лишь позднее, когда я приехала из Коврова и, отыскав Аллу в ее английской школе, рассказала про Ирину болезнь, про ее переживания, в Алле что-то словно оттаяло...

И вот миновало два года. Все это время я переписывалась с Ирой и Аллой. Недавно, перечитывая их письма, подумала: ведь тот конфликт, осмысление которого шло постепенно — через письма, разговоры, раздумья, помог одной девочке еще больше утвердиться в себе, а другой — пересмотреть, переопределять многое.

Вот эти письма. Я публикую их с разрешения девочек.

Письмо от Аллы (осень 1970 года):  
«Я не могу понять, только додгдаюсь, что была тогда в чем-то неправа. Но я всегда считала, что не могут же все ошибаться. Так же бывает. А вот сегодня знаете, почему Вам пишу? Потому что вспомнился один случай. Он тоже произошел у нас в «Искателе», уже после исключения Иры. Может быть, Вы о нем слышали, не знаю. У одной девочки потерялся фотоаппарат. Искали его, искали. И, отчаявшись, приказала Эмма Васильевна нам предпринять личные чемоданы и баулы на досмотр. Эдик Мосин, начальник штаба, не дал на это согласие, но и ему пришлось доставать из-под кровати своей чемодан. Фотоаппарат так и не нашли, не представляете, как все это было унизительно; особенно я чувствую это теперь, когда вспоминаю, и никак не пойму, почему мы все подчинились. Понимаете, все?! Но с Ирой Головкиной, мне кажется, другой случай. Здесь с фотоаппаратом, не было виновника, а только подозрение. Ира же все-таки ушла за территорию лагеря... Может, конечно, исключать за это не надо было! Не знаю...»

Письмо от Иры (1970 год, осень):

«Прочитала повесть В. Каверина «Школьный спектакль». Какие глубокие чувства вызвала эта книга! Я стала сравнивать с жизнью прочитанное и подумала: а есть ли среди нас девочки и мальчишки, способные на стойкую, преданную дружбу? Я не говорю — любовь. И вот, к моему огорчению, многое оказалось не так, как у Каверина. Все же маловато у нас мальчишек-рыцарей и девчонок, способных на серьезное чувство. Относиться ко всему слегка стало модой».

Еще письмо, но после молчания:

«Идут занятия. У нас был странный случай. Один мальчик написал статью в стенгазету, а ему вставили туда какие-то слова, которые он не писал и не хотел писать. Он посоветовался со мной, а я посоветовалась с комсомольским активом нашего класса и школы. И мы сказали, мы решили, что этот мальчик напишет в другом номере стенной газеты, что произошло... Про лето я уже и забыла вроде бы, так давно оно кончилось».

Пришли месяцы, девочки учились в девятом, письма писались нечасто.

Потом наступило их последнее каникулярное лето. Однажды в почтовом ящике я обнаружила письмо. Текже аккуратные Ирины строчки:

«О себе? Девятый класс кончил с похвальной грамотой. Училась печатать на машинке — печатаю быстро».

В десятом хочу пожать на учебу, а еще заниматься в кружке современного танца...

В августе снова введу строгий режим, разленилася...»

А вот Алла:

«Читала Брехта и Заболоцкого. Прочитала Харпер Ли «Убить пересмешника». Странно, что в этой довольно большой библиотеке нет совсем Ахматовой и Булгакова».

Увлеклась работой с пионерами. И вот опять вспомнила «Искатель».

Вы не знаете, как здоровье Иры?

Помните, я говорила Вам, что Ира была неправа, раз не захотела делать, как все. Теперь, пожалуй, я бы так не сказала. Хотя с ребятами, которые тебя окружают, считаться надо. Ведь не одной же ей было скучно подметать каждый день опавшие за ночь листья и шишки с деревьев. Мы тоже с удовольствием занимались бы чем-нибудь стоящим во время трудового часа. Но молчали и делали вид, что заняты работой. А раз она такая смелая, не захотела быть, как все, почему бы ей не поговорить с ребятами!! Мы бы все вместе пошли к Эмме Васильевне и убедили ее, что лучше мы будем пилить дрова для соседнего дедома или пропалывать скверку. Но Ира никому ничего не сказала. А ушла одна. Поэтому ребята и возненавидели ее, раз она хочет быть самой умной. Значит, все-таки она была неправа... Я совсем запуталась».

Следующее письмо от Аллы пришло не скоро и было совсем не похоже на предыдущее. Прежде чем привести его здесь, я немножко засомневалась — оно вроде было на иную тему:

«Мы не понимаем друг друга, а без понимания, помоему, не может быть настоящей любви. Я уважаю его за человечество, доброту. Недавно он привел к себе в дом совершенно чужого человека. Тому нигде было икошнать. Разве каждый на это решится?! Но он не может найти себя».

Я решила посыпать свою жизнь детям, буду учительницей. Меня привлекает работа с «трудными» ребятами. И хочется в глушь, может быть, на Крайний Север. Переводящей не хочу быть. Читать английских поэтов — согласна, но и только. А он ничего не выбрал. Ну, как ему помочь?»

Письмо было длинное и, видно, писалось долго — летом и в сентябре, уже в десятом классе. А концовка такая: «Ах, если бы можно было вернуться в прошлое, в «Искатель», и исправить непоправимое».

Я написала об этом Ире. Я написала, что Алла дружит с парнем, думает о своем и о его призвании в жизни. И получила ответ. Об Алле ни слова:

«Сначала расскажу про Ригу. Жили мы на туристической базе. Каждый день ездили в Старый город. Поправилось в Музее народного быта (а были еще в Музее истории Риги и Музее Революции). В

огромном лесопарке расположены целые деревни, усадьбы разных эпох, предметы утвари. Рядом озеро... А Старый город! Нет двух похожих домов, улицы вымощены бульдьюником, идеальная чистота. Домской собор (XIII век) — смешение многих стилей. На шпиле Золотой петух, национальный символ счастья.. В Домском соборе один из лучших органов мира. Мы были на концерте. Впечатление — долгое, как от моря. Хотя я плохой ценитель музыки, но от Баха и Моцарта наслаждение получила огромное...»

А вот письмо Аллы:

«Я стала внимательнее приглядываться ко всем: к мальчишкам, девочкам, учителям. И, знаете, даже поразились: какие все разные. Нет двух людей, похожих друг на друга. Значит, наверное, и нельзя требовать, чтобы они поступали или жили все одинаково. А я вам когда-то писала про Иру, что она должна была притянуть к ребятам, поговорить, объяснить.

А может, и вовсе не должна, раз у нее такой характер. Правда, мне больше по душе другие люди, ну, что ли, более общественные. Но в одном я, кажется, становлюсь уверенной: нельзя осуждать человека за индивидуальность, если этот человек правдивый и честный и не приносит вреда другим...»

И еще от Аллы:

«У нас в классе столько событий. Понимаете, ваш десятый в школе был много лет лучшим и вдруг стал худшим. Почему? Потому что ребята взрослые и им хочется, чтобы с их мнением считались. У нас было диспут «Что значит быть честным? Как вы боретесь с нечестностью в вашем классе?».

И все свелось к... успеваемости. Если уж на то пошло, хоть изредка, но каждый ученик списывает. Ситуации бывают такие, что списывают. Но разве только об этом на диспуте надо было говорить?.. Мне кажется, что золотиничное списывание будет до тех пор, пока существуют «оценки» за знанием и за не-умение. Я что-то пытаю, наверное. Но главное вот что: предметом нашего диспута была пустота. Да, да — диспут был ни о чем. А ведь Сухомлинский писал (я теперь много читаю, не только английские книги), что недопустимо делать предметом обсуждения в коллективе ни чегого. Теперь я вспоминаю то колективное обсуждение Иры в «Искателе» и понимаю, что нам предложили обсудить ни чегого и даже обсуждать это и чегого. Что мы и сделали, глупенькие... Кстати, на днях во Владимире шел фильм «Доживем до понедельника». Я думаю, в нем поставлены интересные проблемы. Отношения учителей и учеников. Как стать таким, как Илья Семёнович? Как не стать таким, как эта учительница литературы? Как быть честным?»

Письмо от Иры:

«...Алла Сергеева... Нет, сейчас я уже не сердусь на нее. Если она толковая, умная девочка и любит Олега, как Вы пишете, или дружит с ним по-настоящему, я бы посоветовала вот что: он должен получить серьезное общее образование, потому что потом на таком фундаменте можно строить что угодно. Пользуясь своим неписанным правом, я приказала прямо-таки ему учиться (я говорю о человеке, с которым у меня большая дружба. Раньше я стеснялась Вам это сказать)...»

У нас был диспут в Доме пионеров: «Что значит быть современным человеком?» Всякие точки зрения. И такая: если он умнее ее и больше знает, то она становится рабой мужчины. И дальше этот парень говорил: все о равноправии в труде, в жизни.

Я долго думала и пришла к выводу, что равноправие... возможно в духовном. Женщина облагораживает юношу, мужчину. Вы не согласны? Я думаю, что женам декабристов надо было выйти на Сенатскую площадь вместе с мужчинами. Без всякого ору-

жия, конечно. В светлых платьях выйти на площадь. И они победили бы тогда...»

Снова об «Искателе» хочется написать. Мне все еще частенько напоминают о той истории, а я старалась забыть...»

Письмо от Аллы, в апреле 1972 года, после завершения третьего четверти (до экзаменов на аттестат зрелости рукой подать):

«Я начала сомневаться: куда идти — в педагогический институт или на филологическое отделение университета. Страшно: вдруг я стану заурядным учителем, а их и без меня много... Все чаще я ловлю себя на том, что раздражаюсь, нервничаю. Становлюсь нетерпимой. Если так будет и дальше, то двери школы для меня навсегда закрыты. Но хочется... хочется быть не вообще педагогом, а знать, что-то глубоко и пести это знание другим.

И еще: помогать ребятам, то есть моим будущим ученикам, становиться честными, справедливыми и добрыми людьми.

Да, я забыла вам сказать, мы иногда встречаемся — те ребята из «Искателя», которые живут в нашем городе. И недавно мы договорились после экзаменов съездить к Ире, попросить у нее прощения. Может быть, Вам покажется нелепым — через два года извянившись, но лучше поздно, чем никогда. Алла».

От Иры была короткая записка перед экзаменами: «Последние недели в школе... Грустно и радостно...»

Два характера. Два человека, вступающие сегодня в большую, «взрослую» жизнь.

Бескомпромиссный характер Иры был ясен сразу. Алле понадобилось немалое время, чтобы осознать свою неправоту. Ведь, по сути, меж той девочкой, которая резко кидала свою обвинения в лицо «пропишишейся», и той, которая писала мне, цитируя Сухомлинского, лежит целая эпоха. Я вспоминаю наши первые встречи, разговоры с Аллой. Она вся была во власти каких-то усерднейших представлений о жизни. Мы спорили. Она кидалась в эти споры без оглядки, обрушивая на меня целый поток «истин»: «Не может один быть прав, а все неправы», «Плохо, когда человек хочет быть самым умным» или «Почему она не захотела делать, как все?»...

Шли дни. Они приносили с собой много нового, не всегда и не сразу понятного: конфликт с Ирой, унижение при общих (помните, пропал фотоаппарат), первая любовь, хорошие книги, диспуты... И постепенно в человеке начинало что-то меняться. «Нет двух людей, похожих друг на друга. Значит, наверное, и нельзя требовать, чтобы они поступали или жили все одинаково» — эти слова из письма шестнадцатилетней девочки говорят о многом.

А Ира? Она в свои пятнадцать лет была старше своих сверстниц. Самостоятельна в решениях, правдива. Последние школьные годы (тоже, как и у Аллы, до отказа заполненные событиями) активно утверждались в Ире то доброе начало, которое зародилось, очевидно, еще в детстве. «Я не переношу людей глупых, а есть удивительные типы...» Это уже позиция...

Два года с волнением и любопытством я наблюдала, как взрослеют мои девочки. И вот теперь уже знаю точно: они выстоят перед трудностями, всегда будут добрыми, принципиальными, честными, ибо ничто не оставляет в каждом из нас столь глубокого следа, как уроки юности.





НАДЕЖДА КОЖЕВНИКОВА

# БУГИНЫ

**В** заводском комитете Московского автомобильного завода имени Ленинского комсомола меня спросили:

— Значит, вас интересуют рабочие династии? Ясно... Что ж, есть у нас такие. И не одна. К примеру, Бугини... Шесть человек из этой семьи работают у нас на заводе. Вот познакомьтесь с ними. Не пожалеете...

Рабочая семья Бугиных молода. Мать, Марья Васильевна, приехала в Москву из деревни Савинково, Орловской области, в 50-е годы, тогда и пришла на завод. Отец, Евгений Федорович, демобилизовавшись по окончании войны, прибыл в столицу, а до войны тоже в деревне жил... Да, значит, в завкоме ошиблись: действительно, шестеро Бугиных работают на заводе, но пока только два рабочих поколения — отцы и дети... Деды же и прадеды были крестьянами...

Так вот, об этих отцах и детях, об их конфликтах и радостях, о том, что думают сегодня отцы о детях и дети об отцах, пойдет у нас разговор. На примере одной семьи — крепкой, рабочей, дружной.

Возможно, два эти поколения станут началом разбочки династии. Все основания для этого уже сей-

час вне сомнения. Но пока... пока Бугиных семеро: мать, отец, два сына, две невестки и десятимесячный внук...

Живут Бугины, как и семьдесят процентов работающих на АЗЛК, в новом, Люблинском, районе столицы. Недалеко отсюда — большой заводской стадион, Дворец водного спорта. Завершается строительство нового Дворца культуры.

Бугины живут в отдельной квартире, пока двухкомнатной.

— Вот Толик из армии вернется, заявление подадим, а то тесновато становится, семья-то растет, — говорит Марья Васильевна, знакомя меня со своим хозяйством.

Анатолий — это младший сын. До армии работал в кузовном цехе слесарем-сборщиком. Успел уже обзавестись семьей. Жена его, Тамара, работает в цехе сборки. А сын, Сашок, что-то там пишет за сте-

На фото: слева — Евгений Федорович и Марья Васильевна Бугины; справа — Люда и Саша, в центре — сестра Марии Васильевны, Александра, старший техник на АЗЛК.

Фото С. ВАСИНА.

ной — с ним нянчится другая молодая семья, Люда и Саша. Саша работает в кузовном, а Люда — в отделе технического контроля. Вечерами учатся в автомеханическом техникуме; ведомок уже день, когда и Люда и Саша получат дипломы механиков. Глава семьи, Евгений Федорович, — рихтовщик в том же кузовном цехе. Он-то, собственно, и привел туда, увлекши собственной профессией, обоих своих сыновей.

...Глава семьи...

Высокий, смуглый, неслышно ходит он по комнате в мягких тапочках, прислушиваясь к нашей беседе, и чуть что поглядывает на жену. Ведь именно она, Марья Васильевна, всему и всем здесь хозяйка. Все Бугины-мужчины подчиняются ей: сыновья — чуть шутливо, посыпавшись (как же, молоды, горды!); а отец — абсолютно серьезно. Уж он-то знает, сколько сил, энергии постоянно, как говорится, «без страха и упрека», тратят мать на семью. И какие трудности, испытания пришлось ей выдержать. Он-то знает! Ведь прожили они вместе без малого двадцать пять лет — серебряная свадьба скоро... А если вспомнить, какой он ее тогда, четверть века назад, встретил, увидел, полюбил? Если вспомнить — что, сильно изменился?

— Нет, — говорит он мне. — Такая же и была. Может, только чуть-чуть пополнела...

Марья Васильевна смеется:

— Что ты, Женя! Я же тонкосенькая тогда была. И косы, помнишь какие... Если бы ты меня такую, как сейчас, встретил, так разве влюбился бы?

— Наверняка! Ну, ладно, вы уж простите меня, — это он обращается ко мне, — я впойду посмотрю, что там с вином...

— Серьезный он у меня! — улыбается Марья Васильевна. — И смеется, как мальчишка, не любит, когда мы с ним о нашей молодости при ком-нибудь малознакомом вспоминаем. Ну, будто реинvent. А почему бы не вспомнить? Ведь и тогда хорошо было, пусть и трудновато... Вот, к примеру, как мы с Женей поженились... После работы — ведь на заводе вместе работали — поехали в Ждановский загс: ни свидетелей, ни цветов, ни музыки, ни шампанского. Расписались, на трамвае сели, на «двадцатку», и обратно поехали... Вот и вся свадьба. Другое дело — у наших сыновей. Гостей полон дом, пир, веселье. Мы с Женей у сыновков на свадьбах отгульяне вроде и за себя самих. Хорошо так на душе было: молодежь веселилась. И мы с ними. А ведь зря, думаю, сейчас ворчат на молодых-то. Ну, зачем ворчать, старость только свою показывать? Не завидовать же, что им легче живется, чем нам в их годы — радоваться надо. И нечего ребят молодыми годами корить. Да и потом, свои у них теперь трудности, и много: знать им надо больше и уметь. Время идет, и другие сейчас требования. И ведь не бездельничают они, молодые. Работают — любо-дорого посмотреть. Вот, к примеру, и моя ребята... Иной раз приძет к нам в цех, встанешь незаметно в сторонке: Саша, Толик, руки у них мелькают, ловкие — не углажишь. Точно, как часы, работают. Помнотриша на них да и думаешь: «Ну, чего тебе еще надо, мать? Главное, чтоб трудились. Чтоб честными, работящими выросли». Нет, правда! — Марья Васильевна смущенно улыбнулась. — Я не хвастаюсь, в самом деле, хорошие у меня сыновья...

— Молодые, молодые... — Евгений Федорович (он уже вернулся от внука), оказывается, не всегда безговорочно принимает точку зрения жены. Сейчас вот он готов с ней и поспорить: — Молодые! Дисциплины у них нет, у молодых. Вот я, к примеру, если в вечернюю смену рабоча, из дома без десяти три выходжу. А на месте надо в четыре быть.

Так я спокойно, не спеша еду: автобус полный — следующего подожду, без первотрепки чтобы... И успею спокойно по цеху пройтись, место свое рабочее подготовить. Всегда на работу загодя прихожу, такая у меня привычка, и, между прочим, смолоду... А эти, вышедшие молодые, летят сломя голову. В наипоследний момент...

Так не опаздывают ведь, — защищает молодых Марья Васильевна.

— Но могут опоздать! — Евгений Федорович грозно повыщает голос. — Зачем же рисковать понапрасну?! Потом выговора выслушивать. Неудобно ведь, неловко. Самого себя уважать надо...

— Вот и неправ ты, Женя... — Марью Васильевну не так легко победить. — Ты время не умеешь экономить. А им, молодым, оно в два раза, а то и больше дороже, чем тебе. Потому и спешат они, понятно.. Вы, старики, за полтора часа, как гуси, плывете. Бродите потом по заводу без толку, все равно же раньше смены не заступите: другие уйдут, тогда... И ничего хвастать, заступись: другие уйдут, тогда... И ничего хвастать, дисциплинированный какой...

— И вовсе не на завалинке, а свои производственные дела выясняю... Всегда найдется что до смены сделать. Завод ведь. А потом, зачем ты говоришь так: мол, старики...

— Ну, не обижайся, не обижайся, Женя... Я ведь тоже, значит, старуха...

(А он и не обижается, я вижу.)

Марья Васильевна поправляет скатерть на столе:

— Я, конечно, при сыновьях с отцом так не разговариваю. Берегут отцовский авторитет. Но ведь, кроме меня, кто ему объяснит, если он не прав? Вот и приходится... Женя, ты не сердись. Лучше согласись со мной.

— Ты всегда так: согласись да согласись. А если у меня свои на этот счет соображения? — Евгений Федорович опять выходит из комнаты. — Надо проверить, как там мясо в духовке, не пригорело ли...

Едва муж выходит, Марья Васильевна говорит гордо:

— О! у меня кулинар! Такие блюда готовит... Научился еще в армии. А потом, когда мы в Растрогуве жили, ему даже чаще приходилось готовить, чем мне. Приду с работы иной раз такая усталая, как скоп на кровать валился. А Женя мне в сундучку по-драсту и посуду сам выносит. Знаете, трудно нам тогда приходилось. Когда поженились, жили в семейном общежитии, в комнате на восемь человек. Потом комнату нам дали. Сашок родился, за них — Толик. На работу ездили — два часа в один конец. Девять лет вот так прожили. А потом, 14 октября 1961 года, — на всю жизнь — число запомнила, — получили мы вот эту квартиру. А несколько лет прошло, и видите, мала нам она, больший простор требуется...

Марья Васильевна обводит глазами комнату. Представляет уже, наверное, стены новой квартиры, и мебель новую, и новый вид из окна... Она, хозяйка, мать, раньше других в семье начинает обдумывать, планировать, готовиться к предстоящим переменам. И утром она встает первая, в половине шестого, чтобы успеть приготовить еду, убрать, постирать, да мало ли еще что! Мужчины, если им во вторую смену, могут и подольше поспать, а у матери всегда забот — не пересчитать, не переделать...

В семье у Бугинных зарплату, как в кассу, сдают Марья Васильевна.

— Я деньги только в день получки в руках и держу, — шутливо ворчит Евгений Федорович. — А мать у нас — казначейша. Какими суммами ворачает!..

— Значит, так, — задумывается Марья Васильевна, — сколько же это у нас вместе-то выходит? Отец

250 рублей приносит, я — 130, если в среднем брать. Саша — 160—180, Люда — 90. Толик — примерно 160—180 рублей, Тамара столько же... А много получается! — Марья Васильевна вроде и сама удивлена... — А что удивляться? — возражает она самой себе. — Все уже на ногах, все зарытаются. Мы теперь с отцом можем быть спокойны — детей своих в люди вывели...

...Детей своих в люди вывели...

...Сыновья избрали себе профессию отца и приходят на тот же завод, в тот же цех, где отец трудится уже много лет. Конечно, сама заводская атмосфера, в данном случае еще и живая, я бы сказала, очень творческая работа по созданию малолитражного автоомобиля «Москвич», увлекает. Но увлечение не всегда призвание. Увлечения меняются, а призвание — на всю жизнь. Старший Бугин действительно помог (собственный примером!) Саше и Анатолию найти свое призвание, и не случайно сыновья пришли в кузовной цех. Сейчас они рабочие, но будут и техниками, а, может, позднее инженерами. И я твердо убеждена, побывав в бугинском доме, что завод имени Ленинского комсомола — истинное призвание не только вынесших Бутыных, во и будущих... Наверное, это и есть ощущение кануна династии. И, значит, в заводе не ошиблись, когда предложили мне познакомиться именно с ними...

...Шелкнул замок в передней, слышатся взоры и смех — они тотчас обрываются, едва вошедшая в комнату молодая пара замечает посторонних.

Люда и Саша. В глазах Люды растерянность. Саша спокойно, с достоинством подходит, протягивает для приветствия руку: «Александр...» Походка тяжеловата, солидна, не соответствует юношески легкому его телу. Саша высок, выше отца, а когда наклоняет голову, светлая, густая челка падает ему на лоб. Лицо узкое, смуглое, с внимательным прищуром глаз. И у Саши и у Люды на пальцах обручальные кольца, новенькие, блестящие: «Пять месяцев как пожениились». Видно, что оба еще не очень свыклись с новой для них ролью супружества.

— Надень кофту, дует от окна, — говорит Саша, придерживая жену за плечи. А она, искоса глянув на окружавших, осторожно отводит его руки...

— Как мы познакомились? — переспрашивает меня Саша. — Да как часто водится — случайно. Я в заводскую поликлинику зубы привел лечить, а она... — Саша кивает на жену, — кабинет хирурга искал. Пока ждали, разговорились, «Где живете?» — спрашивали. «На Соколе», — говорит. «Ну, — думаю, — далеко. Провожать не поеду. Зуб только что вырвали — болят, нет сил!..» Не поехал. А потом снова встретились и снова случайно — в вечерней школе. Опять провожать не поехал. Потом я в армию ушел. Вернулся — в техникум поступать решил, к экзаменам готовиться. Мать предлагает: «Тут девушка одна со мной работает, так она тоже не так давно в техникум сдавала. Спросишь, может, остались у нее какие билеты, конспекты?» «Спроси», — говорю. Прихожу за конспектами — вижу, та самая Люда. И с тех пор конспекты стали мы с ней встречаться почти что каждый день...

— Ты меня тогда еще в кино пригласил, — говорит Люда.

— Когда?

— Ну тогда же, когда конспекты брали...

— Что-то не припоминаю... Разве такое было? — Саша подозрительно смотрит на жену. — По-моему, это ты мне сказала: давай, мол, завтра встретимся после работы, в кино сходим...

— Что?! — Люда возмущена. — Может, я первая с собой и объясняться стала?

— Ну нет, чего не было, того не было. Это же мое мужское преимущество, с чего бы я стал его тебе отдавать? — Улыбаясь, Саша пытается обнять жену, но она обиженно вырывается и пересаживается подальше в кресло...

— Конечно, — продолжает Саша, — мать права. Отдельно нам с Людой жить надо. Не потому, что с родителями ссоримся или мешают они нам, нет, конечно. Дружно живем. Но мать говорит: «В отдельном доме вы бы станете самостоятельней. И Люде надо почувствовать себя настоящей хозяйкой». Правильно. Очень мы эту отдельную квартиру ждем — себя самих, наконец, сможем проверить, испытать на взросłość, что ли... Хоть и знаю точно: буду без родителей скучать. Вот мать: на нем весь дом держится. Раньше всех встаёт, позже всех ложится. И кажется, си в ней, как в молоденькой девочке. Сейчас-то у нас с деньгами порядок. А раньше, когда мы с братом маленьками были, tudo приходилось. Но мать и одевала и обувала нас очень прилично, даже хорошо. А когда я после армии вернулся, повела меня по магазинам. И то, говорит, надо купить, и это. Костюм спила, пальто, ну, целое приданое. И брату все так же, когда решал он жениться. Вышли мы с ним как-то во двор барадные! Мать глядят из окна, улыбаются. И вдруг как заплачет... Мы с братом даже испугались. А она рукой нам замахала: мол, идите, идите, это я так... На заводе наша я еще до армии начал работать, а потом, демобилизовавшись, туда же устроился. В свой же цех, на конвейер. Брат напротив, на подборке стоял, на «на крыльях». То есть крылья ставил на кузова. Нас так «крыльщиками» и называют. И очень хотелось мне побольше заработать. Нет, не из жадности, правда. А хотелось теперь, когда из армии вернулся, большую сумму в семью вносить, чтобы и другие почувствовали и я сам: теперь вот уже не пацан, взрослый, мужчина... И еще хотелось, чтобы мать поняла: недаром она нас с братом столько лет тянула, ради нас на себе экономила. Иной раз даже разозлился: «Что это ты Толику третью пару ботинок покупаешь, а сама столько лет ходишь в старом пальто?» А она: «Ладно, ладно, в следующем месяце...» Месяц проходит — опять таштит обновки нам... Мы, конечно, и сами могли бы ей подарок купить — так ведь все деньги-то у нее, у матери. Ну ничего, соберемся как-нибудь, разделим мать, как невесту!.. А отец, он у нас только с виду тихий. Спорщик!.. Газеты, журналы до последней строчки вычитывают, что интересно ему показалось, вырежут и спрячут. Потом обсуждают что-нибудь начнем — у кого одна, у кого другая точка зрения. Тут отец эти свои вырезки несет: «Ну как, — говорит, — видите? Кто прав?» Ох и упрямый...

— Ты зато у нас голубь. — Люда насмешливо смотрит на мужа.

— Нет, конечно. Никто из нас не голубь. Но тем не менее живем — не ссоримся, любим друг друга, уважаем...

...Саша сидел в кресле напротив — современный, модно одетый парень. Приветлив, улыбчив — было легко, свободно с ним говорить.

— Саша, а как ты считаешь, кто такой сегодняшний рабочий человек? Что ты в себе самом опущаешь, чего не было или нет, даже в твоих родителях? Понимаешь: не опыт — в этом мы с родителями не можем соперничать. Чего-то другое...

— Видишь ли, — начинает Саша, — когда-то мы жили в Растиоргеве, в поселке, родители рассказывали, да? Ну так вот, приходилось вставать очень рано, в 5—6 часов. Родители перед работой вели нас в детский сад. Выводили за руку на улицу — мы с бра-

том спросонья и не видели ничего, не замечали. А отцу с матерью нужно было не только свою усталость, невыспанность утреннюю преодолевать, но и следить, чтобы мы с Толиком не раскаризничались. Мы же, сама собой, карилизчались, а они успокаивали, никогда не раздражались. А может, и раздражались, но виду не показывали. Не ругали нас, не сердились, а просто... Ты заметила, как наша мать иногда смотрит? Ну, если она хочет, чтобы сосредоточились мы, обдумали что-то, самостоятельно решили. Долго так смотрят, пристально. И начинаешь соображать: «Да, да, драа ты, мама...» Вот так она и в детстве на нас смотрела... Им с отцом раньше трудно было, да и сейчас нелегко: за всех нас переживать, волноваться. Но мать, сколько бы дел и забот у нее ни было, все еще чувствует себя сильной, молодой. А почему? Да потому, что всегда — и дома и на работе — сия своих не жалела. Закалка у нее такая. Как погиб ее отец на фронте и остались они с матерью одни — так и на всю жизнь: сама, сама, никогда ни на кого не рассчитывая. А потом вот отца встретила...

— У вас в семье... продолжает Саша, — сейчас уже три семьи образовались. Тесновато стало. Толик из армии вернется — как разместимся? Я матери говорю: «Что делать-то будем?» А она посмотрела на меня не то что с осуждением, ну, в общем, вырази-

тельно так. «Ты, — говорит, — сынок, не паникуй. Получим просторней квартиру. А до того, ничего, проживем... Места на всех хватит. Не может быть, чтобы свои, родные люди друг для друга не нашли». Сказала, и так мне стыдно за себя стало! И в то же время будто полегчало. «Действительно, — думаю, — не может быть, чтобы не устроились мы все. Чтобы родственники, родные, крыши над головой не поделили!» Хоть и тесно, — а главное, дружно все мы живем. Только не знаю, было бы так, если бы не мать. Это ведь она всех нас спланивает, скрепляет. И вот ты спросила, что я в себе такого чувствую, чего не было и нет в родителях моих... Да, чувствую: очень многого мне не хватает еще в сравнении с ними. Понимаешь, не хватает... А потому хочу, чтобы сына вашего воспитывали не только мы с женой, но и родители ваши, мать, правда, Люда?

Люда сидела рядом, прислонившись к мужу плечом. Действительно, взрослый, сильный, самостоятельный мужчина. И жена его наверняка надежна, спокойна с ним. Он уже, без сомнения, сам готов к воспитанию будущего сына. И, пожалуй, именно в этот момент я окончательно поняла: да, будет рабочая династия Бутных, лучшие черты первых двух поколений — мужество, честь, достоинство — наверняка перейдут от деда к отцу, к сыну, к внуку...

## М. ПОЗНЯЕВ



# ВЕСНА ХУДОЖНИКА

(к 3-й страннице обложки).

**T**еперь, кажется, взялись за кропотливое обозрение работ художников-самоучек. Как славно, что их отделяют от пестрой гуарбы примитивистов и сюрреалистов — по особенному — называли наивными реалистами.

Открытие, вполне испытанное нами полтора десятка лет тому, при «прощении» Нико Пиромзанишивили, не исчерпано. Видимо, уже созрела необходимость издания толстого фолианта, подобного югославской и чешской «антологиям» народных картинистов, пришла пора регулярных вернисажей — так много пресловуто слышится имен забытых и но-вовидящих. Тем более есть в них способность людей (например, Т. А. Марченко, написавшая книгу о мастерах из Городца, Б. Бутних-Сверских, автор до-тощего труда «Народные украинские рисунки»).

Одно грустное обстоятельство в тщаний современников: повторять похвалы, высказанные впервые нашими отцами и дедами давным-давно. Такое включилось и с Пиромзани и с Марий Примаченко, колхозницей села Болотня, что под Киевом.

Книга писателя Геннадия Гора «Константин Панков, нецензурный художник» (издательство «Аэра», 1973) познакомила любителей с художником Панковым, познакомила народных картинистов Константина Панкова с 1937 года, был отмечен золотой медалью Парижской международной выставки.

Панков — сын неца и зweenи. Большую долю своей жизни он провел на Севере, занимаясь охотой и рыболовством. В середине тридцатых годов в Институте народов Севера в Ленинграде существовала художественная мастерская. Ее возглавляли А. Успенский и Л. Месс. Вместе с другими там занимался Панков. Времени на рисование он получил мало. Когда началась война, он стал разведчиком и стрелком-снай-

пером. Воротиться в мастерскую ему не было суждено. Константин Алексеевич Панков был убит на Воронцовском фронте тридцати двух лет от роду. Картины и рисунки — наследство и завещание — сберегены его друзьями и почитателями (немногими тогда).

Один из них, Г. Гор, отобрал семнадцать работ и почтил память погибшего мастера добрым словом. Вот перед нами книга.

Что рисовал Панков и зачем он это делал? Путь к осознанию странного мировосприятия самоучки не никоему, но в схождении Я не поддается объяснению. Однажды взглянув на японскую и китайскую графику. В самом деле, страны воинственные «поющие» горы Панкова с проподогнутыми бурыми и черными штирями растительности, горы туманные, будто призрачные, набирающие цветовую силу на границе с атмосферой, напомнят и по форме и по колориту свитки Сэссю, или расписы храма Цинхифудзи, или разрисованные ширмы.

Но суть в невероятном изяществе простых, точнее, простоватых охотничьих сцен К. Панкова. В ощущении истинности были автора, так легко перенесенные на бумагу. Вот где самое большое родство с художниками прошлых веков.

Константин Панков — реализт до корней волос. Но маловажна наше время, романтиков, или он.

Свои горы, деревья, облака, свои реки он описывает с такой же гордой одержимостью, как Моне — свой Руанский собор, во все погоды и времена.

Посмотрите сами, сколь обширна видуемая и сила художника, удивитесь разнообразию вроде бы повторяющегося на его полотнах сюжета. Перефразируя писателя, вскользь: многочисленные панковские охотники — рыбаки не имеют ничего общего с теми...

Константин Панков образовался как блестящий мастер до того, как впервые переступил порог Эрмитажа. Геннадий Гор вот что пишет: «Успенский и Месс пока откладывали эту экспедицию... именно потому, что Панков не видел раньше картин, если не считать портретов, которые висели в институте. Перву же увиденную работу большого мастера он мог воспринять как абсолют, как незыблемую норму, которой он обязан подражать, всецело подчиняя свою волю законам «чужой» мысли и видения». Не произошло такого. Способно учиться, но спасибо и ученику, истинно народному таланту.

Панков — художник. Панков — композитор, музыкант. Панков — добрый и храбрый охотник. Вот он на своей картине «Весна» ловит рыбу. Крепкий, жизнерадостный человек. Цветут фантастические деревья, кусты, травы. Дрожит рябью, синим пламенем горящая река. Летят в небе птицы. Весна Константина Панкова теперь продолжилась руками его друзей.

# Михаил Квливидзе



Мы говорим порою в восхищенье:  
Высокий дух, высокая мечта,  
Высокий смысл высоких побуждений...  
В конце концов, что значат высота!

В излишние подробности пускаться  
Не станем: объяснения прости!  
Не над другими — над собой подняться  
Сумей! И ты достигнешь высоты!

Перевела с грузинского  
Е. НИКОЛАЕВСКАЯ.

## Лирический репортаж с проспекта Руставели

Ошибся тот, кто думал, что проспект  
есть улица. Он влажный бреш стихии  
страстей и таинств. Туфельки сухие,  
тебе вымокнуть, летят в его просвет.

Уж вымокли — как тяжек труд ходьбы  
красавицам! Им стыдно и скучно  
ходить, как мы. Им ведомо искусство  
скользжения по остирю судьбы.

Простое слово чуждо их уму,  
и плутовства необъяснимый гений  
возводит в степень долгих песнопений  
два слова: «Неуже-ели! Почему-у!»

Aх, неуже-ели это март настал!  
Но почему-у так жарко! Это странно!  
Красавицы среди стекол ресторана  
пьют кофе: он угоден им устам.

Как опрометчив доблестный простак,  
что не хотел остаться в отдаленьи!  
Под взглядом из потусторонней лени  
он терпит унижение и страх.

Так я шутил, так брезговал бедой,  
покуда на проспекте Руставели  
кончался день. Платаны розовели.  
Шел теплый дождь. Я был седым-седой.

Перевела с грузинского  
Б. АХМАДУЛИНА



Памяти Тенгиза Сухишвили.

Мне непонятно, как произошло  
То, что казалось раньше невозможным:  
Меня с собою время увлекло  
В иные дни.  
А он остался с прошлым.  
И вот я — то, чем был когда-то он,  
А он теперь — то, чем я стану тоже,  
Живет он вне пространств и вне времен,  
И встретиться мы с ним уже не можем.  
Здесь все бессильно.  
Даже мысль моя  
Мне говорит, что надо покориться.  
Мне в прошлое уже не возвратиться,  
Ему не выйти из небытия.  
Мы вместе никогда уж не пройдем  
По улицам тбилисским и духаны  
Не посетим,  
И полные стаканы  
Не зазвенят за праздничным столом.  
Он никогда ко мне не подойдет,  
Мы стали друг для друга неподвижны,,  
И наши голоса уже не слышны...  
Я не могу назад, а он вперед.

Перевел с грузинского  
А. МЕЖИРОВ

## Последний раунд

Почва дрожит... воздух дымится...  
море иссякало... высоки воды...  
Это сраженье недолго продлится —  
близится отступление Природы.  
Пересыхают, как горло, щельца,  
стонут и вют пласты низовые,  
и умирают стоя деревья,  
как молчаливые часовые.  
Бегство... Природа уходит в потемки.  
Земли побиты и жарки, как гумна.  
Может, уже не услышат потоки,  
как слово расплачено безумно.  
Где они — словно чума их настигла —  
ланы, косули, олени и барсы!  
В дебрях на шее последнего тигра  
жестью звенит номерок канцелярский.  
И не спасется от участия черной  
каждый ручей в долине окрестной.  
Настрожен, как десант обреченных,  
Сад, где трепят городские оркестры.  
Оранжерей и зоопарки,  
как лагеря для военнонопленных...  
Всюду гудрон, черный и жаркий,  
вместо цветочков обыкновенных.  
Странной победой мы увенчались —  
мы победили Мать-Природу.  
Смотрим порою, мало печалясь,  
в мертвую рощу, в тухлую воду.  
Срублены кедры, сгублены рыбы,  
пахнут мазутом тусклые роки...  
Будем ли мы так же счастливы,  
если и солнце сгинет навеки!!

Перевел с грузинского  
Д. САМОИЛОВ

**С**пор о танцах все чаще разгорается в кругах людей старшего возраста. А что в это время делает молодежь? Она танцует, если можно назвать танцем жуткую пародию на танец. Часто молодые люди приходят на танцы, выпив. А что они танцуют? Шейк и снова шейк. И шейк, и фокстрот, и tandem они танцуют неправильно. Ведь было время, когда учили танцам в школе, в военных училищах. Приходя на вечер, все знали, как себя вести, веселились и не чувствовали неловкости. А что происходит сейчас? В клахах и детском садике нас учат хороводным танцам и вообще танцам этого возраста. Дальше — школа. Теперь в школах бывают вечера танцев, правда, не во всех, так как это дело довольно хлопотливое. Случаются иногда стычки с теми, кто является на танцы в нетрезвом виде, а взрослые хлопот не любят. Но вечера проводятся, а где же молодежи учиться танцевать? На вечерах ведь не учат. Вот и смотрят друг на друга, кто как танцует, и подражают. И какая бы ни была музыка, движения ничем не отличаются одно от другого, и все танцы похожи, и даже вальс — прекрасный плавный танец — все танцуют, как шейк. И то, что делается на танцевальных площадках, нередко выходит за рамки приличия. Почему ребята, юлья на танцевальную площадку, выивают? Да потому, что они не умеют танцевать, им стыдно, и, чтобы как-то загладить застенчивость и неловкость, они прибегают к алкоголю. И девушки, хоть и боятся пьяных юношей, но желание быть в кругу своих сверстников, побывать на танцах, перезагаться побеждает. А вечеринки, гулянки, праздники, семейные торжества? Редко мы видим задорные русские народные танцы. Всё тот же шейк, или, если старшие «гуляют», то просто бесформенное топтанье ногами под любую музыку, а то и без музыки. Ведь танцы — это часть эстетического воспитания молодежи и вообще советского человека! Об этом нужно подумать сегодня, сейчас! Что у нас делается в этом направлении? Есть школы бальных танцев. Проходят в некоторых городах — повторяю, в некоторых городах — смотры, фестивали, конкурсы танцев, но это для тех, кто уже умеет танцевать. Есть передача по телевидению раз в месяц — «Танцевальный зал», но за полчаса в месяц ни один человек не научится танцевать. Есть кое-где кружки танцев, но это не охватывает широкие массы, проводится, как правило, в очень больших городах. А в небольших городах, а тем более в селах? Думается, что в школе, начиная с первого класса и до десятого, нужно учить детей танцу. Нужна и теория — объяснять детям, какой это танец, что он выражает и как его танцевать, как вести себя на танцах и вообще в обществе. Обучать русскому национальному и классическому бальному танцу, изучать плясовые танцы — с зачетом в аттестате зрелости. И возобратятся бывшие традиции нашего народа с веселыми вечерами, с плясками и песнями. И в педагогических институтах уже сейчас следует ввести танцы, как дисциплину, чтобы каждый педагог обязательно умел танцевать, да и во всех высших и средних учебных заведениях нужны уроки танцев. Нужны и пособия. Продолжаются ноги и самоучители, игры на разных инструментах. Но по танцам, даже по простым, нет никаких руководств и описаний. Если родители хотят выучить ребенка музыке, они могут отдать его в музыкальную школу, или даже пригласить домой музыканта для обучения, но если они захотят научить ребенка танцевать, — увы! Хореографические школы — это уже балет, профессия, а нужно совсем другое, нужно научить всех детей танцевать хорошо и по-настоящему. Обучение танцам привьет и культуру красивого отношения к девушке, женщине. Танцы внесут в нашу жизнь много радости и красоты. Хочется, чтобы мы смогли сказать, как говорят кубинцы: «Танец — это наш национальный спорт».

Олег АВРУШИН

г. Горячий Ключ, Краснодарского края,



# СЮБА О ТАНЦЕ



Редакция хотела бы узнать мнения читателей об этом письме.

Интересно было бы познакомиться с положительным опытом.

Напишите нам о том, как организуются и проходят танцевальные вечера в ваших школах, техникумах, училищах, как готовятся к ним ученики и педагоги, как и что танцуют у вас на домашних вечеринках, как вы научились танцевать?



# НАДЕЯТЬСЯ — ЗНАЧИТ ЖИТЬ

«П

рочла в «Юности» письмо о Вас, о Вашей жизни. Восторгаюсь Вами, Вашей волей, умом и талантом...» «Горжусь Вами, благодарен, верю Вам, верю в Вас, желаю, чтобы Вы лишний раз доказали, что человек, тем более в науке, утвердился не только ногами и руками...»

«Вы просто герой, Ваша борьба с болезнью всплескает во многих веру, что бороться можно и нужно...»

«...Я часто задавал себе вопрос: «Зачем я живу?» И вот, прочитав статью, я обрел надежду. А надеяться — значит жить...»

Сотни подобных писем со всех концов страны приходили в редакцию журнала «Юность» для передачи профессору Г. А. Зайцеву. Начавшийся в конце прошлого года, когда журнал опубликовал очерк писателя Льва Кокина на «Судьбу Георгия Зайцева, перестроенная им самим», этот поток писем не иссякает и поникне. В очерке рассказывалось о силе духа человека, преодолевшего тяжкие страдания, принесенные ему болезнью — прогрессивной мышечной дистрофией. И вот теперь в письмах юношей, девушки и людей зрелого возраста высказывается искреннее сочувствие Г. А. Зайцеву по поводу постигшего его беды, восхищение мужеством этого человека, его великодушным характером бойца. Во многих письмах страдающие гою же болезнью, что и Г. А. Зайцев, просят помочь им, дать нужный совет, поддержать.

«Дорогой Георгий Александрович!.. Меня потрясло Ваше мужество, воля, упорство... Я сама страдаю такой же болезнью 20 лет. Помогите мне, пожалуйста! Вы сильный человек, и за такими любыми я всю жизнь тянулась, они не раз меня спасали, когда в самую трудную минуту протягивали руку помощи. До свидания. Очень жду».

Особенно много писем от молодежи; эти письма затрагивают вопросы, связанные с общечеловеческими проблемами.

И не случайно во многих письмах звучит такой мотив: жизнь Г. А. Зайцева — «этот пример мужества, целеустремленности, чего порой не хватает нам, здоровым, молодым».

Для ответа на все эти письма редакция предоставляет страницы журнала профессору Г. А. Зайцеву и автору очерка о нем — писателю Льву Кокину.

## ГЛАВНОЕ — ПРИНОСТИТЬ ПОЛЬЗУ ЛЮДЯМ

Говорит Г. А. ЗАЙЦЕВ,  
доктор физико-математических наук,  
профессор.

Передо мной большое и все возрастающее количество писем, поступивших ко мне после опубликования очерка Л. Кокина. Я считал своим долгом отвечать на каждое из этих писем, но их оказалось столько, что дать ответ всем читателям физически невозможно. Между тем в письмах ставятся многие вопросы, в большинстве связанные с важнейшими проблемами «Что делать и как жить». Я хотел бы через «Юность» в какой-то степени дать ответ хотя бы на часть подобного рода вопросов.

Много писем пришло от молодежи, от учеников. В их числе письма коллектива школьников из Баку, Харькова, Воронежа и других городов с просьбой рассказать им о моей юности и высказать советы в отношении учения. Привожу свой ответ учащимся школы № 53 Октябрьского района г. Баку.

«Дорогие бакинские школьники!

Вы просите меня рассказать о моей юности и о том, как я выучил три иностранных языка.

В школе я изучал немецкий язык. В шестом и седьмом классах я понял, что если ограничиваться одним учебником, то языком хорошо не овладеваешь. Поэтому начиная с седьмого класса я стал систематически читать книжки на немецком языке — сначала адаптированные, а затем со словарем и более сложные. К концу обучения в школе я получил возможность свободно читать уже любую художественную литературу на немецком языке.

Английский язык я начал изучать самостоятельно в восьмом классе. Во время летних каникул после окончания восьмого класса я занимался английским языком ежедневно не менее чем по восемь-девять часов, включая воскресенье. В результате к девятому классу я уже овладел английским языком в объеме институтской программы. Наконец, французский я выучил уже после окончания института.

Очень хорошо, что вы любите физику. Но в этой связи я хочу подчеркнуть особое значение математики для физики и для всех других точных наук. Поэтому вы должны хорошо знать математику и, что особенно важно для вашей будущей творческой деятельности, уметь решать математические задачи. В школе я старалась глубже овладеть математикой.

В заключение последнее. Хорошо запомните, что вы учитесь не для отметок, а для знаний. Убеждение в том, что это именно так, помогло мне спокойно отнестись к тому, что после седьмого класса из-за

самостоятельного углубленного изучения ряда предметов я стал получать не круглые пятерки, как было до этого, а пятерки и четверки».

В дополнение к сказанному в этом письме мне бы хотелось еще раз напомнить моим молодым корреспондентам и друзьям — учащимся школ, техникумов и вузов, что годы учения — важнейший период, от которого зависит вся дальнейшая судьба человека. Поэтому нужно постараться сделать все возможное, чтобы выработать у себя в эти годы стойкий характер и приобрести максимум необходимых для дальнейшего знаний и навыков.

Многие ребята пишут мне о своей жизни, заботах и радостях, нередко присыпают мне свои фотографии, а совет пионерской дружины воронежской специальной-интернаты № 9 одному из своих отрядов присвоил мое имя. Искренне благодарю моих юных друзей за оказанную мне большую честь.

Не буду здесь касаться писем, связанных с наукой, а также отдельных теплых писем просто от хороших людей. Сразу перейду к письмам от тех, кто оказался в очень трудном положении из-за какой-либо хронической болезни и ищет ответа на вопросы, что делать и как дальше жить.

Обдумывая эти письма, я прихожу к выводу, что основной жизненной проблемой для людей, пораженных тем или иным хроническим заболеванием, является не сама болезнь, а вызванные ею трудности, связанные с необходимостью занимать свое место в человеческом колективе. Человек не может жить, не опиравшись на результаты труда других людей, а его самого будут, в свою очередь, ценить лишь за то, что он сделан для других. Поэтому главное в жизни — приносить пользу людям. Человеку не страшны никакие заболевания, если они не мешают ему трудиться для людей, быть равноправным членом общества. Отсюда вывод: если человека постигло пускай даже серьезное заболевание (а такое может случиться со всяkim), он все равно должен заполнить свою жизнь плодотворной деятельностью. Виды такой деятельности, разумеется, могут быть самые различные, и каждый конкретный случай требует индивидуального подхода.

Есть и другая сторона вопроса. К заболевшим людям нельзя во всех отношениях подходить с обычными мерками. Они могут приносить пользу обществу лишь при создании специальных условий, учитывающих их состояние здоровья. Решение этой задачи имело бы большую общественную значимость.

В очерке Льва Кокина были приведены выдержки из «Истории моей болезни с анализом литературы и методов лечения». Это вызвало поток писем от больных с таким же, как у меня, диагнозом: прогрессивная мышечная дистрофия. Узнав из очерка Л. Кокина, что я еще смолоду изучаю еда ли не всю мировую литературу, связанную с моим заболеванием, меня просят помочь в лечении этой болезни. Позвольте себе сказать следующее. С чисто научной точки зрения данная болезнь очень интересна. Выяснение более глубокой биохимической природы этой болезни не только ключ к ее лечению, но и предпосылка для открытия каких-то важных закономерностей живой материи, могущих иметь далеко идущие практические последствия. В настоящее время эффективных методов лечения прогрессивной мышечной дистрофии не существует. Однако наука накопила достаточно данных, позволяющих утверждать, что пути решения имеются.

Один человек, даже очень заинтересованный, не может решить возникающие здесь глубокие проблемы, которые под силу только крупному научному коллективу. Поэтому целесообразным в теоретическом и практическом отношениях было бы создание

научного центра по изучению и лечению нервно-мышечных заболеваний, связанных с генетической предрасположенностью. Такой центр мог бы работать, скажем, в рамках Академии медицинских наук при координации с биологическими отделениями Академии наук СССР. Со страниц журнала «Юность» я хотел бы от себя и от лица многих больных и здоровых людей обратиться к соответствующим организациям с просьбой подумать о возможности создания такого научно-клинического центра.

Автор очерка  
Лев КОКИН добавляет:

## УСЛОВИЕ УСПЕХА — ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ

**H**а очерк откликнулись и ученые — биологи, медики. Узнав историю Г. А. Зайцева, сотрудники Лаборатории физической биохимии Института биофизики Академии наук СССР специально обсуждали на научном лабораторском семинаре, не могут ли они ему чем-то помочь. Невропатолог из Нальчика, заслуженный врач И. М. Перельман, не только написал Георгию Александровичу, но, человек покойной, пенсионер, нашел силы съездить к нему из Нальчика в Иваново, за две тысячи километров! Думаю, что вместе с читателями могу сказать сердечное спасибо старому доктору.

Во многих письмах спрашивается о том, может быть, четче других сформулировал читатель Олег Балабин: «Георгий Александровичем можно только восхищаться. А вот медициной!..» В самом деле, чем объясняются сравнительно скромные возможности в лечении подобного рода болезней? Порасспросив об этом биохимиков, биофизиков, медиков, суммирую их в общем-то единодушные объяснения.

Речь идет о целой группе нервно-мышечных заболеваний — миопатий, неодинаковых и по течению и по тому, какие именно мышцы при этом страдают. Эти болезни изучаются уже более ста лет, в том числе и отечественными учеными, среди которых наиболее известно имя покойного академика С. Н. Да в и е н к о в а. Установлено, что миопатии имеют характер наследственных болезней. Совместными усилиями биохимиков, генетиков, неврологов выявлены многие нарушения обмена веществ, приводящие к постепенной гибели мышц. Однако первоначала всех этих нарушений пока еще неясны.

Сложность задачи усугубляется еще тем, что не до конца поняты и процессы, которые происходят в нормальной, здоровой мышце. За последние годы здесь немало достигнуто биохимиками, чьи методы позволяют вести исследования на субклеточном и молекулярном уровне, на живых мышцах, пробивая пути, недоступные классическим методам биохимии. Однако сошлось хотя бы на пояснения научного сотрудника Института биофизики Академии наук СССР кандидата биологических наук М. Б. К а л а м а р о в о й : многие детали деятельности нормальных мышц, которыми все мы ежеминутно и без каких-либо затруднений пользуемся, еще остаются непознанными.

Особое внимание биологов привлекли к себе в последнее время клеточные оболочки — мембранны. Не остались в стороне от этого и исследователи мышц. Экспериментально обнаружены некоторые нарушения в структуре мембранны при мышечных заболеваниях, но опять-таки их первопричина пока не

найдена, хотя можно думать, это дефект мембранных белков-ферментов, определяемых генетически.

Ну, хорошо, это все высокая наука... А практически, неужели необходимо распознать все до тонких тонкостей и только после этого учиться лечить? В этой довольно обычной в истории науки ситуации медицина никогда не медлила: примеров тому множество. Хотя, разумеется, неясность причин волей-неволей сковывает возможности медиков.

В той области, которая нас интересует, за последнее десятилетие научились выявлять ранние формы заболевания — и, стало быть, раньше начинать борьбу с ним и получать лучшие результаты. Опробуются и новые лечебные средства — как лекарственные, так и другие. Например, заведующий кафедрой 2-го Московского медицинского института профессор Л. О. Бадалян придает большое значение электростимуляции и кислородной терапии в барокамере. Эти способы (профессор Бадалян — один из их авторов) впервые предложены для данных целей советскими учеными. При некоторых формах болезни врачи теперь могут выделять в семьях больных возможных носителей заболевания в скрытой форме (для этого используются приемы медико-генетического анализа и особые биохимические пробы). В связи с этим, как подчеркнула научный сотрудник Института медицинской генетики Академии медицинских наук СССР кандидат медицинских наук Л. П. Гринко, врачи настоятельно советуют близким родственникам больных обращаться в медико-генетические консультации (открытые в ряде крупных городов), чтобы определить вероятность заболевания как для самих себя, так и в особенности — врачи подчеркивают это — для будущих детей.

Ни один специалист, сожалению, не в силах ответить на самый главный вопрос — когда эти частичные успехи сольются в успех решительный, в победу над болезнью. Однако можно и нужно говорить о другом: что следует делать, чтобы эту победу приблизить? Но это в известной мере ответила прошлой весной научная конференция по исследованию мыши, состоявшаяся в Киеве — первое собрание такого рода с участием видных ученых во главе с директором Института биофизики Академии наук СССР академиком Г. М. Франком и президентом Всеобщего биохимического общества академиком С. Е. Северином. (Осенью этого года намечено провести вторую, еще более представительную конференцию.) Ответ кievской конференции в общем виде гласил: усилия многих групп и лабораторий, работающих над этими проблемами в разных городах и ведомствах, необходимо объединить.

Этот номер журнала уже был в производстве, когда в редакцию пришло письмо от В. Могилева. Письмо это мы помещаем ниже...

## О НЕМ МОЖНО БЫ НАПИСАТЬ КНИГУ...

Я читал очерк о Георгии Зайцеве — и перед моими глазами все время стояло лицо другого человека, находящегося примерно в таком же положении — кандидата филологических наук, научного сотрудника Института мировой литературы имени Горького, моего друга Юрия Александровича Филиппева, человека тревожной и необычной судьбы. Я говорю «примерно» потому, что в отличие от Георгия Зайцева Юрий Филиппев приворован к креслу-каталке с самого раннего детства. Когда повествуют

о таких людях, всегда разделяют их судьбу на два отрезка: «до» и «после». У Филиппева не было «до». Поэтому тем более удивительна его жизнь.

Он родился и жил в Ульяновске, гулять его носили на руках. Читать и писать выучили родители. Потом стали приходить учители из школы, и зимою мать (отец умер рано) вырубала топором ледяные ступеньки на склоне холмов, окружавших дом, чтобы проложить учителям дорогу к синим.

Кончины школы, звочный институт. Филиппев начинает научную работу. Диапазон его творческих устремлений велик: философия, физика, психология, педагогика, литература, искусство. Идеями молодого ученого заинтересовываются в Москве, он получает вызовы и переезжает в столицу. Получает комнату, затем квартиру. После — защита диссертации. Выходят несколько его книжек. И все это — в кресле, без возможности что-либо написать своей рукой, диктуя на магнитофон, с которого затем спечатывает приходящая на дом машинистка (нанимаемая им, кстати, за свою далеко не великие деньги).

Он и его мать, Евдокия Николаевна... Других родственников практически нет. Мать зачастую лежит — возраст, болезни. И уже нет сил сходить за хлебом, молоком. И даже трудно встать, чтобы открыть дверь на звонок. Юрий Александрович пришлось сконструировать соленоидный электрический замок, которым он открывает пришедшему дверь нажатием кнопки. Кстати, он истинный мастер — золотые руки, талантливый радиолюбитель и рукомесленник, если так можно выразиться, умелец. Это ли не парадокс? Но тем не менее это так, и вся аппаратура обслуживания — телефонный автоответчик, диктофон, соленоидный дверной замок и прочее — сконструированы им, но сделана, конечно, руками его знакомых.

Все тело Юрия фактически здоровы, сигнал от мозга к исполнительному органу — мышцам — доходит, но доходит с искажениями. В результате плохие координированные движения рук и ног и отсутствие чувства равновесия. Да еще несколько затрудненная речь. По характеру он человек жизнерадостный, веселый, полный неукротимого оптимизма, интереснейший собеседник и прекрасный товарищ.

Все существование этого человека полностью зависит от матери, состояние которой весьма и весьма неважное и отнюдь не улучшается. Случись что с ней — и ему прямая дорога в инвалидный дом, где, конечно, он не сможет продолжать свою нужную для общества работу. Как же помочь ему? Не знаю. Знаю только одно: этот ученик нужен обществу, работает много и плодотворно. Его социальная отдача достаточно велика, чтобы можно было придумать что-нибудь ему в помощь.

Друзей у него много. Так, например, есть прекрасные, бескорыстные люди, которые ходят к нему, помогают ему уже несколько лет. Особенно привязаны к нему и часто ходят ученики 7-й школы Октябрьского района Алеши Богаченков, Роман Якубов, Андрюша Живцов, Володя Гуревич, Марина Выдриц, Марина Петрова (некоторые из них уже окончили школу). И, конечно, их чудесная учительница Нина Николаевна Петрова.

Возможно, когда-нибудь из писателей заинтересуется его судьба и жизнь...



Л. ЛАВЛИНСКИЙ

# СТИХИ О ЛЮБВИ



уховныи мир нашего современника поистине необозрим, и в его ткань вплетаются не только виты, вырабатываемые литературной поэзидиностью. Возьмите стихи о любви. Должно быть, с тех пор, как существует письменная поэзия, существуют и различные формы любовной лирики. И не только формы. Самы чувства, в них выраженные, неисчерпаемо многообразны. Есть стихи о любви счастливой и горестной, о рыцарском поклонении и языческой страсти, о мухах ревности и нежном доверии друг другу. Раскроете ли вы книгу древнеегипетской лирики в переводах Анны Ахматовой или том античной поэзии, выпущенный издательством «Художественная литература», вас так и окатят поток давних сердечных треволений. А сколько канонов и баллад, сколько народных песен прозвучало над планетой за все века! Их сочиняли безымянные певцы и трубадуры, писали знаменитые поэты. Целый одуванчиковый океан, необыкновенное лемовского «Солнриса»! Многие авторы увековечили свое имя стихами о любви, а заодно и имя подруги, не всегда, впрочем, достойной такой славы. Кто бы сегодня знал о некоей взбалмошной Лесбии, если бы два тысячелетия назад в ее нее не влюблялся пыльник Катулл? Но и пыльничество помнит его горькою «оди ет ато» («ненавижу — люблю») и вместе с этими строками им легкомысленной римлянки. А ее пропранравничку Беатриче, жившую триццатадцать лет спустя, ввел в обитель бессмертия автор «Божественной комедии». Бессмертия, правда, не райского, как мечталось самому Данте, но тоже достаточно прочного — поэтического. А извечно «сладостный» Петрарка? Можно изумляться и преклоняться перед этими великими те-

ями, можно забывать все невзгоды за чтением памятных признаний Пушкина и Блока, однако это не избавит нас от желания знать, как любит и ненавидят наш современник.

Скажем и рациональнее: что он сегодня знает об этом чувстве? Или «эпохи изотопов» и впрямь затоптали в человеке способность любить, как утверждал один из отрицательных персонажей А. Вознесенского? Сам поэт не устает разоблачать гнусную выдумку о бездуховности ядерного века. Но тревожится, мучится, сомневается, видя, сколько еще в мире «программированного зверя». Впадает в разочарование — и снова отстаивает необходимость «прикленной» к планете любовной записи. Он, как мы можем догадаться, не о себе беспокоится — о нас с вами. О наших далеких потомках, которым никакой технический прогресс не может, не должен «душу удалить, как вредные мицдальины».

Великим поэтам античности или Возрождения и в голову не могли прийти подобные химеры — они еще ничего не ведали ни о чудовищной силе атомного ядра, ни о классовых антагонизмах пынешнего мира. Что тысячелетия ужасы дантова «Ада» по сравнению с одним мгновением Хиросимы? Но любить они действительно умели, те поэты, хотя часто их чувство оставалось трагически безответно. Оно, как, скажем, у Петрарки, питалось крохами радостей — случайный взгляд, мимолетная улыбка, дорогое воспоминание... Но этого было довольно, чтобы, мучась и благоговея, поэт ощущал себя счастливым. Как все это странно, не правда ли? Оказывается, не очень-то много нужно для человеческого счастья — совсем чуть-чуть. Но это так только для щедрой души Петрарка. Правда, обывательский плоско- utilitarian умшка всегда рад призвезмить ваши восторги: «Это потому вечная любовь, что она была неразделенной. А как пожали бы вместе...» Что ж, пожалуй, спустимся с платонических небес. Неужели, сталкиваясь с бытом, счастье любви неминуемо разбивается вдребезги? В юности эта мысль меня не на шутку тревожила.

Помню, очень взволновали «Пять страниц» К. Симонова — поэма, в которой с аналитической детализацией исследуется постепенное угасание чувства вплоть до последних конвульсий. Помню также, что тогдашняя критика встретила это произведение не очень ласково. Я и сам испытал юношеское острое огорчение, что поэт так и не ответил на тоскликий вопрос героя: «На каком трижды проклятом месте мы ошиблись с тобой и поправить уже не смогли?» А особенно раздражало меня неутешительное обобщение, что, мол, все романы не зря завершают на седьмом. Читая в газетах объявления о бракоразводных процессах, я не ломал голову над вопросом: «Почему?» Все было более или менее ясно: кто-то из двух неправ, плох, недостоин любви. Прочитав «Пять страниц», я был взбурден и озадачен: значит, едва роман кончен, начинается скучное послесловие да набранные петитом примечания? Лишь многое позднее, став вполне взрослым, я почувствовал благодарность поэту: ведь он деликатно подсказал мне, читателю, что бываю в жизни и непоправимые ошибки. Предостерег, что и у хороших людей совместная жизнь может не сложиться...

А «Жди меня» и сурковскую «Землянку» ваше поколение знало наизусть. Кстати, как тут не вспомнить о любовной лирике военных лет? Казалось бы, тягчайшее историческое испытание, потребовавшее от народа напряжения всех сил для разгрома врага, должно сделать нашу поэзию аскетично-суровой, однотемной. Но вышло совсем иначе. Конечно, произошла невиданная концентрация творческой энергии вокруг

одной темы — защиты социалистического Отечества. Но это и заставило ощутить всю беспредельность понятия «Родина», задуматься о его слагаемых, переосмыслить иные литературные представления. Сегодня мы в качестве хрестоматийных примеров гражданственности приводим «Землянку» и «Жди меня», а ведь формально это произведения сугубо интимные. Можно назвать еще немало замечательных стихов и песен о любви, которые согревали наших бойцов, воодушевляли на подвиги.

И вот, припомнивая это, думаешь невольно: а что же наша сегодняшняя любовная лирика, сохранила ли она прежнюю высоту и масштаб чувств, сберегла ли органическую слитность общественного и личного — короче, все те неоспоримые достоинства, которые были достигнуты ею в огненные годы? Конечно, давно отошла от нее вызванная временем трагическая тональность, но не ослабела ли при этом напряженность духовного поиска, не сузились ли нравственные горизонты?

**П**ризнаться, иные издания наводят на невеселые мысли. Читал я как-то книгу одного известного стихотворца, пестрящую любовными посвящениями. Буквально что ни страница, то новое женское имя. Было очевидно, что автор не на шутку старается войти в образ «заправского ветреного поэта», увековеченный С. Есениным. При этом, конечно, нынешний последователь совершился не заметил горькой самониронии своего вероучителя, который неожиданно для себя стал «походить на дон Жуана». Стараясь, так уж стараться всерьез!

В конце концов я окончательно запутался в отномяниях автора со всеми этими Танями, Олями, Наташами и с досадой предался не совсем литературным размышлениям. Интересно, думал я, как реагирует на все эти излияния жена автора? Пожалуй, ревнивая половина сумела бы лучше издателю провести гравь между искусством и жизнью, решительно запретив супругу печатать альбомную ерунду. Прочитав такое, поповел затоскую о временах Данте и Петрарки.

Но книжка незадачливого кандидата в дон Жуаны, конечно, не показала нравственного состояния нашей лирики. Я и заговорил-то о ней лишь затем, чтобы лишний раз напомнить, насколько ответственное это дело — повествовать миллионам читателей о тайной жизни своего сердца. Наверно, нельзя не страдать от профессиональной обязанности выкладывать всем свои беды и радости, боли и горечи. Во всяком случае, эта обязанность не из легких, если, по словам А. Вознесенского, «каждый может, гогота и тьма, судить тебя и родинки глядеть».

Правда, и степень душевной обнаженности у художников очень различна — в зависимости от темперамента и всего склада личности. С. Есенин, к примеру, «себя вынимал из испод» и заслужил этим всеобщую любовь и признание. Но бывают крупные художники, тщательно оберегающие свою интимную жизнь от читательских взоров. Таким суровым мастером был А. Твардовский. И не случайно, что он, умнейший ценитель прекрасного, судил о лирике Есенина жестко и несправедливо: слишком несхожими путями прошли в литературе два очень русских и члены масштабных поэтов.

А вот еще один строгий художник — Л. Мартынов. Никак не скажешь, что стихи о любви составляют его главную силу и достоинство. Однако в среде них встречаются очень заметные, в том числе и в недавно опубликованных циклах. Е. Баратынский когда-то сказал, что любовная лирика не терпит цветистых фраз, требуя от поэта большой простоты и ясности. А. Мартынов строит свое стихотворное признание с

помощью простейших и на первый взгляд легкодоступных средств: два-три традиционных символа да еще точные интонационные повторы:

Он златан,  
Мой кошматый парус.  
Но исправно служит кораблю.  
Я тебя люблю; при чем тут старость,  
Если я тебя люблю!

Может быть,  
Обним и осталось  
В самом деле только это нам —  
Я тебя люблю, чтоб волновалось  
Море, тихое по временам,

И на небе тучи,  
И скрипучи  
Счасти. Но хозяина кораблю —  
Только ты. И ничего нет лучше  
Этого, что я тебя люблю!

Не уверен насчет моря, но меня, читателя, мощное и цельное чувство поэта действительно взволновало. Оно, это чувство, как бы стыдится высказаться слишком гладко и красиво: слова падают отрывисто, концы интонационных фраз не совпадают с окончаниями строк, рвут их где-то посередине винзанными паузами. А как подчеркнуто звучание заветных трех слов, ритмически выделено и усилено трехкратным повтором! Стихи Л. Мартынова трудно назвать музыкальными в общепринятом смысле: они не ласкают слух гармоничными звучаниями. Однако поэт умел пользуется в создании образа звуковыми красками. С таким мощным двигателем и с такой технической оснащенностью старый парус романтики и впрямь надежен. А судьба его может послужить в назидание и всем младым, еще не чищенным парусам.

Ну, а если поэтический корабль все же получил прибояну или, выскочив на мель, начал неудержимо рассыхаться? Еще сравнительно недавно поэты с известной опаской касались подобных ситуаций. Стихам о различных любовных горестях в существовавшей у иных критиков иерархической таблице тем отводилось едва ли не самое последнее место. (К. Симонову с его «Пятью страницами», наверное, пришлось перенести немало горьких минут!) Автор, дерзивший писать о запутанных сердечных узлах, о мучительном, безответном чувстве, немедленно попадал под перекрестный огонь критических батарей. Снаряды были разноназначные: от упреков в камерности до обвинений в безнадежном пессимизме. Между тем далеко не всегда личная жизнь складывается беззабочно, и для нас важно, чтобы поэт остался предельно искренним в нравственной оценке пережитого. Но, кажется, сегодня большинство из нас научилось это понимать и не усмотрит в иных горьких строках посягательства на устои.

По контрасту с мартыновским «косматым парусом» мне вспомнилось стихотворение А. Межирова «Море» (оно вошло в недавно изданный сборник поэта «Поздние стихи»). В этом стихотворении тоже возникает традиционный образ морской стихии — как воплощение необыкновенности жизни. Однако в нем выражено совсем иное лирическое настроение. Поэт proclamaet «покой постыльский» сонного побережья, не приносящий человеку счастья. Истина видится в ином:

Не знали мы, что счастье только в этом —  
Открытом настежь море —  
Что лишь для тех оно не под запретом,  
Кто не страшится счастья своего..  
Во имя жизни и во имя песни,  
Над выщербленной дамбою прямой,  
Волна морская, повторись,  
Воскресни,  
Меня с любимой вместе  
в море смой!

Словом, звучит своеобразное заклинание судьбы, мольба о буре, «как будто в бурях есть покой». И что интересно — лирическая ткань «Моря» внешне гораздо более гармонична, напевна, чем жестковатый на слух, отрывистый стиль А. Мартынова. Но тем остreeе опущенная в «Море» внутренний озабоченности. Ведь стройность классических ямбов становится здесь образом утраченной героем гармонии. Он, этот герой, жаждет окунуться в широкий мир действительности, помериться силон с житейскими волнами, чтобы воскрес в нем человек, достойный любви. А герю А. Мартынова не нужны внешние вспышки. Его чувство и без бурьочно: оно в самом себе находит поддержку и опору. Оба поэта обаятельно искрены в своем нравственном поиске и по-разному дороги нам: один — неостывающей силой чувства, другой — бесподобностью к себе, непримиримостью к любой фальши («У Межирова есть дар самобезжалостности», — сказал как-то Е. Евтушенко). Не искать для своих кораблей тихих гавани, а смело выводить их на просторы социальной действительности — в этом творческий девиз и других серьезных художников.

**В** межировском «Море» и стихотворении А. Мартынова о парусе нет прямых признаков нашей эпохи, нет и социально заостренных обобщений. Это произведения вроде бы вполне интимные. Но можно ли счесть эти стихи «невременные» или «сузлокомичные» (определения, излюбленные у критиков, мыслящих в одной плоскости)? Такого вопроса даже не возникает при чтении: стихи пробуждают у нас иные чувства.

В нравственном максимализме обоих поэтов мы опущаем критерии, выверенные нашей эпохой, — ведь именно эта эпоха подняла на такую высоту личности, потребовав от человека кристальной честности не только в делах общественных, но и в закрытой от взоров, интимной жизни. Да, сегодня это уже требование, предъявляемое обществом, а не только величими гуманистами, как в былые века.

В Мажковский категорически заявлял когда-то: «В поцелуе руки ли, губ ли, в дрожи тела близких мне красный цвет моих республик тоже должен пламенеть». Сказано было с плашкой размахистостью, как и подобает «гордым, главарям» революционной поэзии (но, конечно, с глубокой выстраданностью слова — лозунг был подтвержден мучительным опытом собственной любовной драмы). Сегодня, однако, большинство поэтов не прибегает в стихах о любви к столь острым политическим формулам — наши нынешние условия существенно отличаются от классово накаленной обстановки в стране 20-х годов. Но означает ли это, что современные стихи о любви порывают с идеейной целеустремленностью, утрачивают свою социальную природу? Думают, что не так. Веде даже на войне наступать можно по-разному — далеко не всегда решающий успех достигается фронтальным ударом. Нынешняя эпоха подчас требует от поэта иных красок и интонаций, чем первые годы Советской власти. Однако существа дела это не меняет. Об этом, между прочим, весомо сказал С. Орлов в поэме «Одна любовь» (она помещена в недавно изданном двухтомнике):

И все о ней, о ней и о себе,  
И, кажется, о времени ни слова,  
Но разве не она — моей судьбы  
И горестей и радостей основа?

Оно не только в громком и большом,  
В труде и спасе, горных пиков выше,  
Прислушайтесь, как время бьются в том,  
Как люди любят, как грустят, как дышат.

И впрямь стоит прислушаться! Тем более что эта декларация приложима не только к стихам С. Орлова, но и к поэзии многих его сверстников. Е. Винокуров, например, ничего не пояснял насчет «основы» своей горестной радости, но во всем нашем деревоизложении поэзии едва ли найдешь такое изображение любимой, как в его стихотворении «Моя любимая стиранка...». Советский поэт не убрался показать ее за самым прозаичным занятием, за черновой домашней работой. Но романтический венец Женщины от этого ничуть не потускнел. Напротив, нежность героя обострилась и усилилась глубоким товарищеским сочувствием. И для меня бесспорно, что в тематическом повороте стихотворения, в тональности его лирических красок, выразилась определенная социальная психология, точнее, мораль советского человека, для которого любой труд достоин уважения и поэтического.

Да, если бы я мог знать в юности некоторые из подобных стихов Е. Винокурова, я, пожалуй, знал бы, что ответить герою «Пятнадцати». Наверняка помогли бы мне в этом и другие лирические поэты, например, К. Ваншенкин. Этот автор открыл бы передо мной мир скромных семейных радостей, в котором, однако, столько истинного добра и света! К. Ваншенкин словно бы и сам удивляется этой тишине. Но она из тех, что не требуют разгадки: вдахах запах розы, не становясь развертывать и обрывать ее лепестки. Не совершает такой оплошности и герой К. Ваншенкина — он просто делится с нами своим чувством:

Меж бровями складка.  
Шарфик голубой.  
Трепетно и сладко  
Быть всегда с тобой.  
В час обыкновенный,  
Посредине дня  
Вдруг пронзит мгновенной  
Радостью меня.

Или ночью синей  
Вдруг проснусь в тиши  
От необыкновенной  
Нежности души...

Такое чувство, правда, лишено бурь, но зато ему не помеха ни житейская проза, ни груз совместно прожитых лет, ни «меж бровями складка» на родном лице. Правда, рассуждая об этой лирической миниатюре сегодня, с благодариением критической въедливостью, я отметил бы, что стихотворение все-таки чуть идилично. С самого начала в него внесен, пожалуй, слишком «голубой» колорит. Жизнь с близким человеком (даже если она складывается идеально), по-моему, все-таки лишена столь незыблемого «всегда»: она подвижна, разновидна и от этого еще обаятельна. Но в конце концов поэт делится здесь всего лишь лирическим настроением, и, быть может, то мне говорит просто профессиональный педантизм.

Стихи К. Ваншенкина, подобные приведенной миниатюре, не имеют прямой, зрячей связи с социальными проблемами времени, и, однако же, я не могу отдельиться от ощущения, что они проникнуты философией нашей эпохи, убежденной в счастливом предназначении Человека. Даже категоричное «всегда» тут, по-видимому, объясняется авторской программой жизни. Наш строй обогодил разум и чувства человека от множества сословных и иных пут, предоставил ему реальную возможность жить достойно и содержательно. А дальше многое зависит от тебя самого. Вспомним прутковский афоризм: «Если хочешь быть счастливым, будь им». Неожиданно он утрачивает юмористический смысл: будь, несмотря ни на какие невзгоды и трудности!

С замечательной силой аллюзия звучит эта мысль в стихотворном цикле М. Луконина «Испытание на разрыв». Читая его, ясно видишь: вообще-то для поэзии не столь важно, какую разновидность личной

судьбы изображает автор — блестяще-удачливую или, наоборот, горькую, болевую. Более того, иногда оба варианта поразительно совмещаются в одной конкретной участи. Ведь главное все-таки в том, какого масштаба человек видится в тех или иных лирических коллизиях. Интересен ли он, способен ли захватить нас глубиной переживаний, смелостью мысли, силой характера? Луконинское стихотворение о «блестяще-счастливом счастье» волнует не только остротой внутренне-го драматизма, оно интересно еще и безупречным духовным здоровьем героя, богатством его натуры. Он, этот герой, вопреки свалившейся беде (потери любимой), вопреки боли и мукам уверенно заявляет свои права на счастье («как сердце — полагается в груди...»). Так может сказать не просто сильный человек, а непременно тот, кто вырос в свободном обществе, кто воспитался в обстановке справедливости, не знал внешнего гнета, внутреннего раздвоения. Поэтому он остается так же тверд, неукротимо жизнелюбив, ве-село-ирическ:

Увидевши ты:  
я смеюсь, не плачу,  
проститься с белым светом не спешу.  
А я любую боль переничу,  
я памятью обид не дорожу.  
Блестяще-счастливое счастье я не выдам,  
мы — вдох и выдох,  
связаны в одно.  
Нас пересортица  
бедам и обидам —  
меня и счастье —  
просто не дано.

Так завершается это удивительное стихотворение о крушении любви, об окончательном разрыве с люби-мой. В каждом «вдохе и выдохе» его ритма, в каждой модуляции поэтического голоса проявляется не только яркий характер, но, если вдуматься, и нечто более широкое: судьба личности при социализме. «Красный цвет моих республик» по-прежнему пламенеет в ин-тимных произведениях наших лучших поэтов, меняются только формы его лирического выражения. И мы, читатели, становимся все воспринимчивее к этим «сложным формам».

**Д**а, времена для любовной лирики, по-видимому, меняются к лучшему. Некогда, по проницательству Я. Смелкова, даже девичья красота была «вроде как под запретом, что ли». А сегодня Р. Гамзатов печатает в журнале «Дружба на-родов» пространнейший цикл сонетов о любви — по существу, целую книгу. А в издательстве ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» выходит сборник К. Ваншенкина «Прикосновение» — «Стихи о женщинах, о любви», как явствует из подзаголовка. И эта и другая книги ра-дуют глубиной и тоистостью художественных наблюдений, а это в современной любовной лирике, если уж признаться, явление нечастое. Увы, даже мастера под-час не могут созладать с капризной личной темой: тут выдергать уровень, вероятно, так же трудно, как сохранить свежее дыхание бегущу на дальние ди-станции.

В книге А. Мартынова «Гиперболы», откуда взято стихотворение о парусе, есть, конечно, и другие от-личные стихи о любви — серые и шутливые, по-вой самоироничные, а порою и язвительные; поэз ед-ко высмеивает обывателей, не понимающих высокого, гуманистического назначения красоты. Но вот автор отказывается от испытанного оружия лиризма и прибегает к отвлеченному морализаторству: «...Когда любовники возлагают в алых садах ее цветов вскунуть плодов ее и ягод, то это не всегда — Любовь!» Воз-можно, такие разъяснения и дают какой-то воспитательный эффект, но, право же, они не слишком по-этичны. Тем более если автор распространяет их на

30 строк. Весьма популярные в свое время (хотя во-все не лучшие) строки С. Щипачева «Любовью до-рожить умеют» обладали по крайней мере одним бес-спорным достоинством — краткостью. Однако большая поэзия (и А. Мартынов отменно доказывает это собственными произведениями) умеет обходиться без прямолинейных поучений, воспитывая читателя взрывной силой страсти — высотой духовного содер-жания.

Я думаю, стихи о любви (или об ожидании люби-ти) требуют от поэта тончайшей работы. Одни невер-ный художественный штрих (или отсутствие верного) — и изображение испорчено. Если же мастерство автора вообще не очень крепко, он и вовсе попадает в неловкое положение, утверждая совсем не то, что умал. Мне, например, не хочется подозревать Нору Яворскую (см. ленинградский «День поэзии», 1971) в умении точно выразить свои мысли: это означало бы подозревать ее в проповеди аморализма и пошлости. Познакомьтесь с таким предложением автора:

И твой и мой  
в Подземной мгле  
сливаются пути...  
Так почему бы  
по земле  
нам рядом не пойти?  
  
Настанет миг —  
смешает нас  
в одно  
природа-мать...  
Так почему бы нам сейчас  
дыханье не смешать?

Весьма решительное обращение, не правда ли? И обосновано солидно: все равно погрем и прах наш когда-нибудь сольется «в круговороте бытия», так стоит ли сейчас принимать в расчет какие-то «стены», разделяющие нас? Уж лучше сразу к делу. Можно было бы понять автора, если бы изображалась пла-менная страсть, боль, мука. Можно бы, паконец, вос-принять стихи как шутку. Но ничего подобного: о чув-ствах нет помими, и в намерениях автора не проглядывает ни малейшая доза юмора. Узел развязывается с поразительной легкостью — собственно, тут нет ви-какого узла: «Ведь все различия смешены пред общ-ностью такой...» (то есть перед смертью). Ничего не остается, как «смешать дыханье»...

Что же сказать о массовой продукции иных хват-ких стихотворцев, эксплуатирующих всевидящий ин-терес читателей к теме? Вероятно, именно их старания вырабатывались у нас подозрительное отвое-ние к интимной лирике, а многие и теперь считают ее собранием альбомных пустяков. Особенно много таких (и не только таких) пустяков среди песенных текстов, сочиненных на готовую мелодию. Процесс их создания необыкновенно прост. Стихотворец наскоро переводит музыкальные фразы в метриическую систе-му, разбивая каждую строчку на слоги, которые обоз-начаются черточками. Затем простираются ударе-ния, и скелет будущего «полушедевра» слеплен. Оста-лось заполнить черточки любыми подходящими к теме словами. Называют такую систему «крыбой» — лег-ко представить, что за блода из нее приготовляются! Конечно, к серьезной поэзии это уже не относится — не зря здесь господствует терминология кухни. Худо, однако, что рыбобразные тексты на крыльях попу-лярных мелодий разлетаются по стране и активно участвуют впорче эстетических вкусов. Правда, век их недолг — попробуйте вспомнить хоть одну по-винку спустя несколько месяцев! А лишь глупо-слад-кой песенке «Ландыш» повезло: как-то ее обратил в стихах Ярослав Смелков. И не просто обругал: по-святил ей 18 разногласных строф большого мастера. А стояла ли овчина выделки? Думаю, стола. Ведь примитивная стихопродукция в принципе антиобще-ственна, так как лишает человека личности, обединяет

иискажает его миропонимание. Это не безобидные пустяки, это опухоль на теле поэзии: пораженная ткань, разрастаясь, вытесняет здоровую. Нельзя позволять ей разрастаться! Недаром против лженеукраинства ведут непримиримую и дружную борьбу поэты военного поколения: они-то знают, как надо обходиться с недругом. «Базарная Галатея» С. Наровчатова, колючие миннитюры К. Ваншенкина, неоднократные выступления (в стихах и прозе) А. Межирова — вот лишь некоторые вехи этой борьбы. Конечно, резко отрицательное отношение к ремесленничеству присуще не только старшинам поэтам, но и некоторым мастерам послевоенного поколения. Однако произведения бывших фронтовиков, право же, отмечены редким единодушем и боевой страстью. Очевидно, высокая музыка патриотического воодушевления, о которой писал А. Межиров, — та музыка, что звучала над страной в военные годы, и сегодня не затихает в их душах. «И через всю страну струна натянутая трепетала...» — я думаю, эта струна и сегодня является для многих художников высшим поэтическим камертоном. Именно поэтому лучшие из них так нетерпимы к фальши.

**Н**о что же, однако, следует из всех этих рассуждений? Во-первых, хотелось бы сделать скромное объявление: у нас существует любовная лирика — интересная и разнообразная. Объявляя это, я, правда, не претендую на открытие, а просто приглашаю обратить на нее внимание. Как-то так принято издавна, что стихи о любви рассматриваются только в ряду всех прочих (они в творчестве поэтов словно бы нечто второстепенное). Между тем это не только литературное, но и серьезное общественное явление. Печатаются их несметное множество, и в этом потоке есть чистые, а есть и замутненные струи.

Гражданская и интимная лирика — вовсе не закрытые ваги, те и другие мотивы сплошь рядом органично сочетаются в творчестве больших поэтов — усиливают друг друга. Правда, исторические обстоятельства не однажды разводили боевое, социально заостренное искусство и то, что «в годину горя» склонно малодушно утешаться «ласками милой». Мы и сегодня не приемлем таких лукавых лирических «ласк». Но кому же из истинных мастеров помешала любовная лирика? Н. Некрасову? Но его Гражданин произнес свои суровые предписания музам, когда вся Россия жила «накануне». Когда на помпезиче-бюрократический режим поднимался вал крестьянской революции. Некрасов внял голосу долга и всю творческую энергию отдал народу. Но до последних дней великий поэт писал о любви, и Н. Чернышевский даже относил эти стихи к числу самых задушевных. Разве не звучали в любовной лирике Некрасова хорошо нам знакомые социальные ноты?

Маяковский в поры края революционного максимализма называл эту тему «личной, и мелкой», но — опять и опять —ней возвращалась. И мне кажется, под его первом, когда он писал о любви, дымилась бумага. А «мелкая» тема вырастала до вселенских масштабов. Тончайшими и прочнейшими нитями она связана со всем мироощущением поэтического трибуна. Ведя это было одновременно и тема борьбы за социальное освобождение человека, за очищение его от скверны векового мещанства. Маяковский вел свою непримиримую борьбу средствами атакующей публицистики. Он не боялся, что кому-то из тогдашних или будущих снобов они могут показаться неэстетичными. Мы знаем, с какой беспощадностью он высмеивал лирическую обычательницу. Его первом тогда водила разгневанная революционная буря, и под стать эпохе поэт был ярко размахист, громогласен. Возможно, доживи

до наших лет, многое в сегодняшней поэзии он бы не принял, резко оспорил. Ведь назвал же он классический русский ямб картавым! Но, скорее, мы увидели бы другого Маяковского, не столь настойчиво держащегося за стих-лестницу. Идея нам, он мог свободно перепрыгнуть через несколько ступенек или даже скользнуть по перилам — «езды в незнамое!» Он не любил тихих мелодий, но издавался и над бравурными. Он с повелительной грубостью отчеканил: «Для боя — гром, для крови — шопот...» Он был готов принять и шепот, но такой, чтобы его могла слышать страна, чтобы автору потом не пришлось краснеть...

Сегодня у нас времена во многом иные. Сегодня, когда вопрос о гармоничном развитии человека стоит в повестке дня, мы охотнее соглашаемся на «хороших и разных». Нынешняя любовная лирика может быть резко конфликтной или иной, «громкой» или «тихой» — важно только, чтобы она была одушевлена нашими идеалами. Тем или иным лучом спектра блеснет отдельное стихотворение — не будем за это придраться к автору. В целостном творчестве истинного поэта свет останется неразложим.

Да, внутренний мир нашего современника сложен, и в будущем вовсе не предвидится его упрощения. Но, думаю, тревоги А. Вознесенского в связи с угрозой удаления «వредных» миандров все же слишком глобальны. Коммунистическая правственность ориентируется не на примитивы. Она выросла не где-нибудь, а на греческой земле и могучими корнями уходит в глубинные пласти почвы. Ее питают все животворные соки планеты, поэтому и двери в сокровищницу мировой поэзии для нас открыты. Молодежи 30-х годов некогда было читать Шекспира и Петrarку, и Я. Смеляков счел долгом с грустью сказать об этом в «Стройной любви». Сегодня мы — молодые, всякие — читаем и классику и многое другое. И нас волнуют любовные признания, высказанные шестью с половиною столетий назад на чужом языке. Мы как-то опускаем в сонетах Петrarки и его набожность, и условные «самуры», и арханичность слова. Нас притягивает огненная душа этих стихов — масштабы чувства:

На свет произведен в недобрый час  
(недобрые лучи в ночи горели),  
качался я в недоброй колыбели  
по земле недоброй в первый раз

пощел, и яркий свет непобрых глаз  
для стрел своих не выбрал лучшей цели,  
и все они до сердца долетели,  
и ты меня от этих стрел не спас.

Тебе, Амур, мое по праву горе,  
дозволен ты, но, на мою беду,  
любимой кажется, что маюсь мало.

И все же лучше с нею быть в раздоре,  
чем с нелюбимой пребывать в ладу. —  
я верил в это с самого начала.

Поэт был горд своими муками и не признавал в любви практисмы компромиссов. Кстати, эти муки не мешали ему кипучей научной и гражданско-действительности. При жизни он был увенчан за труды лавровым венком, а его любви не умереть еще долго-долго. Надеюсь, однако, что этот маленький экскурс в прошлое не сочтут за призыв к современным поэтам: давайте, мол, включайтесь в создание лирики, столько же долговечной. Современных Петrarок искусственно не выращивались — так же, как и «красных Байронов», над которыми издавалась тот же Маяковский. Но лучи давней, шестисотлетней любви падают нам в сердце: оно сегодня более светочувствительно, чем когда-либо.



ВАЛЕНТИН  
БЕРЕСТОВ

# радость

истории, которую я собираюсь рассказать, все держится на честном слове.

Если бы двоюродный брат Коля Покиайнен, единственный тогда критик и читатель моих стихов, поражавший меня своей начитанностью, одухотворенностью, а также тем, что он был в кого-то влюблена и полон неведомых мне переживаний, не взял с автора этих строк честного слова, я бы ни за что не осмелился подойти к Корнею Ивановичу и показать ему свои полу-детьесские сочинения. Случалось это так.

В мае 1942 года в читальне Ташкентского дворца пионеров, куда я ходил, чтобы упиваться Байроном, Жуковским, Диккенсом и Гюго, появилось объявление о предстоящей встрече читательского актива с писателем-орденосцем К. И. Чуковским. В программе — чтение и обсуждение его новой сказки.

Вернувшись домой, я сообщил об этом двоюродному брату, ученику восьмого класса и редактору газеты с французским названием «Le Rayon» («Луч»). Газета (сложенный вдвое тетрадный листок) заполнялась краткими пересказами сюжетов Совинформбюро, откуда мы брали только хорошие новости, афоризмы великих людей, Колинами исторических изысканиями, моими стихами и переводами из Гете. (Не помню, чем меня не устраивал классический перевод Жуковского, но я счел необходимым заново перевести «Лесного царя».)

Редактор (он всегда был деликатен со мной, шестиклассником, и не подчеркивал разницы в возрасте) на сей раз был неумолим:

— Даи честное слово, что покажешь стихи Чуковскому!

Коля раздобыл где-то две желтые среднеазиатские морковки, и, откусывая их мельчайшими кусочками, чтобы продлить наслаждение, мы несколько часов бродили по зеленому, цветущему Ташкенту. Двоюродный брат не переставал убеждать, уговаривать, упрашивать, требовать, и, наконец, так вымотал меня и парализовал мою волю, что я неожиданно для себя дал роковое честное слово и понял: все конечно, обратного пути нет.

И вот передо мной камышинка с воткнутым в ее мякоть пером № 86 (такие тогда были ручки), чер-

нильница-непроливайка с почти не разбавленными фиолетовыми чернилами (собственность редакции) и весь запас чистой бумаги, предназначенный для издания газеты с французским названием.

Я сложил листки уже не вдвое, а вчетверо. Вышла книжечка малого формата. Осталось только мельчайшим, выработанным в войну экономным почерком заполнить ее от начала до конца.

И тайника, о котором не должна была знать ни одна душа, даже Коля, то есть из норм какого-то зверя в углу нашей глинибогитовой комнатачки, были извлечены рукописи. Впервые в жизни мне предстояло составить сборник стихов, да еще для такого читателя. Как и следует любителю классики, я расположил стихи в хронологическом порядке. Стихи для детей, то есть для моего младшего брата Димы, и Колиного братишку Володи, я в сборник не включил, полагая, что они уступают сказкам Чуковского и вряд ли его заинтересуют, переводы — тоже. Были отобраны лишь баллады о доблестях древних славян и средневековых шотландцев, философские стихи о смерти и о смысле жизни, пейзажи старого Ташкента и моей Калуги, по которой я тосковал в эвакуации, и, конечно же, стихи о войне. Теперь все было как у классиков, если не считать столь зияющего пробела, как полное отсутствие любовной лирики.

Я начал уже переписывать стихи в книжечку, но с ужасом подумал, кто будет их завтра читать.

Коля исчез. Он догадывался: вместо того, чтобы переписывать стихи для Чуковского (как будто Корней Иванович их ждет не дождется), я, разумеется, начну самым жалким образом вымогать назад свое честное слово. Взрослые были на работе. Зато маленький Володя что-то пронюхал и от волнения сам сочинил стихи, адресованные прямо Чуковскому:

Милый, милый мой Корней!  
Для меня ты всех милей.  
Жму твой со всего духу  
За твою Муху Цокотуху!

Совсем недавно я и точно так же относился к Корнею Ивановичу. Но сейчас все было иначе. Ведь я уже видел и слышал Чуковского. (Мальчик, любящий литературу,оказавшийся в одном городе с Чуковским, как я полагаю, не мог не встретиться с Корнеем Ивановичем, во всяком случае, вероятность такой встречи была очень высокой.) С молчаливой станикой ребятишек я провожал его по улице Хамзы к трамвайной остановке Ходра, когда он возвращался домой после выступления в нашей школе № 42 имени Чапаева.

Был последний день сорок первого года. Приближалась новогодняя ночь без елок, угощений и даже без снега. Возле каждого фонаря мы обогревали Корнея Ивановича и заглядывали ему в лицо. Я ухитрился даже дотронуться до руки его пальто.

Мы почему-то ждали, что писатель сейчас пошутит, скажет, так, как пошутил Горький, о котором он рассказывал у нас в школе. (Алексей Максимович, увидев малыша поздней ночью в вестибюле гостиницы, урезонил его таким стишком:

Даже кит  
Ночью спит.)

Но лицо Чуковского было усталым и скорбным. Мы не знали, что один из его сыновей в это время защищал осажденный Ленинград, а другой погиб в Московском ополчении.

И все же нельзя сказать, что Корней Иванович не замечал нас. Наоборот. Стоило нам оказаться в свете фонаря, и он заглядывал в наши лица, при-

сматривался к одежде, к манере себя вести и, видимо, сравнивал нас с теми ребятишками, которые шумными, очарованными толпами провожали его с подобных выступлений до 22 июня 1941 года.

К нам в школу Чуковский пришел не с «Айболитом» и не с «Мойдодыром». Это удивило нас. Мы-то ждали его как какого-то Деда Мороза, веселого и таинственного. Никто из нас не подозревал, что Корней Иванович может заниматься чем-нибудь еще, кроме сказок, исполненных неистового вдохновения или, как он любил говорить, «сумасшедшего счастья».

Если каждый малыш от двух до пяти, в сущности, поэт (не будем забывать, что первым в мире это открыл и доказал Корней Чуковский), то каждый ученик среднего и старшего школьного возраста — это литераторовед по необходимости, критик поневоле: он пишет сочинения.

В тот новогодний вечер перед нами выступил литераторовед по призванию, критик по самой своей сути, человек, который всю жизнь изо дня в день по собственной охоте писал не что иное, как сочинения почти на те же самые темы, что и мы. Мы о Некрасове, и он о Некрасове, мы о Чехове, и он о Чехове, мы о Горьком и Маяковском, и он о них же.

В нашей школе Чуковский вспомнил издательство «Всемирная литература». Ученые в литераторы во главе с Горьким, полуоголые, в кое-как наполненном зале, увлечены фантастическим делом. Они отбирают, переводят и комментируют для только что возникшей небывалой, страны (шел 1918 год) лучшие книги всех времен и народов. И называют себя в шутку всемирными литераторами.

Думаю, не случайно именно сейчас, в самую жестокую пору войны, Чуковский затянул нас, школьников вместе с учителями, на те удивительные задания.

«Ему-то, всемирному литератору, я должен показать свою золотую книжечку в четвертешку тетрадного листка!»

Стихи показались мне такими нескладными, жалкими, я начал их править, появился помарки, за которые мне было уж совсем совсем перед Чуковским, а чистой бумаги больше не было. Нет, я не мог дать ему тетрадку, испакощенную помарками. Я решил прочитать свои стихи Чуковскому, и мысль об этом привела меня в ужас. Но выхода не было.

За четыре месяца 1942 года я из мальчишки превратился по виду в маленького старика в бызантинском членением да стихотворством. Так и не пойму, спасало ли меня тогда стихотворство или, наоборот, высасывало из меня последние силы. Никогда потом я не предавался сочинительству с таким упоением и никогда так сильно не мечтал о славе, о власти над человеческими душами, считая себя избраником, будущим Лермонтовым, чьи отороские сочинения изо дня в день перечитывал и, поглядывая на даты, ревниво сравнивал со своими.

«А вдруг это не так?» — вот чего я больше всего боялся, собираясь на встречу с Чуковским.

10 мая 1942 года. Читальня Ташкентского дворца пионеров. Книги на сей раз покоятся в шкафах. Мы сидим за пустыми столами, но по привычке сблюдаем тишину. Можно оглядеться, посмотреть друг на друга.

В окнах южный май. У меня давно нет очков, мир для меня лишен резких, ощертаний. Но сегодня я особено наслаждаясь солнечными зайчиками на стене, как-то ухитрившимися проникнуть сквозь густую листву высоких деревьев.



Корней Иванович Чуковский.

На днях в очереди со мной случился голодный обморок. Не сообразив, в чем дело, я решил, что слепну. Мир расслся на розовое и голубое и померк. Но вот я почувствовал, как на голову ляется вода, как мне в рот суют клубничку, как из тьмы проступают лица незнакомых людей, которым я почему-то нужен; этот миг возвращения на свет показался мне едва ли не самым счастливым в жизни.

...И вот словно вихрь ворвася в нашу книжную обитель. Голоса библиотекарш впервые зазвучали в полную силу, их не узнать: «Пожалуйста, Корней Иванович! Ах, что вы, Корней Иванович!» У дверей заминка. Все уступают дорогу Чуковскому. Чуковский галантно пропускает дам. Наконец, красные от смущения и только что услышанных пылких комплиментов, в промежуток между столами вторхнули библиотекарши, а за ними хозяйским шагом вступили и сразу наполнили собой читально-веселый гигант в белой рубашке, с канцелярской папкой под мышкой, беловолосый, розоволицый, большеносый, громогласный. Он кланяется, он машет папкой, ему здесь нравится.

13—14 лет — возраст не очень воспринимчивый к игровым ритмам детского стиха. И Чуковский тут же не то затевает с нами игру, не то дает нам работу. У его сказки, первой, как он объявил, антифашистской сказки для самых маленьких, пока еще нет названия. Мы, читательский актив, должны его придумать, за что он, автор, будет нам вечно благодарен. И, конечно же, он не может обойтись без нашей критики. Вот большой черный карандаш, а вот бумага, на которой он запишет все наши бесценные замечания.

Овладев аудиторией, Чуковский раскрывает папку:

Злая, злая, нехорошая змея  
Укусила молодого воробья  
(Больно воробушку, больно!)

Воробушку больно, а мы сияем: значит, сейчас появится ваш доверенный любимец доктор Айболит. Сказка была о войне. Бармалей с самолета, обстреливал беззащитных детей. Айболит приходил туда. Но вот враги разбили, и по всем «чуковским» правилам начинается пир на весь мир. Пиরуют дети. С неба на них сыплются виноград и всевозможные сладости.

Шедший сказочник у нас в читальне пылко мечтал накормить всех изголодавшихся за войну ребятишек, накормить властью, до отвала, до полнейшего изнеможения:

И ребята две недели  
Ели, ели, ели, ели.  
И сидели они жиготом  
Завалились под кустом,  
А потом давай сначала  
Наедаться до отвала.  
Да и то еще много осталось  
Леденцов и орехов несъеденных!

В упоительном перечислении ясты и лакомств не было никакой бесконтактности по отношению к нам, детям 1942 года. Мы слушали без голодного воздыхания, словно речь шла не о еде, а о каких-то сверкающих драгоценностях.

В народных сказках победу над злыми силами, как правило, венчает пир на весь мир, где будто бы веселился и сам рассказчик.

Тогда, в 1942 году, Чуковский, обращаясь к мальшам, попробовал выразить предвкушение того всечеловеческого праздника, каким (мы это знали!) должен был стать день победы над фашизмом.

Так бегите же за мною  
На зеленые луга! —

воздевая руку, приглашает нас Чуковский. И нет ни малейшего сомнения, он-то знает, что делать на зеленых лугах, где царят безудержное веселье, беззглядное счастье!

Рады, рады, рады светлые березы,  
• И на них от радости вырастают розы.

Длинная, даже громоздкая сказка с легким, радостным финалом отозвулась. Читательский актив возвращается. Оживление, как на ярмарке. То один, то другой встает, шепчет свое имя и выкрикивает название для сказки. Чуковский записывает большим черным карандашом и поощряет остальных: ву-ка, ву-ка, кто лучше придумает?

Трэсусь от ужаса. Остались считанные минуты. Сейчас я либо совершу самый отвратительный для мальчишеской дружбы поступок, то есть после ухода Чуковского как ни в чем не бывало спрошу��ую-нибудь книжку и... «продам» честное слово, либо случится невероятное — я подойду к Чуковскому, выну книжку и скажу. Что сказать? Между нами бездна: в один и тот же весенний день ему стукнуло шестьдесят, а мне четырнадцать.

Никаких мыслей. Лишь знакомое с раннего детства состояние, когда реается, возьмут тебя или не возьмут туда, куда тебе страсти хочется.

Из взрослых я мог бы показать стихи только отцу. Жив ли он? Последнее письмо было в октябре, восторженное, счастливое — отцовскую часть привели гвардейской давизни, и, значит, уже в звании гвардии (для него, учителя истории, слово «гвардия» звучало как-то особенно) он будет защищать нашу Калугу. Как не хватает мне сейчас взрослого мужчины, кого боготворишь, за кем пойдешь на край света!

Восображение читательского актива истощилось. Чуковский кладет бумаги в папку и завязывает тесемки. Ему вручают большие красные цветы. Он благодарит нас (мы-то тут при чем!), прижимая бумаги к ослепительно белой рубашке.

Вносят книгу для почетных посетителей. Корней Иванович, стоя к нам в профиль, мигом сочиняет, пританцовывая, записывает и, привевая, оглашает посвященный нам дифирамб:

Теперь я дед!  
Теперь я сед!  
Но никогда, за столько лет —  
Нет, не встречал еще Корней  
Таких блестательных детей!

«Никогда за столько лет!» Как часто Корней Иванович, хлопочая за человека или книгу, подписывался под таким утверждением!

Убедившись, что все счастливы и совершенно покорены, Корней Иванович устремляется в проход между столами. Красные цветы (я стоял у прохода) задевают мою стриженную голову. Выбираюсь из-за стола и бесчувственно, как лунатик, следую за Чуковским.

На ступенях с ним прощаются библиотекарши, бегут наводить порядок в читальне. Корреспондентка «Пионерской правды» провожает Корнея Ивановича до канделярии дворца. При всей блазорукости отчетливо вижу и запоминаю ее лицо. Потом я ее встретил в легко узнал — поэтесса Нина Пушкинская. Значит, я крутился совсем рядом с Чуковским, но он ничего не заметил.

Он заходит в двери флигеля, возвращается оттуда, большими шагами шествует мимо меня. Белая рубаха и красные цветы быстро удаляются. Бегу, догоняю, дергаю за рукав. Чуковский оборачивается, наклоняется, его лицо совсем близко.

— Корней Иванович! — сообщаю с отчаянием в голосе. — Я стихи пишу!

Чуковского это сообщение почему-то не удивило:

— Пишете? Ну, читайте!

Первый раз в жизни ко мне обращаются на «вы»!

Мы стоим у ограды дворца. За прутьями решетки стоят прохожие. Вынимаем книжечку, подвешенную к носу и ссылающимся голосом начинай:

К бессмертью человек давно стремится,  
Жизнь смыслом наделить желает он.  
Не веря в то, что он на свет родится,  
Природою на гибель осужден.

— Вам трудно читать, — встремился Чуковский. — Дайте-ка, дайте сюда вашу тетрадку! Кто вы? Валя? А фамилия? — Тетрадка упльвает в высоту, к глазам Корнея Ивановича, и оттуда гремит со вкусом произнесенное, новое для него и для меня самого литературное имя: Ва-лен-тина Бе-ре-стов!

— Там помарки, — шепчу я.

— Посмотрим, посмотрим, какие у Берестова помарки! — возглашает Чуковский.

Перелистав книжечку, он и вправду обращает внимание на исправленные или зачеркнутые строфы и совсем добреет, помарки ему нравятся: значит, перед ним не такой уж грамматик. (Те дрожат за каждое свое слово.)

И вот тот же голос, какой только что читал сказку, во вслушивание трубят:

О, гордый и смелый славян властелин,  
Племен кочевых разорителя!  
Куда во главе своих верных дружин  
Направил ты путь, победитель?  
То, гибельный жребий касогам избрал,  
Не скакает — летит беспощадный Мстислав.

— «Песнь о вещем Олеге»! — радуется Чуковский. Смиренно киваю. Да. Бесовестное подражание пушкинской балладе. Но мне так хотелось попробовать...

— Он выдержал форму! — торжествуя, сообщает Чуковский неизвестно кому. — Он это умеет!

Роскошная картина богатырского поединка его почему-то не увлекает, баллада остается недочитанной. Корней Иванович уже без игры оглядывает меня с ног до головы.

— Вы плохо выглядите! Как ваше здоровье? Как вы пытаетесь? — осторожно спрашивает он.

Что-то бормочу насчет вкусной узбекской лепешки, которую нам в старом городе выдают по карточкам вместо хлеба.

Чуковский обнимает меня той рукой, в которой цветы. В другой он держит мою книжечку. Выходим на улицу. Красные цветы лежат на моем плече.

И уже против похожего на розовую мечты кинотеатра «Хиава» он начинает встречать знакомых. Вот, прихрамывая, идет худощавый человек с бледным лицом.

— Ташкентский поэт Владимир Липко! — на весь перекресток объявляет Чуковский. — Сейчас нам на дорогу Липко прочитает нам с Берестовским стихи про Виктора Гюго. Мне почему-то кажется, что Берестов любит автора «Отверженных».

Стоя на перекрестке в тени дерева, Липко отрешенно читает:

Один вскричал: — Прощай, Валерия!  
О, родина! — сказал другой.  
О сколько детских слез поверили я  
Тебе, тебе, Виктор Гюго!

— Молодец! — одобряет Корней Иванович. — Все слова на месте. Если б один сказал, а другой вскричал, вышла бы фальшь. Прочтите нам эти стихи еще раз!

Потом, за много лет общения с Чуковским, я убедился: его похвала — это не все. Возможно, он лишь поощряет вас или не хочет обидеть. Но если он просит снова и снова читать ту же вещь, значит, стихи нравятся.

Липко не успевает пропеть второй раз. Улицу по диагонали пересекает невысокий седой человек в головной рубахе.

— Лежнев! — восклицает Чуковский. — Автор «Правды о Гитлере»!

Я читал эту книгу и даже делал из нее выписки.

— Берестов читал вам замечательный антифашистский памфlet! — обрадовал Лежнева Чуковский.

Тихо возникает плотный человек с большими сияющими глазами и с орденом на лацкане пиджака. Это Лев Кинкто.

Анна-Ванна, наш отряд  
Хочет видеть поросся! —

теплой волной проходят в памяти смешные стихи из моего детства. Орден на уровне моих глах, и, пока Кинкто беседует с Чуковским, я впервые в жизни получаю возможность так близко созерцать орден, да еще полученный за смешные и радостные детские стихи.

И вот мы опять вдвоем. Чуковский время от времени замедляет шаг, чтобы я спослав за ним, и продолжает изучение моей книжницы:

Ужасен кровью ты, двадцатый век!  
Война шипит по всей земле обширной.  
Но в бедствиях велики настолько человек,  
Насколько незамечен в жизни мирной.

— Не пойдет! — категорически заявляет Чуковский.

Почему не пойдет? Не напечатают? Но я пока не собираюсь печататься. (Лермонтов тоже не спешил издаваться.) Корней Иванович ничего не объясняет, а меня уже гложет смутный стыд за эту строфу.

— Вот где начинаются стихи, — предлагает Чуковский:

В бой провожая сына своего,  
Как горестно седая мать рыдает,  
Но за святую Родину его  
Дрожащую рукой благословляет.

— Ну-ка, ну-ка, — волнуется Корней Иванович. — Куда он поведет стихотворение?

Как детям тяжело любимого отца  
Утратить навсегда еще в начале жизни,  
Но и они напустяют боица:  
«Иди, отец, и верен будь Отчине!»

— Именно туда, куда надо, — с удовлетворением сообщает Чуковский словно бы о пияте не мне, а какой-то невидимой аудитории. — Как это верно! Взрослый сын, молодой отец уходит на смерть. И остается (Чуковский наклоняется ко мне) ми с вами, дети и старики.

И он идет, покинув милый дом...

Корней Иванович несколько раз трубным голосом повторяет:

— «И он идет!» Бог мой, он и это умеет! Ему интересно, кто сейчас мой самый любимый поэт. Им оказывается Джордж Гордон Байрон в переводах П. Козлова и О. Чюминой. (Не могу понять, почему я не называл Лермонтова.)

— Он обращает внимание на переводчиков! — ликовет Чуковский. И рассказывает, что в 1906 году, когда его, юного редактора сатирического журнала «Сигнал», должны были упрятать в тюрьму, Чюмина была в числе тех, кто внес за него крупный денежный залог.

— Да, Чюмина, Чюмина, — повторяет Корней Иванович, листая мою тетрадку. (Я-то думал, что сле-  
дую великому Байрону, а на самом деле подражал еще и П. Козлову и О. Чюминой, и Корней Иванович это угадал.)

Чуковский спрашивает, кого из старых русских поэтов я знаю и люблю, читал ли я Ивана Козлова или, скажем, Карамзина.

— Да, я их читал, — складно, как на экзамене, отвечаю я. — Отдельные стихи Евгения Баратынского и Ивана Козлова я знаю по книге «Поэты пушкинской поры» с комментариями Орлова и Цезаря Вольше.

— Он прирожденный литератор! — констатирует Чуковский для своей невидимой аудитории. — Он читает комментарии! Он знает, кем они сделаны! — И победительно озирается: теперь аудитория нечего возразить.

Правда, я иногда рифму «восходит — бродят» или «воскликнешь — обещанья». Это и без того бедные рифмы, и Чуковский умоляет меня в дальнейшем хотя бы согласовывать их роде, падеже.

Сворачиваем на тенистую улицу Гоголя. За зданием театра музыкальной комедии, где перед кассами толпятся девушки и убежавшие из госпиталя раненые пешего цвета халатах, Корней Иванович останавливается, и мы любуемся плакучей бересой, похожей на фонтан из белых в темную крапину струй и сверкающих темно-зеленых брызг.

Гоголя, 56. Белый двухэтажный дом. Шумный пыльный двор. В углу дверь в комнату, где живет семья Чуковских. В другом конце дома вход в кабинет Корнея Ивановича. Чуковский приглашает меня завтра же постучаться в ту или в другую дверь.

Дальше все теряется в каком-то блаженном тумане...

Я решился прийти только через неделю. Чуковский разделся со мной обед в кабинете (пустая комната, где был обжит только один угол у окна: стол, тахта, полка со старыми книгами и новыми папками). Мы ели суп из кормовой свеклы прямо за письменным столом. Корней Иванович отодвинул в сторону ста-

рое издание своих «Рассказов о Некрасове» и рукопись перевода узбекского багатырского эпоса «Алпамши» (ее прислали на рецензию). Он на минуту раскрыл рукопись и прямо-таки полакомился внутренними рифмами, которых тут было избыточно.

Потом тихо и бережно от тронул темы, на какие я беседовать не собирался: спросил о быте нашей семьи, о нашем бюджете, рапортире, гардеробе. Это было на него не похоже. Как я успел заметить, Чуковский говорил с людьми сразу о стихах, о книгах, без всяких там «как поживаешь?» (Это мне бесконечно нравилось.) Но тут у него была своя цель.

Корней Иванович сказал, что с ним сейчас живет четырехлетний внук Жени, скоро он нас познакомит. «Мой сын Боба, Женин отец, — Чуковский подбирал слова, — он был... до войны он был инженером».

И начал называть меня на «ты». Неловкость исчезла. Рассказывая о маме, работнице текстильного комбината, о брате Диме, о Калуге, об отце, о том, как мама в кинотеатре «Хижа» видела хронику, и там был человек, очень похожий на моего отца.

Приходит Квятко, и мы идем гулять.

— В прошлый раз вы были с орденом, — вырывается у меня.

— Вот что волнует молодежь! — улыбнулся Квятко.

И начал рассказывать свои замыслы. Он хочет написать для детей стихи про затменение. Огни — пленники войны, узники в своих одиночках. Их никто не видит. Но придет день победы, и огни освободят.

Мы ходим по улицам, разговариваем. Чуковский и Квятко обращаются то друг к другу, а то и ко мне. Но я ничего не помню, кроме ощущения счастья, кроме каких-то ворот, возле которых мы постояли, любясь пирамидальными тополями, из лохматыми стволами, круто уходящими ввысь. Ни слова о пустынях, ни слова просто так. И стихи, стихи, стихи...

Даже чувство избраничества, даже мечты о славе как-то поутяли и волнили меня гораздо меньше. Только бы стать или остаться таким, чтобы эти люди всегда были миры рады и брали меня с собой. Идя с ними, я ухитрился даже посочинять: Анчик написал про Гюго, а я вот взмы卢 да и сочиню про Диккенса.

Кстати, Чуковский скоро уезжает в Москву. Будет хорошо, если я приду к нему и завтра и послезавтра, но только не очень рано, потому что по утрам он всегда работает.

Но я не решился принять ни завтра, ни послезавтра, я хотел написать что-нибудь такое, с чем не стыдно появиться у Чуковского. А там наш класс услышал под Янти-Юль на прополку хлопка. Выдирая из земли пышные, сочные, колючие и не колючие сорняки, я добиралась до благородных красноватых кустиков хлопка с листьями, похожими на листья сирени, и думал, что Корней Иванович, видимо, совсем уехал в Москву, теперь я его больше не увижу. Болезнь моя обострилась. Колхозный врач, поляк из Люблинна, обнаружил пеллагру.

Както вечером, поев, а вернее, попив мучной затирухи (ее варили на очаге в больших черных казанах), я лежал на коньке под тростником навесом и слушал, как у очага рычат псы, приходившие облизывать наши коты. Тут подошел кто-то из старших и сообщил ошеломляющую новость: меня срочно вызывают в Ташкент, мои стихи передавали по радио.

Какие стихи? Рукописи хранились в звериной норе, в тайнике, о котором никто не знал. Кто посыпал вынужденных их оттуда и обнародовать без разрешения автора? (Ведь после встречи с Чуковским почти все мои стихи стали казаться мне жалкими набросками. Я не выбросила их только потому, что мой любимый

Лермонтов в зрелом возрасте сумел кое-что сделать из своих отроческих строк и замыслов. Вот я и за-прятала стихи поглубже.) Тут же я двинулся на станцию, не помня себя от волнения, прошагал двадцать километров. Стены глиняобитых домов розовели от зари и отбрасывали синие тени. Начиналась какая-то новая, непонятная жизнь.

Оказалось, виноват во всем Чуковский. Перед отъездом в Москву он занялся моими делами. Побывал во Дворце пионеров и посоветовал, чтобы меня непременно вовлекли в литературный кружок, где я мог бы подружиться с пишущими ровесниками. Был в Наркомпросе, в комиссии помощи эвакуированным детям, у энтузиастов, воспетых им в газетных статьях и в книжке «Война и дети», и просил, чтобы они заинтересовались моей семьей. Был на радио и сказал, что у одного мальчика из Калуги есть стихи о войне, которые должны услышать дети и взрослые. Был у Алексея Толстого и вместе с ним добился, чтобы мне дали путевку в санаторий. И научил, как меня найти, чтобы я мог воспользоваться этой путевкой: меня отыскали по адресу на библиотечном формуларе. После санатория меня долечивали в больнице.

Теперь то ты, Корней Иваныч,  
Не опасайся мрачных снов.  
Могли б меня увидеть на ночь,  
Я снова молод и здоров! —

доказывал я оттуда.

Таким образом, я обязана Чуковскому еще и жизнью.

Лет через двадцать после нашей первой встречи я сочинил несколько книжек для детей дошкольного возраста и был приглашен в кунцевский детский сад. Я никогда не выступал перед малышами и очень робел. Я совершенно не учел одной из важнейших заповедей Чуковского: «Главная особенность наших дошкольных стихов заключается именно в том, что они должны быть созданы для чтения вслух перед большими коллективами детей». Вот я и не знал, что делать с такой необычной публикой. Зато публика почему-то прекрасно знала, что делать со мной, и этим спасла меня от полного провала.

Публика подсказывала мне рифмы, и я понял, что с малышами во время чтения надо играть в рифмы, публика после выступления дала мне понять, что я сам должен спрашивать обо всем на свете, а не дожидаться их вопросов. Потом меня потащили к пианино, воспитательница заиграла, дети запели. Пойют и разочарованноглядят на меня. Делать нечего, я запел.

А когда воспитательница заиграла плясовую, дети хватят меня за руки, затанцуют в круг и, не ожидая возражений, потребовали: «Вы будете с нами плясать, потому что вы — писатель!» Делаю несколько символических па, хочу выбраться, не тут-то было!

Пляски кончились. Отдышалась, подхожу к воспитательнице:

— Почему ваши дети считают, что писатели не-пременно должны играть с ними и плясать?

— Совсем недавно был Корней Иванович! — прописала воспитательница.

Оказалось, он, тогда уже восьмидесятилетний патриарх, поднял здесь такую волну радости, что она не углегасла после его ухода, а поднялась снова, подхватив заодно и меня.

...Совсем недавно был Корней Иванович.



Галина  
НИКУЛИНА

# ТРИ ПИСЬМА

В июле 1973 года  
исполнилось  
100 лет со дня смерти  
Ф. И. Тютчева — поэта,  
о котором Тургенев писал Фету:  
«Милый, умный,  
как день умный  
Федор Иваныч...»  
и сам Л. Н. Толстой говорил,  
что без книжки  
стихотворений Тютчева  
«нельзя жить».



едор Иванович Тютчев прожил за границей 22 года (и 20 лет из них в Мюнхене). В 1821 году поэт окончил Московский университет, а в 1822 году был назначен сверхштатным чиновником при русской дипломатической миссии в Мюнхене. Что занимало ум поэта в те годы? Чего питало его творчество вдали от дома? С кем он был близко дружен? Мюнхенский период жизни Тютчева известен неподробно. Сохранилось всего несколько писем поэта, присланных им из Германии. Но таких достоверных свидетельств мало, и, может быть, поэтому биографами Тютчева написано о годах, проведенных им вне России, немного. В распознавании духовной жизни поэта бессыльны отчеты чиновника дипломатической миссии Ф. И. Тютчева (кстати, эти бумаги лежат в архивах и поныне).

И. С. Аксаков — исследователь и почитатель поэзии Тютчева — обвинял Федора Ивановича в том, что в некоторые периоды его жизни он был полностью оторван от России, не связан с родиной. Это обвинение опровергается многими фактами и убедительнее всего самой тютчевской поэзией.

Вообще судьба Ф. И. Тютчева была несколько странной (некоторые пишущие о поэте даже говорят о парадоксах в его жизни). Можно предположить, что эта странность судьбы — свидетельство противоречивой натуре Федора Ивановича. Великий поэт не считал поэзию, литературу своей профессией, никогда не стремился к публикации своих стихов... Дальновидный политик, пронзительного ума человек, томившийся светской жизнью, он был завсегдатаем светских салонов, блестательным остроумцем.

В статье о Ф. И. Тютчеве К. В. Пигарев пишет: «А. Н. Толстой был прав, говоря о поэте, что он «хотя и был придворным (поэт имел звание камергера), но презирал придворную жизнь».

Тютчев был дважды женат — и первая (рано умершая) и вторая его жены были иностранками, но, видимо, самое глубокое, мучительное чувство он испытал к русской женщине Елене Денисовой. Они встретились, когда ей было 24 года, а ему 47 лет. Она умерла 38 лет от роду, оставив сиротами их внебрачных детей.

Тютчев посвятил Денисовой строки глубоко человечные, ставшие классикой русской поэзии. «И я один, с моей тупой тоскою, хочу сознать себя и не могу — разбитый член, заброшенный волной, на безыменном диком берегу...» «О, как убийственно мы любим! Как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей!»

Смерть Денисовой Тютчев переживал тяжело. О его смятении рассказывают не только стихи, но и письма поэта, воспоминания современников. В 1928 году издана небольшая книга Георгия Чулкова «Последние любви Тютчева». Вот некоторые из тютчевских строк: «Все конечно... Вчера мы ее хоронили... что это такое? Что случилось? О чем это я вам пишу — не знаю... Во мне все убито: мысли, чувство, память, все... Я чувствую себя совершенным идиотом. Пустота, страшная пустота. И даже в смерти не предвижу облегчения. Ах, она мне на земле нужна, а не там где-то...» (Это отрывок из письма к А. И. Георгиевскому — мужу сестры Денисовой.) Ему же Тютчев пишет из Женевы: «Память о ней — это то, что чувство голода в голодном, ненасыщенно голодном. Не живется, мой друг Александр Иванович, не живется... Будь это малодушие, будь это беспылье, мне все равно. Только при ней и для нес я был личностью, только в ее любви, в ее беспредельной ко мне любви, я сознавал себя...» И еще спустя некоторое время Федор Иванович пишет: «Вы зна-

те, как я всегда гнушался этими мимо-поэтическими профанациями внутреннего чувства, этою постыдной выставкой напоказ своих язв сердечных.. Боже мой, Боже мой! Да что общего между стихами, прозой, литературой, целым внешним миром и тем... страшным, невыразимо невыносимым, что в меня в эту самую минуту в душе происходит, — этой жизнью, которой вот уже пятьдесят месяцев я живу и о которой столько же мало имею понятия, как о нашем загробном существовании».

В Германии Тютчев жил молодым, еще не испытавшим чувства к Денисовой, которое несомненно внесло в лирику поэта скорбные поты.

Однако уже стихи, написанные молодым Тютчевым, содержат мысли о мимолетности человеческого бытия. Пoesия немецкого периода занимает значительное место в творчестве поэта. Среди стихотворений тех лет бессмертные строки: «Весенние воды» («Еще в полях белеет снег, а воды уж весной шумят...»), «Silentium» («Молчи, скрывайся и гаси чувства и мечты свои...»). А. Н. Толстой писал о «Silentium»: «Что за удивительная вещь! Я не знаю лучше стихотворения».

В пушкинском «Современнике» за 1836 год были напечатаны 16 стихотворений, связанных общим названием: «Стихотворения, присланные из Германии». Стихи его продолжали печататься на страницах «Современника» вплоть до 1840 года.

Хорошо известно, что, живя в Германии, поэт не только переводил поэзию Гейне, но и был с ним в дружеских отношениях. Есть письмо Гейне к Тютчеву — одно из свидетельств дружбы двух великих поэтов. Оно было написано 1 октября 1828 года из Флоренции. Ответ Тютчева немецкому поэту был, видимо, утерян, — его судьба неизвестна.

Живя в Западной Германии, я обратилась по нескольким адресам, надеясь узнать неизвестные нам подробности из жизни Ф. И. Тютчева в Германии. Вот что мне ответили.

#### Письмо первое — из городского архива Мюнхена.

«Человек, о котором Вы запрашиваете, занесен в городской архив в регистр иностранцев, который велся с 1825 года. Его зовут Федор фон Тютчев, 35 лет, секретарь русской императорской миссии в Турине, уроженец Москвы. Тютчев прибыл 16 июня 1838 года в Мюнхен и жил на Бриннерштрассе в доме под номером 4/1, принадлежащем фон Хайнштейну, со 2 июля он жил на Виттельсбахерплатц, 2, 10 июля он выехал в Линдау. Он вернулся 7 ноября 1838 года и вновь жил на Бриннерштрассе.

1 июля 1839 года он выехал в Нюрнберг. Его сопровождал каммергер Маттиас Хольд. Когда он вернулся в Мюнхен 6 сентября 1839 года, вместе с ним приехали его супруга и трое детей: Анна 10 лет, Дарья 5 лет, Катерина 3 лет — и губернантка Катарина Жардин 24 лет...»

Я не стану дальше цитировать это длинное письмо, которое скрупулезно точно воспроизводит все адреса, даты отъездов и приездов Ф. И. Тютчева вплоть до 1842 года — данные, занесенные в книгу более ста лет назад.

Любопытно одно обстоятельство: поэт жил в Мюнхене с 1822 года, в книге же появилась запись только в 1838 году. Это можно объяснить тем, что именно в те годы Тютчев вынужден был подать в отставку и с того времени жил за границей не как официальное, а как частное лицо. Подтверждение этому мы найдем в другом письме. Есть в ответе из архива одна неточность. Известно, что Ф. И. Тютчев родился в Орловской губернии, а не в Москве. Но вряд

ли можно предположить, что ошибся регистратор. Скорее всего сам поэт называл Москву своей родиной. Заканчивается письмо из архива следующими словами: «Так как Генрих Гейне в Мюнхене был в 27 году, а пребывание Тютчева в этот период не доказано, нельзя с уверенностью говорить, встречались ли здесь поэты. Я рекомендую вам по этому вопросу обратиться в архив Гейне в Дюссельдорфе».

Но сохранились письма Генриха Гейне, в которых он называл дом Тютчевых в Мюнхене «прекрасным оазисом», а самого поэта своим лучшим другом той поры. И достоверно известно, что поэты встречались в Мюнхене в конце 1827 года.

Стороннему глазу письмо из архива может показаться скучным перечнем дат и событий. В глазах исследователя эта голая хронология может стать бесценным даром, ключом к долгой тайне. Хронология способна опровергнуть догадку, многие десятилетия принимавшуюся за истину, но может и подтвердить ее.

Все письма я отдаю К. В. Пигареву — доктору филологических наук, правнuku Ф. И. Тютчева, исследователю творчества поэта. Кирилл Васильевич тотчас же принимается за чтение. Не отрывая взгляда от бумаги, он читает и переводит письма вслух, волнуясь, изредка взглядывая на меня, чтобы увидеть на моем лице поддержку без конца повторяемого им: «Интересно, очень интересно...»

— Значит, в Линдау Федор Иванович выехал 10 июля 1838 года! Вы ведь знаете, что в Линдау было написано поэтом его первое стихотворение на французском языке?

— А вот еще совсем неизвестный факт — поездка в июле 1839 года в Нюрнберг. Любопытно.. Вообще все эти точные адреса я вижу в первый раз.

А дело в том, что датировка стихотворений Ф. И. Тютчева двадцатых — начала пятидесятых годов очень затруднена. Автографы стихов, как правило, не датированы. И потому указания времени их написания часто лишь предположительно. Биографам, исследователям творчества поэта, основанием для определения даты служат почерк, который существенно менялся на протяжении жизни поэта, водяные знаки бумаги, целое множество других, по сути, косвенных признаков. Вот почему даты отъездов и приездов Ф. И. Тютчева, адреса, по которым он жил, так важны: они могут уточнить время создания тех или иных строк, сыграв тем самым немалую роль в исследовании творчества поэта.

Из архива Гейне при земельной и городской библиотеке Дюссельдорфа пришел следующий ответ: «...Ознакомстве Гейне с Тютчевым, к сожалению, могу дать данные из опубликованных источников, а именно из писем Гейне, изданных Фридрихом Хиртом и подробно прокомментированных, а кроме того, из бесед с Гейне, собранных Х. Хуобеном.

Есть одно письмо Гейне к Тютчеву (речь идет об известном нам письме. — Г. Н.) от 1 октября 1848 года из Флоренции, первоначально записанное по-французски, во переданном в немецком переводе Штроманом, который впервые опубликовал письмо в 1863 году. К сожалению, с тех пор оригинальная рукопись исчезла, и всякое указание на это, если бы мы могли помочь вам, было бы для нас в высшей степени важно. Немецкая редакция этого письма вновь отпечатана в названном издании Хирта».

Далее перечисляются все письма Гейне, в которых упоминается Тютчев и его семья.

«Хуобен приводит высказывания Гейне в 1850 году о его мюнхенском периоде, в котором упоми-

нается графиня Ботмер, сестра жены Тютчева, и посвящение, которое Гейне подарил ей тогда. Хоубен упоминает одну запись в дневнике Фарнхагена фон Эннес в 1853 году, из которой следует, что Тютчев, должно быть, посетил Гейне еще раз в этом году в Париже. Будем очень вам признательны, если вы нам укажете другие рукописные свидетельства знакомства Гейне с Тютчевым».

Да, это известный факт: оба поэта действительно встречались в Париже в 1853 году.

— Почему Гейне писал Тютчеву на французском языке? — спрашивала я К. В. Пигарева.

— Федор Иванович, конечно, владел немецким, но французский его был совершенным, наиболее привычным для него, и, конечно, Гейне это знал.

П и сь м о трет е. Мюнхен. Государственная баварская библиотека.

«Просмотр адресных книг, имеющихся в Баварской государственной библиотеке, показал, что в 1835 году Тютчев жил на Каролиненплац № 1. Запись в адресной книге королевской столицы города Мюнхена за 1835 год дословно гласит: секретарь миссии Тютчев Федор И. Императорский русский камер-юнкер, Каролиненплац № 1. Тютчев находился на дипломатической службе в 1822—1837 годы в Мюнхене, в то время как в 1839—1844 годы жил в качестве частного лица и его адрес не значится в имеющейся у нас книге 1842 года. Архивного материала о Тютчеве в Баварской государственной библиотеке, к сожалению, нет. О мемориальной доске, сделанной в честь Тютчева, нам, к сожалению, ничего не известно».

О мемориальной доске я спросила по ассоциации с Баден-Баденом, со знаменитыми немецкими водами. Этот старый курорт связан с именами многих великих и будто полон теней прошлого. На одной из улиц Баден-Бадена стоит старый двухэтажный дом, увитый диким виноградом. На доме — мемориальная доска, которая заставила нас надолго остановиться. Она гласит, что в этом доме пять лет жил русский писатель Иван Сергеевич Тургенев. Известно, что и имя Достоевского связано с Баден-Баденом. Вот мне подумалось: может быть, в Мюнхене тоже есть свидетельство памяти о Тютчеве, ведь поэт здесь прожил 20 лет!

Увы, никакого мемориала не оказалось. Судя по записи в адресной книге, Ф. И. Тютчев достаточно часто переезжал. За этими перемещениями стоят сложные, порой драматические ситуации в жизни поэта: смерть первой жены, поездка в Италию, увольнение со службы за самовольный отъезд... Я отказалась от попыток найти дом в Мюнхене, связанный с Тютчевым, и обратилась к Аксакову. Правда, оказавшись на Каролиненплац, я было приняла один из особняков, как раз за тот, который мог хранить память о Тютчеве. Но все это не подтверждено документально.

«Мы рекомендуем вам обратиться в музей Тютчева в Мураново под Москвой, в котором в течение многих лет интенсивно ведется исследование о Тютчеве» — так заканчивается письмо из Баварской библиотеки.

Мураново. Холмы — то обнаженные, то укутанные лесом. Деревни с красными и зелеными крышами, нахлобученными на бревенчатые избы. Чуть поодаль от деревни среди бересстя старая усадьба. Усадьба, состоящая из хозяйств, которой были Ф. И. Тютчев, Е. А. Баратынский, Н. В. Гоголь, Аксаковы... Этот старый деревенский дом хранит бесценные богатства: интереснейший архив Тютчева и Баратынского, библиотеку — сотни великолепных фолиантов на нескольких языках, прекрасные портреты, дивную ме-



Федор Иванович Тютчев.

Если вы приедете в Мураново, в музей, непременно постоите у окна (у того, что выходят на старый пруд). Все влечет глаз неотрывно: застывшие волны всхолмленной земли, даль, непостижимая своей необытностью.

Удивительная атмосфера тютчевской усадьбы! Все в музее странно живо. Будто вот сейчас раздвинется громадный стол, который некогда звался «короконожкой», и сядутся за этим столом те, кто стал гордостью русского искусства.

К. В. Пигарев — директор Дома-музея Ф. И. Тютчева, еще раз читая письма из Западной Германии, неожиданно рассмеялся: «Стало быть, наш адрес нам подсказали в Мюнхене?» Оправданием мне служит давнее знакомство с Мурановым.

— Кроме неизвестных вам прежде адресов и дат, связанных с мюнхенским периодом жизни Тютчева, письма представляют для вас интерес? — спрашивала я у Кирилла Васильевича.

— Несомненно. Кое-что новое в сообщении о литературных исследованиях. И, кроме того, меня тронула осведомленность авторов. Письма будут храниться в нашем архиве.

— Знаете ли вы что-нибудь о письме Тютчева к Гейне?

— Нет, судьба его неизвестна.

**H**икто не научился еще обходиться без хлеба насыщенногоДаже те, кто во имя красоты и фигуры отказался от булок, батонов, паланци. Однако хлеб — понятие широкое, и нельзя вместить его только в рамки хлебобулочных изделий, изготовленных из пшеничной или ржаной муки.

В научно-исследовательских учреждениях, занимающихся селекционной работой, есть отделы, названия которых звучат для нашего уха несколько странно: например, отдел серых хлебов. Под хлебами серыми разумеют ячмень, овес и рожь. Кали «посадил» вас врач на диетическое питание, то получаете вы хлеб в виде овсяных каш или отваров. А кукуруза? Кто будет отрицать родство ее с хлебом?

Но и в привычном понимании хлеб хлебу — рознь.

Даже самый далекий от земледелия человек, и тот не мог не обратить внимание на то, что иной хлеб только-только из булочки, а уж черствый. Другой же лежит, лежит — и все как из пекарни. Или вдруг купит человек чудо-муку. Тесто из нее подъемное, пышное, хоть и сдобы не клади. А в другую опару чего ни кидай — все проку нет.

Выходит, пшеница пшенице не равна?

Именно так. Хлебопекарную «душу» сорта составляют высокий процент протеина (усваиваемый белок) и клейковины, определяющей подъемность, «силу» муки. Но, даже обладая драгоценными этими свойствами, сорт может дать урожай, а может и обмануть надежды землемельца, подавив ему по осени каравай хоть и вкусный, да легковесный. А страшна велика, и ее малым хлебом не прокормишь...

Вот и работают селекционеры — творцы новых сортов — над тем, чтобы получить хлеб отменного качества и притом гарантированный.

Гарантирующий? Не слишком ли громко это сказано? Ведь нет да и не обойдет нас стороной недород. То зноем хлеб сожжет, то дождем, то болезнью колос скрущит. О какой же гарантии идет речь? Да и существует ли он вообще, гарантированный хлеб? И может ли селекция дать ее, эту гарантию? Даже самый засухоустойчивый сорт при чрезмерном зное гибнет, а самый влаголюбивый не выдерживает беспрерывных дождей.

Все так. Но достоинство хорошего сорта в том и состоит, что



Н. ИВАНОВА

# КАРАВАЙ ДЛЯ ВСЕХ

Рисунки  
Иосифа ОФФЕНГЕНДЕНА.



даже в неблагоприятных условиях он дает прибавку относительно других сортов. Он будет дольше сопротивляться жарким ветрам и с дождем потягивается. И, глядишь, «переспорит» погоду, дождавшись возведенного солнца или не менее желанного ливня. Хороший сорт обладает иммунитетом к многим десяткам болезней, от которых гибнут другие сорта.

И потому, говоря «гарантирующий хлеб», мы имеем в виду вовсе не чудо-сорт, что и огне не горит и в воде не тонет (он ведь смертен, как все живое), а разумеем ту прибавку, что способен дать хлеб хороших селекций. Прибавка эта уйдет в закрома и станет подспорьем в год неурожайный. Мы еще зависим от погоды, но можем и должны встречать беду не с пустыми сусеками. А нельзя ли добиться высоких урожаев за счет высокой культуры агротехники, обилия минеральных удобрений и мастерства пахаря? Можно. Но хороший хлеб дадут только хорошие сорта.

Преимущество селекции перед всеми иными «службами», работающими на урожай, состоит еще и в том, что, раз появившись на свет благодаря предвидению и труду селекционера, хороший сорт уже без каких-либо дополнительных затрат даст землемельцу прибавку. Даст за счет своих свойств, запрограммированных учеными. А повторенный многочтко во всех районах, областях и краях, на которые рассчитан (что называется районированием), сорт многократно и повторит такую прибавку, одарив пахаря хлебом и прибылью.

Селекция — это не что иное, как выведение новых и улучшение существующих сортов...

Говорят: селекция — академика Ремесло, селекция — академика Пустовойта. Почему? Разве же селекция неоднозначна?

А что разумеем мы под словами: проза Толстого, проза Тургенева? Что, если не особенности стиля, языка, творчества, почерка писателя?

Стиль селекции — научный метод или методы, которыми пользуется ученым при создании сорта. Каждый идет к цели своей дорогой, выбирая свой метод, который считается в данном случае, в данной работе наиболее эффективным. Творческий почерк селекционера связывают с его именем.

Селекция всегда, во все времена хлебопашества, была в почете. Ею историю земледелия мечтал

пахарь о хлебе, которому не были б страшны болезни, сжирающие злаковые, и который обеспечивал бы урожай. Хорошо зная, что каждой земле — свой хлеб, пахарь в мечтах видел сорт, который рос бы в сушне и в дождь, рос бы одинаково хорошо на севере и на юге.

Но мечта потому и оставалась мечтой, что, родившись в условиях юга, сорт, как бы хороши он ни был, на севере оказывался непригодным: мороз убивал его. Не имея понятия о сортах и селекции, крестьянин еще на заре земледелия выбирал в поле растения, что выстояли зиму, бессынже, мороз, жаркое лето. Он брал себе на пашню растения жизнестойкие. И хотел он этого или нет, он творил селекцию. Но, даже создав путем отбора хороший сорт, земледелец должен был семена размножить, повторять многократно, чтобы хватило засеять поле. Так создавалось семеноводство.

Одним из первых декретов Советской власти, подписанных Владимиром Ильичем Лениным, был декрет о семеноводстве. Этим декретом была учреждена Шатиловская Госсемкультура (в нынешней Орловской области). В ее обязанности было вменено размножать лучшие сорта местной народной селекции и продавать семена крестьянам. Это был верный путь борьбы с неуродством. Возглавил Шатиловскую Госсемкультуру и опытную станцию с тем же назначением академик Пётр Иванович Лисицын. Ему же несколько лет спустя был выдан первый в стране патент на рожь Шатиловскую.

Кстати сказать, Государственную патентную книгу, регистрирующую открытия и изобретения, открыла селекция...

Сегодня в стране работает огромная сеть опытных станций, сортопитательных участков, научно-исследовательских институтов, селекционных центров, координирующих научные направления селекции.

Селекция служит тому, кто ее создал, — земледельцу.

...В середине февраля прорвался на Кубань влажный и теплый средиземноморский ветер. В одну ночь свел снег и лед, таившиеся в межах. А к утру, стрельнув из натуги, сбросили с себя прошлогоднюю кору платаны в скверах города, и в первый же день стало очевидным, что подмерзло, что выстояло, где не худо бы подсечь озимые.

Но краснодарцы теплу не радовались, потому что февральское «окно» на Кубани — штука хоть и привычная, но коварная. За теплом (а температура в эти дни бывает здесь до 20 градусов) приходит обычно заморозок. Тут уж и сад и ниву берегут.

Убить озимые, оставшиеся неприкрытыми, — дело немудреное. И легких холодов хватит.

Но весна нынче пришла на Кубань всерьез. Солнце облило землю, обласкало хлеб, благополучно переживши зиму, и растеклось по городам и станицам края...

Командировка моя имела цель самую конкретную — Краснодарский орденов Ленина и Трудового Красного Знания научно-исследовательский институт сельского хозяйства (сокращенно — КНИИСХ), ставший недавно еще и селекционным центром для зоны Северного Кавказа...

...В КНИИСХ съехались недавно со всего Краснодарского края агрономы. И не с пустыми руками, а каждый вез караван. И было их у них мало и много — тридцать пять. Тридцать пять аптечных, румяных хлебов. Были они как близнец-братья. И по вкусу один от другого не отличался, хотя были испечены из разной муки. Караван были детьми одной, общей матери. Жизнь этим хлебам дал труд одного и того же человека — дважды Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственной премии, депутата Верховного Совета СССР, академика Павла Павловича Лукьяненко, автора всемирно известной Безостой-1. Его смерть недавно оплакивала вся страна.

Памятую о том, что для каждого поля — свой сорт, земледельцы других областей страны могли лишь завидовать краснодарцам, удвоившим благодаря Безостой урожайность в крае. Но вот сорт этот с невиданной для семеноводства скоростью стал «поглощать» тысячикилометровые расстояния и отбирать посевные площади у тех сортов, что испытывали веков считались в своих местах монополистами. И вездে давал «припек» к установившемуся здесь урожаю. Полуприенную песню о стоповодом урожае (а сто пудов — 16 центнеров) теперь исполняют конфузились: Безостая одним рывком Миновалась тот барьер, который считался когда-то пределом, мечтой. К удивлению всех (и пахарей и науки, следившей за Безостой пристально и ревниво), она стала наращивать урожайность, превысив ценившиеся для сортов свойства: удивительную отзывчивость на агротехнику и удобренение. Кубань, где родилось движение за высокую культуру земледелия, дивила страну, дав в 1970 году по 36,6 центнера с гектара. Это на полутора-то миллионах гектаров! (Здесь следует сказать в скобках, что Безостая оказалась как бы лакмусовой бумагой, которая безшибочно характеризовала крестьянину, рачительный он хозяин или нет: стояло ему «согречьши» в агротехнике, и сорт сбавлял урожай.)





Заняв колоссальные посевные площади в Союзе, Безостая пшеница Лукьяненко перешагнула наши государственные границы, разместилась на колоссальной пне Европы и по занятой под посевом территории спокойно и уверенно вытеснила с первого места в мире всех «конкурентов» — сорта иноземных селекционеров, еще недавно не подозревавших о существовании русского хлеба.

А он, этот русский хлеб, приобрел симпатии миллионов крестьян, завоевав в международном сортоспытании (которое оценивает достижения всемирной селекции и, по существу, является самым авторитетным сортоконкуренсом) первое место по урожайности и пластичности. (Пластичность — не что иное, как то вожделенное качество хлеба: приспособливаться к условиям самым различным.)

Стало быть, сорт, о котором мечтал хлебороб, создан!

И да, и нет.

Да — потому что уж очень много в Безостой от хлеба «из мечты». Нет — потому что современное земеделие предъявляет к сорту все новые требования. И селекционер обязан смотреть иначе даже в затраченный день, а в дали — куда более дальние...

Сегодня лукьяненковцы (так называют себя ученики и последователи академика) творят хлеб будущего. Но его черты видны в реальных пшеницах, уже созданных, райрированных еще проходящих сортоспытаний. Венгрия, Болгария, Румыния, Польша, Чехословакия, ГДР, не говоря уже о колхозах и совхозах нашей страны, сеют новые, «завоевавшие» земельство своей урожайностью сорта П. П. Лукьяненко — Аврора и Кавказ, выведенные на основе Безостой и улучшившие высокое качество ее и урожайность. 134 тысячи гектаров, засеянных в Краснодарском крае Авророй и Кавказом, дали в 1971 году кубанцам дополнительный доход в пять с половиной миллионов рублей.

Но уже задолго до этого селекционного триумфа, просьбив, что у Безостой появлялись чудо-сестры, ринулись в КНИИСХ председателя и агрономы колхозов со всех концов страны, чтобы получить заветные зерна: в краях, отдаленных от Кубани, Безостая «прижилась», стала быть, Аврора и Кавказ там тоже «приживутся».

Еще Безостая-1 славилась удивительной своей отзывчивостью на полив. Аврора и Кавказ и районировались как сорта интенсивного типа (дающие высокие урожаи) для влажных районов Северного Кавказа и орошаемых районов степи и лесостепи Украины, Закавказья и Средней Азии.

Новые сорта Лукьяненко еще больше приблизились к тому аграрному идеалу, الذي звался испокон веков у пахарей «хлебом для всех».

Но, может, это счастливая удача — такие сорта?

Может, к рождению Безостой привела случайность? Может, здесь ни при чем предвидение, программирование?

...Долгий путь к сорту. Раньше мерой его были десятилетия. Ибо всю свою историю селекция была зависима от природы: как ни работай, а больше одного поколения растения в год не получишь.

Нынче селекционеру служат теплицы и фитотроны, искусственно создающие нужный климат, служат специальные сейлки, комбайны и жатки, каких на обычных полях не встретишь.

Но, сократив время, селекция сути своей не изменила. Посеял, ученьи ждет результаты. Скрестив, тоже ждет. А получив долгожданный гибрид (или сорт), выбраковывает все, что не оправдало его надежда.

Путь к сорту — годы радости и отчаяния. Иной дороги нет.

В чем же секрет метода Лукьяненко?

В гибридизации, скрещиваниях. Она дает удивительные соединения наследственных качеств в одном организме. Скрестить растения можно половым или вегетативным путем. В селекции злаковых обычно выбирают первый путь. Лукьяненко проводил гибридизацию внутри вида, закрепляя в гибридах лучшие свойства многих поколений, причем поколений самых разных растений — ведь вид включает в себя и элитные (то есть самые лучшие) пшеницы и диких их родственников, экологически отдаленных и различных, то есть пронизывающих в разной среде, в разных условиях.

Но, получив гибриды путем такого скрещивания, селекционер безжалостно отбирал, выбраковывал (и в этом суть индивидуального отбора) растения слабые, неперспективные, оставляя лишь те, в ком желаемые качества налицо.

...Только какой же секрет этот метод, — коли работы Лукьяненко всегда были на виду, если гласность сопутствовала трудам академика, если КНИИСХ — координатор страны по созданию пшениц для поливного земледелия и его работа — ориентир для селекции таких пшениц!

Сегодня Кавказ и Аврора дают в производстве до 60 и даже более центнеров с гектара, а на отдельных полях — 70—80 центнеров. А при поливе урожай переступит так называемый биологический барьер, долгие годы определявшийся ста центнерами с гектара.

Впервые в мировой практике семеноводство новых сортов за один год после районирования заняли в стране площадь в 200 тысяч гектаров, а в прошлом году 2 миллиона гектаров хлебного поля Союза были отданы им.

Высокий урожай стал реальностью. На очереди — создание короткостебельных пшениц для поливного земледелия.

Земля и удобрения должны кормить колос, а не солому. Соломина должна быть короткой, но прочной. Вот по какому пути идет мировая селекция. Именно такой хлеб ждет земледелец. Он ждет полужариковых пшениц для орошаемого земледелия.

Уже есть Безостая-2, улучшившая Безостую-1... Уже находятся в сортоспытании Загадка-44 и Надежда-45.

И вдруг институт удивляется сортом неожиданным: зимостойкая Краснодарская-39. (Авторы — Лукьяненко и один из его молодых учеников, Ю. М. Пучков.)

— Башкишки, — ахают аграрники, — где же они вывели такой сорт? В Краснодаре и зимы-то не бывает...

Это как сказать... Случается, что и на Кубани любят заморозки, и тогда озимым приходится туда.

И не раз краснодарцам приходилось пересевать убить холодом пшеницу...

...Можно ли создать сорт, которому «минусы» на градуснике не страшны, можно ли научить пшеницу и бесснежке побеждать?..

Краснодарская-39 прошла испытания сорванными зимами и дала прибавку в сравнении все с той же Безостой-1 по три центнера с гектара.

В кубанском хлебе 1973 года есть зерно и Краснодарской-39. Сотни сортов служат нашему достатку, и среди них — знаменитая Безостой-1. Вот уже 14 лет она ежегодно приносит стране доход, исчисляемый в миллионах рублей. Только в 1970 году сорт этот высеивался в стране на площади в 7 миллионов гектаров. И только за счет его урожайности мы получали дополнительно зерна на 273 миллиона рублей. Так служит изобилию один сорт Лукьяненко. Один из сортов в великом разнообразии хлебном.

Но сорт — еще не все.

...С осени у соседей озимь удалась на славу... Сильная, ровная. И кубанские председатели, с тревогой и завистью сравнивая свои хлеба с ростовскими (а области именно здесь подходили друг к другу встык), корили теперь себя, что не рискнули посеять пшеницу в ранние сроки, под дождь. Уж больно хороши были соседский хлеб и некакист свой собственный.

Сейчас это поле тянуло к себе, как магнит, не давало спать по ночам и все ворочило ворочило одну думу: «Прогадали... Нужно было рискнуть». Но помнилось и то, что были уже у соседей почаны такие же ладные хлеба, а потом вдруг хирели и урожай давали не ахти какой. И чтоб укрепить надежду — «Должен же и наш хлеб выровняться!» — гоняли председатели в это плотное предпосевное время в Краснодар, в институт, по рекомендации которого и посеяли в оптимальные сроки, то есть сроки, определенные учеными практиками, как самые выгодные для развития и роста пшеницы. И в десятый раз выслушивая доводы директора института Т. С. Дубоносова и соглашаясь с ним, все же по-крестьянской привычке сомневаться переспрашивали скорее себя:

— Так думаешь, Тимофей Семенович, обойдется.. Догонят наш хлеб?

И директор, уставший говорить то, что десятки раз уже говорил, сбивший себе и гостям ноги, пока обходили опытные поля института, твердил:

— Ждите, мужики, осени...

А сам гасил улыбку, чтоб ненароком не обидеть председателей. Он-то знал, на чьей стороне правда...

...Рано посеешь — рано возвьмешь... Истина простая. А за вей то желанное, ради чего и идут на риск.

Возьмешь рано — и не страши уж тебе засуха, готовая иссушить наливающееся зерно, и град ни почем, коли хлеб в закромах, и дождь может лить ливнями, а ты уж кум королю, свят министру... Нет, что ни говори, а «рано» — штука соблазнительная. Ведь бывает, да и частенько, отсются хозяйства в самые первые сроки — и ничего, хорошо растет пшеница; и из-под снега озимая вышла красавицей, хоть и высока вымахала, а не попрела, и в колос хорошо пошла, и хлеб дала. И коли год был удачный, грех не рискнуть снова: авось, снова не потеряем хлеба и урожай соберем знатный. И сеют.

У краснодарцев на этот счет свою точку зрения.

Идет пшеница на удивление всем, обещая дать по 40 центнеров. И уж в налив пошла. А колос вдруг вместо того, чтобы силу набрать, жухнет, морщится, костнеет. (Так случилось в 1972 году в Одесской и других областях юга Украины.) Что за напаст! И у соседей, оказывается, беда та же. И думают, гадают, прикидывают председатели и агрономы: где, как, когда «упустили» хлеб. Роняют горькие слова: «Эх, опалило пшеницу... нет влаги... тяжело хлебу... Засуха... подсушило... может, с подкоркой проморгали...» И перебирают десятки других причин: они-де и погубили хлеб на корню. И только ранний сев оставил все подозрений: ведь перезимовала пшеница хорошо; какой уж тут предъявлять счет к сроку?

Краснодарцы рассказали мне об одном ростовском директоре совхоза, который готов был быть от горя, когда на глазах у него без всяких видимых на то причин стала гибнуть пшеница. Кубанцы, у которых поля к тому времени стояли сильной степной, понимали соседа. А приехавший по их просьбе Дубоносов, едва взглянув на пшеницу, сказал обезумевшему от беды директору:

— Садись в машину!

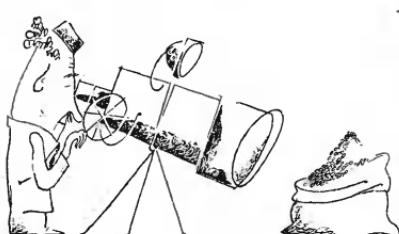
Тот было заурядился. Но Дубоносов приехал не один, а с молодыми хлонцами, научными сотрудниками, которые полуслуту, полуслезыно сказали:

— Вот что, друг: не поедешь — свяжем и повезем...

И он поехал с ними, оставляя и душу и сердце свое в потускневшем, с белесыми полосами по листьям хлебе.

Целый день ходил он по тем полям института, где были заложены опыты с разными сроками посева. Целый день смотрел и высматривал, трагог руками пшеничные стебли и листья, и все ругал себя последними словами за веру в «авось», за слишком ранние сроки посева, за то, что нес напраслину на удобренния и влагу. А прощающ, тихо сказал:

— Выходит, что вот этими самыми руками пять лет портила я хлеб... — И, хлопая дверцей машины, с темным, постаревшим вдруг лицом подвел разом чер-



ту подо всем, что мучило и палило огнем его хлебобарскую душу! — Внукам и правнукамажакажу: не хитри с природой! Не сей слишком рано!

Но почему? По каким таким причинам ранний сев озимых — риск? И не перестраховка ли это — оптимальные сроки? Ведь никто же не отспираивает, что и ранний посев может дать добрый хлеб.

В том-то все и дело, что может дать, а может и нет. А как узнать, где найдешь, где потерянешь? И чувствуя, что дело здесь зыбкое, неверное, еще в те времена, когда о хозяйстве судили по тому, чем раньше и быстрее оно отсеивалось, тянули хлебороб срок озимого сева. А когда проволочки становились очевидными и чуть ли не за горло брали начальство уличенного в промедлении председателя или агронома, тот «выкладывал» последние козыри своих:

— Не буде сеять рано. Я свою землю знаю... Я на ней жизнь прожил... Не даст она хлеба... коль в такие сроки отсеешься...

— Но отчего?

— От того самого, что под снег шпеница уходит высокой, сильной... И преет под белой шубой... А гниль еще никому хлеба не дала...

Разумно и доказательно. Только если согласиться с таким земледельцем, то выходит, что главный риск при ранних сеях — зимовка. А уж коли зима миновала и весна морозцем зелену не ударила, значит, все опасности проскочили удачливый хлебопашец.

Ах нет... Знали председатели, что и перед наливом да и в самый налив мог погибнуть ранний хлеб. Видели агрономы, как ячмень и шпеница, благополучно пережившие зимнюю стужу и выстоявшие от осени до весны, вдруг по неизвестным причинам начинали куститься, образуя раскидистую розетку, и поле разом приобретало жалкий, неухоженный вид худосочного пастбища. И притом (этот тоже было замечено не одним земледельцем) случалось такое превращение только с озимым хлебом, посевенным в сверхранние и ранние сроки. Иногда беда выбирала из десятков хозяйств одно. И председатель в таком случае и не пытался искать корней несчастья нигде, кроме собственной своей нерадивости, извода и себя и колхозников за несуществующую вину.

Двенадцать лет назад шпеницы закустившейся пшеницы испортили на Кубани множество полей. Будто невиданных размеров липай разъел лицо краснодарской житницы. Беда отдельных хозяйств стала бедой общей.

Половъке и Молдавия, Московская, Ленинградская, Воронежская области, Украина и Казахстан забыли тревогу: странный, «выродившийся» хлеб стал гостем и на их полях.

Почему же умрали шпеницы? Ответить на это могла только наука.

Что ж вызывает беду? Может быть, вирус?

Ученые подтвердили предположение — вирус, имевший на экране электронного микроскопа безобидный вид толстой палочки. Но как и когда вирус проникал в растение? Где тот единственным проход, через который он внедрялся, отворяя затем болезнь даже не двери, а врат?

Принимаясь за разгадку странной болезни шпеницы, Тимофей Семенович Дубинцов и его коллеги рассуждали примерно так: резко скостила урожай, болезнь (а теперь она уже не могла считаться таинственной, так как вирус, вызывающий ее, был найден) нанесла удар не только валовому сбору, но и качеству зерна. Так что вполне естественно было предположить, что зерно само несло в себе болезнь. А стало быть, сеять такое зерно — значит множить болезнь, повторяя ее из года в год.

Опыты, проведенные на экспериментальной базе КНИИСХ, в колхозе «Родина», Павловского района, и на госсортаучастке, доказали обратное. Безостая-1, высеваясь семенами самого первого срока посева, где наблюдалось стопроцентное поражение вирусными болезнями, дала здоровое поколение. Десятки раз повторенные опыты укрепили исследователей в мысли: вирусные болезни озимой пшеницы не передаются семенами. Заражение могло произойти только с помощью переносчиков — насекомых.

И тогда снова был поднят вопрос о раннем и сверхраннем посеве.

Но теперь никто не искал причин гибели урожая в том, как перезимовал хлеб. Под наблюдение брался тот период, когда хлеб становился собственно хлебом. И когда полный сиа колос вдруг начинал вырождаться...

Беду искали долго, а нашли неожиданно, «заподозри» (на всякий случай, чтобы исключить из круга переносчиков болезни) крохотное насекомое — цикадку.

Период массового появления цикадки на полях совпадал с периодом появления всходов шпеницы, посеваемой в ранние и сверхранние сроки. Насекомое — переносчик вируса превратилось в пшеничную смерть, стоило ему лишь единожды проколоть нежную листву. Хлебу, посенному в сроки оптимальные, подобные беды не грозили. Все стало очевидным.

Но единственный ли цикадка — переносчик вирусной болезни? Может, есть и другие вирусы и другие переносчики?

Сегодня, как доказали ученые — вирусологи института, дело обстоит так: озимая пшеница и ячмень поражаются вирусами полосатой мозаики шпеницы, мозаики шпеницы, желтой карликости ячменя и другими. Переносчики — цикадка, тля и клещи.

Как же избежать гибели хлеба? Краснодарские ученые выпустили брошюру с практическими рекомендациями хлеборобу. Вот выводы из нее:

Посев озимой пшеницы следует проводить только в строго оптимальный срок. Лишь тогда можно рассчитывать на высокий урожай.

Падалица колосовых культур и злаковые сорняки — вместе лище вирусов и место обитания цикадок — подлежат уничтожению не только на полях, где высевалась пшеница, но и на соседних.

Говорят, обжегся на молоке — дай на воду. Погубил хлеб ранним посевом — сей в оптимальные сроки. Ясней ясного. Но как же быть с зыбкой, которая сеется вместе с бобовыми на зеленый корм? Не станет ли такое поле вместе с цикадкой — переносчиком вируса? Не отказываться же от ценинейшего корма, богатого витаминами и каротином?

Если откровенно: коли такая возможность есть была бы, лучше не сеять. С ранним и тем более сверхранним сроком дело имело опасно. Но поскольку проблема кормов еще ждет своего решения, выход только один — вместо пшеницы сеять рожь. Она устойчивее к вирусам.

Только оптимальный срок посева озимых (для каждого сорта и края, для каждого района он свой) дает хлеб гарантированный. Это не домыслы. Это доказано наукой, подтверждено практикой.

Ранний сев при всей заманчивости — дело рискованное. А риск и современное земледелие должны стать понятиями несовместимыми...

...В Краснодаре это поняли.. Может, и потому тоже Кубань нынче собрала хлеб отменный...



МИХАИЛ  
БОТВИННИК

# НЕСОСТОЯВШИЙСЯ МАТЧ

**Ч**емпионат СССР (Тбилиси, 1937 г.) я пропустил: защищал кандидатскую диссертацию. Ильин-Женевский горячо меня порицал; Крыленко приспал угрожающую телеграмму («Ваше поведение ставит на ЦК...»)... Затем Крыленко «остыл». Если ранее он заявлял: «Ни каких матчей!» — то летом 1937 года объявил о проведении матча между мною и победителем чемпионата страны. Надо же было определить сильнейшего советского шахматиста... Победителем чемпионата был Левенфиш; ему было под пятьдесят. Наряду с Романовским Левенфиш был виднейшим представителем дореволюционного поколения мастеров. Техникой обладал незаурядной, спортивный характер отличный, и поэтому его шахматный век был продолжительнее, чем у Романовского.

Матч играли до шести выигранных, при счете 5:5 —ничья, и чемпион сохранил свое звание. Провел я матч слабо: в глубине души недооценивал партнера, но основных причин, конечно, состояла в том, что не так просто выполнить кандидатскую диссертацию за восемь месяцев...

Перед переездом в Ленинград (первая половина была в Москве) я лидировал в матче, но затем Каисса, богини шахматной игры, от меня отвернулась — видимо, считала (как Женевский), что нельзя отрываться от шахмат. Все же перед 13-й партией счет (по выигранным партиям) был 5:4, и не в пользу чемпиона. Но очередная партия была отложена в проигранной для меня позиции. Я настолько был недоволен игрой в матче, что не стал анализировать, позво-

ни утром арбитру Н. Д. Григорьеву и сообщил, что сдаю партию, и, стало быть, матч окончен.

— Куда спешить,— сказал Николай Дмитриевич.— Вы непременно должны донгризывать. Я присидел за доской всю ночь и нашел уникальный эндшпиль: пешки против ферза. У Левенфиша, правда, есть единственный путь к выигрышу, но за доской это найти невозможно. Сейчас продиктую вам анализ...

— Позвольте. Вы же главный судья, да по условиям соревнований участники ни с кем не имеют права советоваться.

— Именно поэтому и считаю своим долгом вам помочь,— сказал Григорьев.— Мне известно, что ваш партнер с начала матча пользуется помощью со стороны группы мастеров, а вы одиночки... (Николай Дмитриевич был прав. Даже Слава Рагозин со мной не общался. До матча я предупреждал Григорьева, что это условие будет не на пользу более щепетильному участнику.)

— Спасибо, но играл я плохо — к чему быть мечтаний? Будет еще много соревнований: партию я сдаю.

— Иного ответа я и не ждал!

Николай Дмитриевич был величайшим специалистом в области пешечных и ладейных окончаний. В 1936 году в Париже на конкурсе составителей пешечных этюдов Григорьев завоевал пять призов из шести возможных. Работал он много, как правило, по ночам, когда было спокойно; внешне был похож на Зощенко, говорил тихо и витиевато, но когда показывал свои анализы, всегда была мертвата тишина: слушатель покоряла глубина его тонких замыслов! Он анализировал и во время прогулок; однаажды сохранил жизнь лишь из-за находчивости вагоновожатого, который успел подхватить Григорьева на сетку. Григорьев играл большую роль в шахматной жизни — еще в 1925 году руководил международным турниром в Москве. Вместе со мной в 1927 году за-

Новая глава воспоминаний. См. «Юность» №№ 5 и 9 за 1971 год и № 2 за 1972 год.

Снимки Михаила Ботвинника и Александра Алехина (в верху) сделаны в 1938 году по окончании АВРО-турнира в Голландии.

воевал звание мастера, но долгое время относился ко мне с предубеждением — может быть, из-за конфликта в Одессе по поводу участия в чемпионате страны Ильина-Женевского<sup>1</sup>. Григорьев был правой рукой Крыленко: Николай Васильевич послал нас вместе к зампредсовнархому Антипову (по поводу международного турнира 1935 года) и Косареву (в связи с турниром 1936 года).

Григорьеву неприятно было исход матча не только потому, что моему партнёру помогала целая бригада. Советским шахматистам в те времена необходим был свой лидер, с которым были бы связаны надежды на завоевание первенства мира. И вот появился новый чемпион — Левенфиш. Положение запуталось; результат матча только ухудшил ситуацию.

Между тем вопрос о том, может ли Ботвинник представлять на мировой арене советские шахматы, не был праздным. На шахматном Олимпии было смутное время. Капабланка и Алехин были уже не в зенице, к чемпиону мира Эйве относились несколько скептически, акции молодого поколения (Флор, Решевский, Файн, Керес) повышались. Алехин вернул себе звание чемпиона и подписал с Флором контракт о матче (матч субсидировался знаменитым чехословакским обученным фабрикантом Батей). Чехословакия была вскоре оккупирована нацистами, и контракт потерял силу. Неопределенность сохранилась.

Осенью 1938 года в Голландии должен был состояться двухкруговой турнир восьми сильнейших шахматистов мира; отбор был строгим — даже Ласкер, после его неудач в 1936 году в Москве и Ноттингеме, не получил приглашения. Левенфиш настаивал, чтобы он представлял Советский Союз, с ним все же не согласились, и мне было поручено представлять СССР в АВРО-турнире (АВРО — популярная голландская радиокомпания), где играли чемпион мира Алехин, Капабланка, Эйве, Керес, Решевский, Файн и Флор. Снова прошу, чтобы меня послали с женой. Комитет физкультуры сообщает, что все в порядке, и мы приезжаем в Москву за документами, чтобы поездом отправиться на Запад.

Отъезд заутра, но дают один паспорт, жене в паспорте отказано. Что делать? Комитет физкультуры подчинялся тогда зампредсовнархому Булганину. Это неплохо, мы познакомились в 1936 году в Париже, когда возвращались из Ноттингема, — тогда Булганин возглавлял делегацию Моссовета. Звоню его помощнику по Госбанку и объясняю положение.

— Хорошо, — говорит он, — я доложу товарищу Булганину.

Настроение тяжелое. Погуляли, поужинали и легли спать. Утром выяснилось, что оба не могли заснуть. Идем в Комитет, на Скатертьный.

— Где вы пропадаете? Пустяк ваша жена немедленно заполняет анкеты.

Гора с плеч! Едем вместе...

Путь опасный — через фашистскую Германию. При переезде немецкой границы какой-то тип в штатском проверяет паспорта у пассажиров и ставит штемпеля. Увидел наши ярко-красные книжки — переполошился. Все было похищено по Маяковскому. Тип в штатском исчез. Момент был серьезный: наордэспрес не мог долго ждать. Но вот тип влетает в вагон, вручает мне паспорта и удирает, так и не закончив проверку паспортов у других пассажиров, поезд тронулся. В восемь вечера — Берлин, на первом полпред Мерекалов; НКИД просил его проверить, все ли с нами благополучно. Семь утра — Брюссель. Нас встречает полпред Рубинь. На следующий день — Амстердам.

Амстердам и сейчас хороши, но тогда это был весь-

ма изящный старинный город с несметным количеством велосипедистов — пешеходов почти не было (сейчас велосипед в Голландии не столь популярен, голландцы пересели в автомобиль). Но в Голландии были не только велосипедисты; тогда (так же, как и сейчас) были шахматисты. В 1935 году школьный учитель Эйве стал чемпионом мира, и это сыграло решающую роль в популяризации шахмат среди голландцев.

Перед турниром у всех участников были взяты расписки, что они полностью доверяют компании АВРО организацию турнира. А зря! Нас мотали по всей стране. Перед игрой вместо обеда — два часа в поезде. Играли голодные. Пожилые участники — Капабланка и Алехин — не выдержали напряжения. Когда возвращались в Амстердам, участники в поезде раздавали бутерброды. Однажды Алехин настолько проголодался, что всех растолкал в первый скватил свой провинт...

Иногда мне везло — за мой приезжал Николай Иванович Елизаров, шофер Экспортхлеба. Тогда дипломатических отношений с Голландией не было, и несколько сотрудников Экспортхлеба были единственными советскими оstromv в голландском oкеане — конечно, они переживали за меня. Николай Иванович на своем «студебеккере» доставлял меня в Амстель-отель на час-полтора раньше, чем приезжали остальные участники.

7 ноября, в первом туре, я проиграл Файну — он великолепно провел партию. Затем в третьем, седьмом и одиннадцатом турах я выиграл у Решевского, Алехина и Капабланки и примкнул к лидерам — Файну и Кересу. В двенадцатом — в равной позиции — зевнул Эйве качество и занял третье место.

Я видел Алехина два года — за это время он блестяще выиграл матч-реванш у Эйве. Внешне он изменился: обрюзг (нижняя челюсть стала массивной), когда успокоился, вино пить бросил. В АВРО-турнире ему было трудно.

Моя партия с Алехиным — планомерное использование в эндшпиле преимуществ, накопленных после дебютного промаха противника. Хотя партия была отложена при материальном равновесии сил, позиция черных безнадежна. Пшел я к Флору в номер: сражение за карточным столом было в разгаре,

— Он еще не сдал партии? — не прерывая игры, спрашивает Флор.

— Кто «он»? — также, между прочим, осведомляется С. Г. Тартаковер.

— Да у Алехина совсем плохо, — отвечает Флор.

— Вы шутите, — говорит Тартаковер.

Оказывается, Савелий Григорьевич направил в газету «Телеграф» подробный отчет о партии Ботвинник — Алехин, где сообщил, что пинья очевидна (пешек-то поронил!). Тартаковер немедленно звонит в редакцию, ему читают отчет. «Все хорошо, — говорит он, — менять нечего, только напишите, что черным пора сдаваться». Тартаковер вообще не видел партии, так что ответ был «каучуковым»; все решало заключение!

Гроссмейстер Тартаковер родился в Ростове-на-Дону, но никогда русским подданным не был. Хотя всю жизнь прожил в Австро-Венгрии, Франции и Англии (во время войны сражался у де Голля, под именем лейтенанта Картье), русский язык знал во всех тонастях — у него было много друзей среди эмигрантов в Париже. Была у него страсть к шахматам и картам: все, что зарабатывал в шахматах, игрывая в карты... Был талантливым шахматным писателем — по его книге «Ультрасовременная шахматная партия» учились играть советские школьники в 20-е годы. Характер имел милый и добрый: в 1946 году мы с женой и четырехлетней Олей, второпях по-

<sup>1</sup> См. «Юность» № 2 за 1972 год.



«Шахматный оркестр». Дружеский шарж конца 30-х годов.

кидая Гронинген (там был первый послевоенный международный турнир), забыли в отеле подушку дочки; позвонили из Гааги во Фрихе-отель Тартаковеру, и он с торжеством привез подушку прямо на прием в советское посольство...

Донгрирование нашей партии с Алехиным было назначено во вторую очередь, и я остался в отеле. Звонит Флор: «Алехин сдает партию, если я записал ход Аб5...» «Передайте, пожалуйста, Александру Александровичу: если он полагает, что я записал плохой ход, то ему не следует делать это предложение...»

В 1933 году в партии с Левенфишем я принял аналогичное предложение. За пять лет я стал опытнее. Подобная постановка вопроса нестычна, ибо партнер может записать и другой ход — тогда это предложение оказывается разведкой — и только. В таком незавидном положении я сам оказался в Нотtingеме перед донгрированием партии с Ласкером. При анализе неоконченной партии мне показалось, что Ласкер может добиться ничьей лишь в том случае, если он записал и запечатал в конверт единственный сильный ход. Во время обеденного перерыва я разыскал экс-чемпиона мира и предложил ничью при условии, что именно этот ход записан. Ласкер смущенно сказал, что записал другой ход, но что, по его мнению, ничья неизбежна. Тут настала моя очередь смущаться, я предложил доктору Ласкеру свои карманные шахматы, так как понял, что уже не имею права анализировать отложенную позицию — ведь тайпа записанного хода была нарушена! Взять шахматы Ласкер отказался, заявив, что доверяет мне, — наша партия закончилась мирным исходом...

Донгрирование с Алехиным состоялось, — хоть я записал другой ход, оно продолжалось недолго.

Партия с Капой носила иной характер. Мой партнер в защите Нимцовича обострил ситуацию: чья активность даст реальные выгоды — черных на ферзевом фланге или белых в центре и на королевском? Для поддержания инициатива пришлось пожертвовать пешку; затем начал эффективную комбинацию с жертвой двух фигур. Позиция выиграна. Сижу и обдумываю наиболее точный порядок ходов. Капабланка внешне сохраняет самообладание, прогуливается по сцене. К нему подходит Эйве: «Как дела?» Капа руками выразительно показывает: или да, или нет — явно рассчитывая на то, что я наблюдаю за этой беседой. Генпалый практик использовал последний психологический шанс: пытался винуть утомленного my партнера, что позиция неясная, — а вдруг от волнения последует какая-либо случайная ошибка? Чувствуя, что напряжение оказывается и силы исчезают; следует заключительная серия ходов (Капа отвечает немедленно — я должен осознать уверенность партнера в благополучном исходе партии), но ходов больше нет, и черные останавливают часы. Публика рукоплещет — редчайший случай: обычно зрители аплодировали только Эйве. Восемнадцать лет спустя во время Олимпиады в одной из квадратных Амстердама хозяин-шахматист выставил в витрине торт, где в точности была изображена позиция из этой партии.

Шаталась, поднимаясь со стула. Все уже закрыто, но жена уговаривает буфетчика продать бутерброд с ветчиной. Жадно заглатываю и прихожу в себя. На следующий день моя жена едет с мадам Капа-

бланкой в одном автомобиле. «Капа, — говорит Ольга (беседа происходит по-русски), — очень огорчался, когда проиграл Кересу. Вчерашнюю партию он оценивает иначе; он сказал, что это была «борьба умов». Капа хотел выиграть...»

Турнир окончен. Фини и Керес впереди. Организаторы (по таблице коэффициентов) объявляют победителем Кереса. Формула решения такова: призы поровну, а победил Керес!

АВРО нужен был победитель, еще до турнира было объявлено, что победитель получит преимущественное право на матч с Алехиным. Правда, из этого ничего не получилось: на открытии турнира выступил чемпион мира и по-немецки (Алехин говорил по-немецки превосходно, он его изучал с детства, французские его тоже был хорош, позже он изучил английский и последние свои книги писал прямо на английском) с выразительной фельдфебельской грустью зачитал заявление, где отклонял домогательства организаторов влиять на выбор претендента, и объявил, что будет играть с любым известным гроссмейстером, который обеспечит призовой фонд.

Это я напомат на ус: именно тогда надо было решать, вызывать ли чемпиона мира на матч. Когда увижу я Алехина следующий раз — неизвестно. Если ставить перед правительством вопрос о матче, необходимо было: 1) принципиальное согласие Алехина, 2) условия чемпиона. Что же делать?

Советуюсь с Миттеревым, заместителем управляющего Экспортхлебом (управляющий Нестлеров был в отпуске, в Москве), встречаю полную поддержку. Вот удача — наш полпред в Бельгии Евгений Владимирович Рубинин с женой Ольгой Павловной приезжают в Амстердам на последний тур. Вместе обедаем в Амстель-отеле. Было воскресенье — по воскресным дням (за ту же плату) полагалось усиленное питание. Вообще нигде и никогда в гостинице мне не пришло так вкусно есть, как в Амстель-отеле. Однажды (в воскресенье!), когда обед был на исходе, я заметил вслух, что к соседним столиком старушка англичаника «подхихиковнула». Жена стала смеяться, но сдержалась. Тогда уже мой (от съесты, конечно!) овалдил хохот. Только сдержалась я, начала хохотать жена. Дело плохо: знаками обзываю жене — уходи. Молоденец официант зарезался нашим настроением: подает десерт, помирая со смеху. Как только жена высокочила, я успокоился. Отказываясь от десерта: «Спасибо, слышком много», — кивало официанту и чинно покидало ресторан...

Такой же обед мы уничтожали вместе с Рубиниными. Евгению Владимировичу тогда было 44 года, держался он важно, медлительно. Сейчас ему 79, манеры те же (бедная Ольга Павловна погибла в 1942 году в деревне во время пожара). Евгений Владимирович, разносторонне образованный «гуманитарщик», с интересом знакомится в Амстердаме с новым для него шахматным миром.

Объясняю Рубинину ситуацию, за ним решающее слово. Тогда в Амстердаме он был для меня Советской властью. Полпред дает свое благословение (он видел нашу встречу с Алехиным за доской в последнем туре, и ему понравилась моя уверенность).

На закрытии турнира подхожу к Александру Александровичу, прошу назначить мне аудиенцию. Алехин соображал быстро, радость промелькнула у него в глазах, он понимал, что сыграть с советским шахматистом матч на первенство мира — наиболее простой, а быть может, и единственный путь к примирению с Родиной. «Завтра в Карлтон-отеле [Алехин жил отдельно от всех, чтобы не общаться с Карабланкой — они были врагами], в 16 часов...»

Пригласил я с собой Флора (нужен был авторитет-

ный свидетель — разве Алехин не связан с бело-эмигрантами? Осторожность необходима). Но Александр Александрович еще со временем Ноттингема относился ко мне сердечно. Шахматист Алехин чувствовал мое восхищение — это его обезоруживало: только мы увиделись перед турниром в Амстердаме, он завязал беседу о новой звезде — Смыслове (Алехин нашел ошибку в одном опубликованном Смысловым анализе!). И сейчас он был приветлив к нам обоим (ведь ранее он собирался играть матч с Флором. Флор, конечно, переживал, что сейчас не он, а другой договаривается о матче, но не подавал вида).

За чашкой чаю (к удивлению Флора, чемпион оплатил счет) Флор меня предупреждал, что Алехин склоняется... условия были быстро согласованы: если матч состоится в Москве, то за три месяца чемпион должен быть приглашен в какой-либо турнир (для приобщения к московским условиям); Алехин был готов играть и в другой стране (только не в Голландии!) — решать вопрос о месте соревнования он предоставлялся мне. Призовой фонд — 10 тысяч долларов (не так уж много, ведь будет экономия на моей доле приза, мне-то денег не надо).

— А сколько должны получить Вы?

— Две трети — в случае победы.

Это несколько затрудняло мое задание; проще было просить твердую сумму, независимо от результата матча.

— То есть шесть тысяч семьсот долларов?

— Да, конечно.

— Эта сумма достаточна и при ином исходе матча?

Алехин засмеялся и кивнул головой.

Условились, что я направлю формальный вызов по указанному им адресу в Южную Америку (Алехин где-то в Тринидаде собирался покупать земельные участки); если вопрос будет решен положительно, и что, когда все будет согласовано, о матче будет объявлено в Москве. До этого все держится в строжайшем секрете. Крепко рукопожатие, и мы расстались, чтобы никогда более не увидеться.

После турнира было проведено совещание участников — уникальное в истории шахмат. Одновременно в зале было семеро участников (Алехин и Карабланка присутствовали по очереди). Обсуждался вопрос о создании «Клуба восьми сильнейших» с тем, чтобы клуб утвердил правила проведения матчей на первенство мира. Алехин был согласен, чтобы призовой фонд состоял из 10 тысяч долларов за одинаковое исключение: Карабланка должен собрать 18 тысяч долларов (10 тысяч золотом — на таких условиях был проведен их матч в 1927 году)... Каждый член клуба имеет формальное право вызвать чемпиона. Файну и Эйве было поручено подготовить и разослать проект правил (никто не предлагал принять ФИДЕ К к решению этого вопроса).

Обратный путь был далеким — через Бельгию, морем до Скандинавии, поездом на Стокгольм (познакомились с А. М. Коллонтай — остались впечатления о приветливости, энергии и старости) и через Ботнический залив и Финляндию — на Ленинград.

Еду в Москву отчитываться о командировке. Звоню уже знакомому помощнику Булганина и на следующий день сижу в кабинете председателя правления Госбанка и рассказываю об итогах турнира и о своих планах. Булганин не прерывает, внимательно слушает: «То, что вы мне рассказали, изложите в письме на имя председателя Совнаркома, я доложу лично. На конверте напишите мое имя и сдайте в экспедицию Госбанка». Совет был исполнен.

Вернулся в Ленинград и после нового года тяжело заболел. Стоматит, температура за 40. Звонок, входит фельдшер: «Получите телеграмму (прави-

тельственная»)... Читая: «Если решите вызвать шахматиста Аlexхина на матч, желаем вам полного успеха. Остальное нетрудно обеспечить Молотова».

Лишь два-три года назад, вспоминая этот эпизод, я случайно произнес текст телеграммы с кавказским акцентом и понял, что скорее всего она продиктована Сталиным. Это его стиль: особенно характерно «желаем» (а не желаю) и «нетрудно обеспечить!»

Как будто вопрос решен; в действительности все оказалось не так уж просто...

После болезни поехал я в Москву — причин было немало; следовало представиться новому председателю Комитета физкультуры Снегову, согласовать текст формального вызова на матч, убедить Комитет провести чемпионат ССР в Киеве, а в Ленинграде я продолжал находиться под наблюдением врачей и т. д.

Являясь на Скатертный для беседы с завотделом шахмат В. Снегиревым: «Как вы отноитесь к тому, что будет провозглашен лозунг — догнать Ботвинника?» Это что-то новое. До сих пор я считал, что должен завоевать первенство мира для Советского Союза; теперь, оказывается, 27-летний гроссмейстер должен играть не сильнее своих товарищей! Снегирев внимательно слушает меня...

Далее беседа со Снеговым — впервые чувствую, что не могу найти общего языка с лицом, от которого зависят моя шахматная деятельность. Молчание, перемежающееся с недружелюбными замечаниями. Все же месяца через два мое письмо Аlexхину было Комитетом отправлено, одновременно было объявлено о проведении чемпионата в Ленинграде.

Недружелюбие Снегова было первым проявлением противодействия матчу с Аlexхиным, которое иногда ослабевало, иногда усиливалось, но продолжалось семь лет — вплоть до смерти чемпиона мира. Тогда я не вспыпал, чем это было вызвано, хотя твердошел против течения. Сейчас думаю, что суть дела была в обычном человеческом чувстве — зависти. С одной стороны, наши ведущие мастера мечтали о том, чтобы чемпионом мира стал советский шахматист, с другой — многие из них сами надеялись прославить советские шахматы; некоторые же считали, что если не они, то пусть лучше никто.

Конечно, можно разлагать словами о том, что это нехорошо, но так было. Никто из них не высказывал, естественно, своих мыслей прямо. Нет, они рассуждали о том, что Ботвинник слаб и во всех случаях проиграет матч Аlexхину (то есть опозорят советские шахматы), или о том, что Аlexхин имеет такую политическую репутацию, что советский шахматист не может с ним встречаться за шахматной доской, и, более того, советские шахматисты (и в первую очередь Ботвинник) должны выступить против Аlexхина и потребовать, чтобы он был лишен звания чемпиона, и т. п. Конечно, эти мастера действовали таким образом в исключительных случаях, предпочитая прятаться за спины своих приятелей самого различного общественного положения.

Даже у Крыленко, который меня искренне поддерживал, бывали колебания. 1931 год, финиш чемпионата ССР. Фойе Политехнического музея заполнено до отказа; все хотели быть очевидцами встречи Ботвинник — Рюмин (я уже успел проиграть в турнире дважды и отставил от лидера на полочка; Рюмин шел без поражений). В дебюте получаю перевес, Рюмин жертвует пешку, чтобы перехватить инициативу; следует моя неточность в цейтноте, но в ответ — новые промахи черных, партнер останавливает часы. «Какой цейтнот!» — слышу знакомый голос. Наши глаза встречаются — Николай Васильевич поворачивается спиной и уходит. Крыленко явно сочувствовал москвичу Рюмину.

1936 год, комната за сценой Колонного зала, щипниш международного турнира. Через десять минут должна начаться партия с Рагозиным; у меня есть еще некоторые надежды догнать лидера — Карапланку. Меня утешают сделать ничью, чтобы Рагозин занял более высокое место в турнирной таблице. (Слава об этом, конечно, ничего не знала.) Крыленко на мой недоумевший вопрос только пожимает плечами. Тут же обращаюсь к Косареву. Выслушав, Александр Васильевич скомандовал: «Выигрывай, Михаил!» — он всегда был за меня.

На меня все это не оказывало влияния; разве только приходилось отвлекаться по пустякам. Я упрямно шел к поставленной цели.

Весной 1939 года в Ленинграде начинается чемпионат ССР. Фавориты, в том числе и Левенфиш, в неудачной форме; но выдвигается новичок — Саша Котов. Лишь в последнем туре, после выигрыша у Котова, я после шестидесятого перевала завоевываю звания советского чемпиона. Теперь, когда идут переговоры с Аlexхиным, это весьма важно!

Но главный итог турнира был не в этом.

С 1933 года я работал над методом подготовки к соревнованиям, искал оптимальный режим шахматиста во время турнира. Пожалуй, именно в чемпионате 1939 года был подведен первый итог этой работы. В турнирном сборнике была опубликована статья «О моих методах подготовки к соревнованиям. Турнирный режим», где говорилось и о дебютных системах, и об эндшпиле, и об изучении творческого и спортивного лица противников, и о распределении времени в течение партии, и как анализировать неоконченные партии и т. п. Эти вопросы были изучены и рассмотрены всесторонне. Соль метода, то, что отличало его от известных ранее, заключалась в характере подготовки дебютных систем. Дебютные новинки давно известны; обычно это какой-либо трюк или позиционная неожиданность. Такая новинка годится на одну партию. Как только она становится известной, она теряет ценность. «Самый гениальный ход не может быть повторен при данной ситуации в следующей партии», — писал Маяковский, сравнивая ход с рифмой.

Мне удалось разработать метод, при котором «дебютная новинка» оказывалась запрятанной далеко в миттельшпиле; она имела позиционное обоснование нового типа, она не имела «опровергения» — в привычном смысле этого слова. Лишь проделав большую работу, лишь преодолев шаблонные позиционные представления, лишь проверив контриде в практической борьбе, можно было найти истину и вместе с ней подлинное опровержение. Поэтому мои дебютные системы жили годы, из турнира в турнир приносили успех своему изобретателю. Иногда они подолгу находились в резерве, в ожидании того момента, когда другие к ним наконец подойдут и можно будет их применить на практике — тогда с помощью этих систем можно было развить недостаточно подготовленных партнеров. Не случайно, что когда эта система подготовки созрела (тот факт, что она была опубликована, не мог нанести прямого ущерба ее автору, ибо системой этой могут пользоваться лишь те, кто имеет талант исследователя и не избегает работы), в период 1941—1948 годов я победил подряд в восьми соревнованиях, в которых сыграл 137 партий и в них набрал 104,5 очка (76,3%!). Конечно, это был период, наиболее благоприятный для шахматного творчества (мне было 30—37 лет), но нельзя же все сваливать на возраст... Возраст создал условия необходимые, система подготовки — достаточные.

Был найден творческий метод, который позволил уверенно реализовать поставленную цель — завое-

вать звание чемпиона мира. Не только я стал играть лучше; некоторые гроссмейстера (Болеславский, Геллер и др.) также стали пользоваться этим методом, а основная группа получила необходимую информацию о том, в каком направлении теории начал туда трутиться... В период 1940—1960 годов советские шахматы сделали качественный скачок и в известной мере (так мне кажется) это было связано с системой подготовки. В партиях чемпионата 1939 года, применяя подготовленную защиту Грюнфельда, французскую защиту, защиту Нимцовича, мне удалось выиграть важные встречи — это и обеспечило общий результат.

Июль 1939 года. Живу на даче в Луге, у тестя. Вдруг появляется долгожданная фигура — Владимир Николаевич Снегирев.

Был Снегирев некрасив и лицом и всей своей внешностью, одевался не столько бедно, сколько некакуртоно. Прищухшее лицо, маленькие глаза, здоровенный нос, жаждие и бесцветные, гладко зачесанные волосы. Но это был самый большой шахматный энтузиаст-организатор, с которым мне пришлось иметь дело, личной жизни у него, видимо, вообще не было.

За непрезентабельной внешностью скрывался настойчивый, умный и целеустремленный человек. Он хорошо разбирался в людях, отнесся от себя болтузов и бездельников; всей своей деятельностью, скромностью, непоказанным энтузиазмом он завоевал доверие начальства и уважение шахматистов. Он установил правильные отношения с руководством Комитета физкультуры; был полпредом шахмат в спорте, ему доверяли, его поддерживали и не мешали... С утра до позднего вечера носился он, крепко обняв толстенький портфель, по Комитету, «пробивая» свои шахматные дела. Любопытно, что учился он в Москве в одной школе с чемпионом мира Верой Менчик. (Чешка по национальности, Менчик, хотя была по внешности типичной русской женщиной, никогда не имела советского гражданства. В 1926 году она выехала вместе с матерью и сестрой Ольгой — также известной шахматисткой, в Прагу к отцу, а затем в Англию к бабушке. В Лондоне Вера брала уроки у венгерского гроссмейстера Мароци, что оказалось решающим в ее шахматном развитии. В январе 1935 года я был в гостях у ее бабушки в Гастингсе, а в сентябре 1936 года мы с женой были в гостях у семьи Менчик в Лондоне. Жили они недалеко от советского посольства на Куинз-роуд, в доме, который отсыпался от проходивших под землей поездов метро, — квартирная плата была меньше. Вера и Ольга жили шахматными и карточными частными уроками. В 1944 году все они погибли от немецкой бомбы.)

Алексин прислал ответ, и Снегирев приехал.

Чемпион мира в соответствии с нашей договоренностью принял вызов и все условия, кроме одного: он уже не мог согласоваться с тем, что весь матч проходит в Москве. Алексин требовал, чтобы вторая половина матча была в Лондоне.

Мне поведение чемпиона не понравилось. Это было нарушением джентльменского соглашения и, кроме того, затрудняло организацию матча — надо было вести переговоры с Британской шахматной федерацией. Последнее, правда, меня мало беспокоило: англичане, конечно, пошли бы на это, если привозовой фонд обеспечен; но ведь надо опять обращаться в правительство... Я написал Алексину всевозможное, но твердое письмо, где настаивал, чтобы наша договоренность в Амстердаме была подтверждена и весь матч был бы в Москве. Снегирев тут же уехал в Ленинград, чтобы утром доложить в Москве руководству Комитета о моих предложениях.

1 сентября началась вторая мировая война, и первый этап переговоров о матче был на этом закончен; к этому формально вернулись лишь шесть лет спустя. Но, по существу, перерыва не было — вопрос о предстоящем матче красной нитью проходил через советскую шахматную жизнь тех лет.

Летом 1939 года Совнарком установил мне стипендию в размере 1 000 рублей в месяц — исключительный акт. Надо думать, это было по инициативе Снегирева. Шахматисты есть повсюду (даже в Совнаркоме), впоследствии я узнал, что зампреды единогласно высказались «за».

Решил учиться играть матчи — ведь с Флором и Левенфилем я играл не очень уверенно. Договорились мы весной 1940 года потренироваться со Славой Рагозиной. Играли в идеальных условиях: хороший режим, свежий воздух, тишина. Я легко прошел тренировочное соревнование, хотя раза два был на волоске от проигрыша. Осеню предстоял чемпионат СССР в Москве.

Это был тяжелый турнир. Много участников, мало выходных дней. Большой зал Консерватории обладает отличной акустикой. Зрители вели себя распущенны, шумели, аплодировали, акустика только ухудшала дело. Передавали, что после какой-то победы Кереса С. С. Прокофьев бурно зааплодировал. Соседы по ложе сделали ему замечание. «Я имею право выражать свои чувства», — заявил композитор. Но доволен ли был бы мой друг Сергей Сергеевич, если бы он участвовал в трио и после исполнения скрипичной партии зрители аплодисментами заглушали его игру на фортепиано? А ведь положение шахматиста хуже: пианист под аплодисменты мог бы и сальшинить, шахматист лишен этого права.

В турнире принимали участие новые имена — Керес (Эстония к тому времени была уже советской республикой), Смыслов, Болеславский... Конечно, основной интерес был связан с участием Кереса: кто теперь, при изменившихся обстоятельствах, должен представлять Советский Союз в борьбе за первенство мира с Александром Алексиным? Турнир не дал ответа на этот вопрос.

После десяти туров я лидировал, но затем первые мои подразделы, обстановка была малоподходящей для творческой сосредоточенности — в таких условиях я чувствовал себя беспомощным. Первые два места поделили Бондаревский и Лиценталь, Смыслов был третьим, Керес — четвертым, мы с Болеславским поделили пятое и шестое места. Было объявлено о проведении матча на первенство СССР между двумя победителями турнира. До декабря я не мог дотронуться до шахматных фигур — стол не принят был осадок от турнира, от нездорового ажиотажа (словно на стадионе), от пренебрежительного отношения к творческой стороне шахмат. В декабре я стал исследовать один вариант защиты Нимцовича и почувствовал, что дело пошло. Одновременно послал письмо Снегиреву, где иронизировал по поводу того, что чемпионом страны должен стать победитель матча Бондаревский — Лиценталь (оба они — шахматисты большого таланта, но высших шахматных достижений у них не было), в то время как у Кереса или у Ботвинника уже были крупные достижения в международных турнирах...

Снегирев был человеком тонким (сознавал, что этот матч для противоборства с Алексиным значения не имеет), он понял мой намек и взялся за дело, как всегда, бесшумно и энергично. Как он сумел убедить начальство, не знаю, он этого не рассказывал, но месяца через два было объявлено об установлении звания «абсолютного» чемпиона и проведении матчу-турнира шести победителей чемпионата в че-

тыре круга. Смысль, который вложил Снегирев в появление «абсолютного», был ясен: именно абсолютный чемпион СССР должен играть матч с Алексиным.

Готовился я по опубликованной уже системе, с некоторыми дополнениями. Поскольку в чемпионате я страдал от курева и шума, то играли мы с Рагозиным тренировочные партии при включенным радиоприемнике; после партии форточку не открывали, и спал я в прокуренной комнате. Жили в доме отбытия Ленинградского горкома партии в Пушкине, напротив лицей (там раньше размещался комендант Царского Села). Днем ходили на лыжах, анализировали, а вечером играли. Подготовилась я физически, технически и морально отлично, появился вкус к игре.

Итак, матч-турнир. Решающее событие произошло в третьем туре первого круга. Керес белыми применял в защите Нимцовича рискованный вариант. Этот вариант уже встречался в одной опубликованной партии и был неверно оценен — Керес и расположился на эту оценку. Как уже отметил, я начал подготовку к этому дебюту и проанализировал вариант весьма глубоко. Партия завершилась молниеносной матовой атакой.

После игры ухожу за сцену (играли мы первую половину в Ленинграде, в Таврическом дворце) пере-

вести дух. Брывается Снегирев и, скжимая руки (очевидно, чтобы сдержать себя), бегает вокруг и приговаривает: «Эм-Эм (так он величал меня всегда, когда был чем-то взволнован), вы сами не знаете, смысла не знаете, что сделали...» Видимо, Владимир Николаевич, наставая на организации матча-турнира, предсказывал мой успех и теперь торжествовал.

Потом переехали в Москву и играли в Колонном зале. И в Ленинграде и в Москве Снегирев блестяще организовал турнир. Тишины в Москве он добился простым путем: по среднему проходу гулял блюститель порядка в милиционской форме. Один раз недисциплинированный зритель был выведен из ограждения. В Ленинграде, где все места в зале были свободны индивидуальными научниками, зрители непрерывно развлекали Левенфельз, комментируя ход борьбы, поэтому и разговоров в зале не было.

Я выиграл все матчи, в том числе и у трудных для меня партнеров — Бондаревского и Альбентала (им оба я проиграл в чемпионате). Керес был вторым, отстав от меня на 2,5 очка. Смыслов был третьим. Стало ясно, кто должен играть с Алексиным.

Через два месяца фашистская Германия напала на нас, и шахматы отодвинулись далеко-далеко...

(Окончание следует.)

## ЮРИЙ ЗЕРЧАНИНОВ

# e2-e4

Биография Юрия Зерчанинова. В июньском номере «Юности» я попытался рассказать, как Михаил Таль вновь играет в настоящие шахматы и не скрываемо наслаждается этой игрой. Беседовал я с Талем в марте на международном турнире Таллин-73 и, между прочим, предупредил его, что журнал с этим материалом выйдет в дни ленинградского межзонального турнира...

Таль весело заметил на это, что мне не следует беспокоиться: если он «зашавится» на межзональном турнире, я это смогу продолжить тему. И вот теперь, к великому собственному огорчению, я вынужден воспользоваться советом Таля и действительно продолжить тему. Кто же мог представить, скажите, что Михаил Таль не будет в числе тех трех победителей ленинградского межзонального турнира, которым предстоит продолжить борьбу за право играть матч с Робертом Фишером?

Тут дело не только в том, что Таль имел лучший рейтинг-лист, то есть по классификации ФИДЕ стоял выше всех остальных участников межзональных турниров. Именно в Тале, который снова стал Талем, многим виделся достойный соперник нынешнего чемпиона мира. Да, Фишер победил, кажется, всех, но только не Таля, а ведь именно Таль породил, пожалуй, самую яркую шахматную легенду

наших дней. И не случайно вскоре после матча в Рейкьявике, когда Таль вновь появился на мировом шахматном горизонте, Фишер заявил в одном интервью, что теперь он хотел бы сыграть матч престижа с Талем.

Что же случилось в Ленинграде?

Дмитрий Белица, югославский шахматный журналист, в день открытия ленинградского турнира подарил Талю свою последнюю книгу «Дневник из Рейкьявика» с надписью: «Дорогому другу. Мне жаль, что тебя там не было». По таланту Белица ставит Таля выше Фишера и вообще выше всех. Он сказал мне, что Таль может уступить лишь одному противнику — самому Талю, своей болезни. Так и случилось в Ленинграде.

Шахматный обозреватель «Советского спорта» Виктор Васильев, автор книги «Загадка Таля», полагает, что Таль приехал в Ленинград излишне изуренный борьбой за то, чтобы вернуть свое былое имя, которое он вел последние времена на бесконечных турнирах. Имя Таль вернуло, но ленинградский турнир оказался для него как бы последним километром марафона.

Обозреватель шахматного еженедельника «64» Александр Рошаль, также говоря о болезни Таля, наряду с этим отмечает, что во многих партиях турнира Таль, казалось, вдруг забывал одному ему известную пиратскую тропинку, которой прежде он всегда пробивалась к своей шахматной истине, и сворачивал на проторенную дорогу...

Я приехал в Ленинград в конце турнира, когда Таль уже растерял все надежды попасть в призовую тройку и когда поживиться за его счет, полагая, что он окончательно сломлен, пытались даже участники, замыкающие турнирную таблицу. Расскажу о двух утренних допрыгиваниях без зрителей, которые пришли проводить Талю.

В первое утро он допрыгивал отложенную партию с колумбийцем Кузларом, который уже после первых туров прочно обосновался на последнем месте. Кузлар, которому под шестьдесят, даже в самые жаркие дни являлся на турнир в строгом костюме,

при галстуке и походил на доброго провинциального дядюшку. Но этот добрый дядюшка терзал Таль все утро: поначалу ему, очевидно, мерещился выигрыш, потом он упрямо пытался сделать ничью. Таль скучал, ожидая, когда же, наконец, Кузлар сдастся, а тот все играл и играл, рассчитывая, очевидно, что вдруг Таль подаст ему фигуру... Таль понимал, что происходит, и в конце концов это стало его веселить. И лишь ходу на восемидесятом Кузлар сдался и тут же сердито, обиженно заговорил, что он анализировал эту партию две недели, а сегодня утром его подняли очень рано, и он не смог выпить даже горячего кофе...

— Что он говорит? — спрашивала меня Геля, жена Тали.

— Что он не выпил утром горячего кофе.

— Я ему сделала здесь кофе, Мише сделала и ему. Правда, чайник долго не закипел...

А на следующее утро Таль доигрывал с молодым франтоватым аргентинцем Кинтеросом, который недавно выполнял норму международного гроссмейстера, а помимо этого известен своей дружбой с Фишером. Кинтерос играл в Ленинграде средне, но ему удалось, например, победить Ларсена. Таль в то утро отвратительно себя чувствовал и хотел лишь скорее закончить партию, но от предложенного им поворотения ходов Кинтерос уклонился...

— Ох, аураский турнир! — воскликнула Геля. — Во сне приснился такой бы — не поверила.

Но в этой партии Таль вдруг побежал — единственный раз за весь турнир побежол. Когда у Тали уже не было сил продолжать игру, Кинтерос грубо ошибся и тут же сдал партию. А спустя три с половиной часа Таль вновь сел за шахматный столик и ходом королевской пешки — своим излюбленным вызывающим ходом — начал партию пятнадцатого тура с Глигоричем. Таль атаковал мастигом Глигорича уверенно и вдохновенно, словно, наконец, хорошо отдохнул и пришел в себя перед этим туром. Но я видел, как еще три с половиной часа назад он совершенно был обессилен острой болью... Неужели лишь неистовая убежденность в своих сверхвозможностях дала ему силы для неожиданной атаки на позицию Глигорича? Эту особенность незаурядной личности Тали — как и другую и не менее характерную особенность: совершение отсутствие инстинкта самосохранения! — рекомендовал мне не забывать Александра Кобленца, который долгие годы был тренером Тали.

Я сидел в зале, вспоминал эти слова Кобленца и в который раз пытался сформулировать для себя: что же случилось с Тalem? — как вдруг по рядам прошел легкий гул, а шахматисты, которые, ожидая хода соперника, прогуливались по сцене, устремились мгновенно к столику, где Ларсен играл с Бирном. А дело в том, что в равной позиции Ларсен, недолго думая, сделал самоубийственный ход Конем! После бурного старта Ларсен вдруг начал раз за разом проигрывать, причем, как заметил Макс Эйве, проигрывать как-то по-детски (Таль, кстати, тоже проигрывал совершение нелепо: с кубинцем Эстевесом, например, он вдруг начал играть в поддавки...). Теперь же Ларсен лишился последних надежд вйти в первую тройку. Но «датским принцем» уже владела какая-то обреченность: он торопливо сделал несколько пустых ходов и сдался.

Так фактически закончился этот турнир для импульсивного Бента Ларсена, а практичный и четкий Роберт Бирн (его манеры и внешний облик вполне соответствуют стилю игры: массивный золотой перстень с печаткой не нарушает общей картины) во многом обеспечил себе этой победой будущее третье место. В пресс-центре, обсуждая сенсационный успех Бирна, поговаривали, что в последние годы он

много играл с Фишером, был его спарринг-搭档...

Но самым ярким торжеством шахматного рационализма на этом турнире оказалось, конечно, первое место Анатолия Карпова. Двадцатидвухлетний гроссмейстер и не скрывает, что рискованная игра в стиле шахматных мушкетеров ему не по душе. Считают, что Фишер вновь и на самом высоком уровне утвердил в сегодняшних шахматах железную логику в оценке позиций и сверхдальновидный трезвый расчет, в этом смысле Карпов близок к Фишеру. Карпов, бесспорно, очень талантлив и с каждым годом заметно прибавляет в классе игры. Сейчас всех занимает, конечно, может ли Карпов уже противостоять Фишеру. Сам Карпов во время турнира сказал, что он еще не готов к единоборству с чемпионом мира. Еще не готов. Но, значит, он даже не сомневается, что когда-то будет готов...

Карпов прошел турнир без единого поражения да и по ходу игры лишь дважды имел сомнительную позицию (с Талем и со Смейкалом), но в первом случае закончил партию вничью, а во втором даже выиграл. Карпов и в жизни, в быту, стремится всегда иметь безукояренную позицию. Таль, например, обедал в турнирные дни сначала в одном ресторане, пока не съел там что-то не то, потом стал обедать в другом, а Карпов пытался дома — у одного своего друга. По утрам тот сам ходил на Кузнецкий рынок и покупал самые лучшие и самые свежие продукты.

В тот вечер, в пятнадцатом туре, Карпов играл с болгарином Радуловым. Сделав очередной ход, он часто оставался за столиком и изучающе поглядывал на Радурова, словно пытаясь разгадать, о чем тот сейчас думает (один известный гроссмейстер, проигравший Карпову, признался, что его очень нервировало, когда Карпов вот так на него смотрел). Но Радулов это, очевидно, совсем не нервировало, и на доске продолжало сохраняться равенство. А что же Карпов? Он и не думал насиживать позицию и необоснованно рисковать. К тому же турнирное положение позволяло ему соглашаться с Радуловым на ничью, что он и сделал.

Лицо Виктор Корчиной, разделевший с Карповым победу в турнире, сумел противостоять торжествующему рационализму, блестательно продемонстрировав ту самую рискованную игру в стиле шахматных мушкетеров. В пятнадцатом туре, который я выбрал, чтобы представить главных действующих лиц турнира, Корчиной элегантно переиграл филиппинца Торре — на первый взгляд скорее похожего на отрешенного хиппи, чем на шахматиста. Однако как раз на Торре споткнулся во втором туре Таль.

Так что же с Тalem? Помни, в конце марта в Центральном шахматном клубе Михаил Таль довел до экстаза своих поклонников, эффективно продемонстрировав, как он победил в Таллинне Спасского. И наконец кто-то крикнул из зала: «Каким ходом вы начнете первую партию с Фишером?» Таль чуть улыбнулся и сказал: «Если к тому времени, когда этот матч состоится, шахматные правила не изменятся, я скажу e2 — e4». Так вот, хотя в Ленинграде Таль сделал все, чтобы этот матч — по крайней мере в ближайшие несколько лет — не состоялся, поклонники шахмат не отступали от своего кумира.

Когда Таль вышел на улицу после партии с Глигоричем, толпа едва не растерзала его, требуя автографов. Эту партию, которая уже ничего не меняла в его сегодняшней судьбе, Таль, кстати, начал — помните? — тем же ходом: e2 — e4..



Владимир ПАНКОВ

# КРУГОМ НАМЕКИ!

Э тот человек отделился от гостей и подошел ко мне, когда я закуривал сигарету.

— Разве вы курите? Мне казалось, что вы спортсмен... Хотя, впрочем,— он окинул меня взглядом,— для спортсмена вы не слишком ладны...

Я, улыбаясь, затянулся.

— А что вы улыбаетесь?.. Хотите сказать, что я тоже не слишком-то осанки? Однако, увы, первое впечатление обманчиво. Я тем не менее спортсмен...

Я, улыбаясь, курил.

— Понимаю ваши сомнения... Но спортсмен — это прежде всего здоровье изнутри, а не снаружи... Хотя, конечно, то, что «снаружи», производит более сильное впечатление. Особенно на приемные комиссии в институтах,— он пошутил.— Не так ли?

Я, улыбаясь, курил.

— Вы, наверное, полагаете, что я тоже спортом ради каких-то корыстных целей занимаюсь? Так?

Я, улыбаясь, курил.

— Странная у вас склонность к намекам... По-вашему, так выходит, что каждый, кто занимается спортом, обязательно надеется что-то с него поиметь. Вы это хотите сказать?

Я, улыбаясь, курил.

— Интересно вы рассуждаете... Может, вы полагаете, что и новую квартиру мне дали как спортсмену?.. Любопытно, очень любопытно.

Я, улыбаясь, курил.

— Но прежнюю квартиру ведь я сдал. Честно сдал... Ну и что из того, что это была моя жена...

Прежняя жена. Прежняя квартира и прежняя жена. Мы развелись.

Я, улыбаясь, курил.

— На что вы намекаете? — зарычал он.— Вы думаете, что я развелся с женой фиктивно? Чтобы сохранить прежнюю квартиру, так?

Я, улыбаясь, курил.

— Вы меня доконаете!.. Ну не сдавать же мне было ту квартиру посторонней женщине!

Я, улыбаясь, курил.

— Да прекратите вы эти неприличные намеки! Никакой посторонней женщины не было. Не было!— Он уже рыдал.

А я, улыбаясь, курил.

— Ну хорошо, было... Я сдаюсь. Ваша взяла. Но это совсем не то, что вы думаете. У нас была платоническая любовь... Она святая женщина.

Я, улыбаясь, курил.

— Неужели вы тоже ее знаете?.. У вас с ней тоже что-нибудь было?.. Скажите мне, умоляю вас, что у вас с ней было?

Я, улыбаясь, курил.

— Я так и знал! О горе! А я-то, наивный балбес, считал, что она ангел. А ангел, выходит, оказался с рожками, да!

Я, улыбаясь, курил.

— Вы полагаете, что рожки были у меня?.. Рога, да? Вы это подразумеваете?

Я положил окурок в пепельницу и раздавил его.

— Та-ак,— тревожно протянул он.— Ч-что вы хотите этим сказать?..

Я повернулся и пошел к выходу.

— Это невозможно! — простонал он мне вслед.— Все что-то знают, все на что-то намекают. Я сяду с ума!..

Рисунок  
Иосифа ОФФЕНГЕНДЕНА.



**H**икто, никто не спал в эту ночь!

Марк Водовозов учил Леночку Сылко отзываться на обращение «Елена Петровна». Сестры Куксины жгли свечку перед портретом Ушинского. Степан Кимоно мрачно татуировал на руке: «Не забуду правило буравчика».

Им было от чего не спать: завтра предстоял первый самостоятельный урок.

Ученики тоже не теряли времени. Они уже старательно натерли доску мылом, журнал — мелом, заклеили на глобусе Австралию Кемеровской областью и подключили учебный скелет к настоящему трансформатору.

Теперь вопрос упирался в одно: успеет ли Леночка Сылко спросить второгодника Гудова о леопричастии до того, как он спросит ее, как пишется слово «акселерация»? Дотянется ли Степан Кимоно до спасительной татуировки прежде, чем сядет на буравчик, заботливо вмонтированный в стул? И, наконец, вспомнит ли сестры Куксины, что говорила Ушинская об учениках, топающих на уроке ногами, когда начнут топтать ногами на уроке?

Один я не волновался. Прекрасно выспавшись и с аппетитом по завтракам, я после звонка неторопливо зашел в свой будущий класс. Тридцать пар глаз выжидательно уставились на меня, тридцать локтей толкнули в бок соседа:

— Сейчас начнется!

Но я был совершенно спокоен. Потому что я сделал ставку на Великий Принц! Противоречия.

По этому принципу бутерброда падает маслом вниз да еще на новые брюки начальника, а вместо нужного вам трамвая № 6 приходит преждевременная старость. Единственное место, где этот принцип можно использовать в мирных целях... это школа.

...Мимо моего левого уха прокрустела бумажная ласточка.

Мгновение — и я был возле рыбного верзили, который запустил ее.

— Встать! — заорал я.

В ответ рыжий зорал тоже:

— А вы видели? Да? Видели?

— Видел не видел, а родители пусть придут! — еще сильнее закричал я. — Они у меня узнают, кого вырастили! Они же будущего авиаконструктора вырастили! Посмотрите, дети, как он сделал эту ласточку! Какие крылья, какой флюзаж! Ее же хотят сейчас в серийное производство запускать. Туполев! Ильюшин! Братья Монголыфе!

— От такого слышу! — сказал рыбный и увел.

Несколько минут класс озабо-

## С. ЛИВШИН

моем месте. А сестры Куксины — те вообще были бы уже на полпути от валидола к завучу.

Я же продолжал урок и внимательно прислушивался к тому, что происходило в классе. Быстро ухо мое уловило, что толстая девочка на первом парте только надувала щеки, но не гудела.

— А ты почему молчишь? — строго спросил я.

— Я староста, — гордо ответила она.

Я ехидно улыбнулся.

Хорошего же себе старосту выбрали, нечего сказать! Бросает класс в трудную минуту. Или ты гудеть не умеешь?

— Я... меня... разве так можно? — залепетала толстая девочка и заплакала, утирая слезы толстой косой.

Не обращая больши на нее внимания, я сказал:

— Запишите домашнее задание: к следующему уроку каждому сделать трещотки из киноленты, шпаргалки по крестовым походам. Можно с помощью родителей. А теперь — марш на улицу! Играйте в футбол, в куклы, во что хотите! Ну?!

Тридцать ртов открылись от удивления, тридцать локтей толнули в бок соседа.

— Разыгрывает или нет?

Рыжий спросил напрямик:

— Про Карла Девятого объяснять не будете?

— Ну зачем вам Карл Девятый? — мягко улыбнулся я. — Всё посмотрите лучше за окно: солнце светит, птички поют, деревья зеленеют... Самое время смастерить рогатку и бахнуть по птичке. Айда за мной!

Ученики вышли на цыпочках. Толстая староста на всякий случай осталась в классе. Она сидела, зажав уши и зажмурив глаза, пока за ней не прибежали родители и не перевезли ее в специальную школу для отличников, где физкультуру преподавали на английском языке, а гардеробщица имела учченую степень кандидата философских наук.

А на мой класс теперь приезжают смотреть даже из-за Полярного круга. Потому что все ученики у меня успевающие, подтянутые и дисциплинированные. Они никогда не пускают бумажных ласточек, не пользуются шпаргалками, не трещат трещотками и уступают место старшим. И все исходя из Великого Принципа Противоречия.

А если кто-нибудь на уроке забывается и снова возвращается к прошлому, я начинаю гудеть. Правда, негромко и с большим достоинством. Я же в конце концов педагог.

Одесса.

Я же  
Все-таки  
педагог



Рисунок  
Олега КОКИНА.

# ВЫХОД

**Е**е приняли на работу в четверг, симпатичную девушку лет двадцати. А в пятницу с утра затрезвонил наш телефон — добавочный 76.

— Птичкину — к телефону!

— Слышаю, — раздался ее мелодичный голос.

С понедельника стали звонить беспрерывно:

— Пожалуйста, к телефону Птичкину!

— Птичкиной!

— Если нетрудно, попросите Птичкину...

Начальник отдела, на столе которого стоял телефон (добавочный 76), раздраженно сказал новой сотруднице:

— Может, вы просто сидете на мое место? И вам удобней, и мне не так беспокоин...

Кто-то попробовал заступиться за Птичкину:

— Что вы хотите: молодая девушка, масса знакомых... Вполне может быть, среди них будущий жених!

— Чей?

— Птичкиной.

— Но при чем тут я?! Вернее, мой телефон,— киянтился начальник.

— А если у нее нет своего? Как прикажете ему быть?

— Кому?

— Жениху!

— Не звонить вообще! — вскричал начальник отдела. Тут позвонили, и он прорычал в трубку: «Птичкине не звоните больше по этому телефону! Занимаете лилию посторонней тематикой!»

Но Птичкиной продолжали звонить по добавочному 76.

Начальник отдела созвал совещание по вопросу Птичкиной, но так ни к какому выводу не пришли, потому что все время пришлось отвлекаться, чтобы отвечать в телефонной трубке: «Птичкиной нет!» И уже на следующем совещании — совсем по другой теме — выдвинули Птичкину в состав президиума, чтобы сидела за столом, где трезвонил этот добавочный 76; пусть сама отвечает, чтобы ее нет! А она нет-нет, да отвечит, что есть, и несколько раз брала слово по ходу совещания, чтобы высказаться по телефону...

Жизнь для нашего отдела превратилась в сущий ад.

А Птичкиной между тем стали звонить уже из других городов...

Надо было срочно что-нибудь предпринимать.

Все надежды возлагались на начальника нашего отдела — веточки у него властелин. И он наши надежды оправдал, одним ударом разрубил гордиев узел. Он сделал предложение Птичкиной.

И тотчас прекратились звонки.

Рисунок Игоря СУСЛОВА.



## КАКОВ ВОПРОС — ТАКОВ ОТВЕТ

Борис С-ов,  
г. Благовещенск

Галка Галкина! Я начал выписывать «Юность» со второго полугодия, а говорят, что в первом полугодии были интересные стихи Вознесенского. Нельзя ли их напечатать еще раз во втором полугодии?

**ОТВЕТ:** Боря С-ов!

Что ж ты так поздно нам это сообщил! Если бы мы знали, мы бы ни за что не напечатали Вознесенского в первом полугодии, а придержали бы его до той поры, пока ты не подпишешься на наш журнал.

Володя О-ан,  
г. Свердловск

Дорогая Галка!

Я влюблен в одну девчонку из нашего класса, но вечером я просто сгораю от страсти, а утром становлюсь равнодушным. На другой день все повторяется сначала. Настоящая ли это любовь?

**ОТВЕТ:** Дорогой Володя!

Ничего не можем тебе сказать, потому что не знаем твоих чувств в обеденное время.

Лена Д-ва,  
село Молчаново

Милая Галочка!

На последнем уроке меня вызвали читать наизусть письмо Татьяны. После того, как я прочитала его, все мальчики влюбились в меня. Что мне делать?

**ОТВЕТ:** Милая Леночка!

К следующему уроку приготовь монолог Кабанихи из пьесы «Гроза».



# В НОМЕРЕ

## ПРОЗА

Дмитрий ХОЛЕНДРО. Два рассказа: 1. Очей очарованье . . . . . 2. Мужчины . . . . .

2

Олег РУДНЕВ. Пятьники именины. Маленькая повесть . . . . .

14 Главный редактор  
31 Б. Н. ПОЛЕВОЙ

## ПОЭЗИЯ

Николай СТАРШИНОВ. У костра. «А тут — ни бризиз, ни гранита...», «Получище пристоприсы», «Только вспомни тебя — затоскую...». Девочка и чайки. «Медлительно идут за днями дни...» . . . . .

Редакционная коллегия:  
А. Г. АЛЕКСИН,  
11 В. И. АМЛИНСКИЙ,  
В. И. ВОРОНОВ  
(зам. главного редактора),  
Б. Н. ГОРЯЕВ,  
А. Д. ДЕМЕНТЬЕВ  
(зам. главного редактора),  
29 Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ  
(отв. секретарь),  
30 К. Ш. КУЛИЕВ,  
Г. А. МЕДЫНСКИЙ,  
57 В. Ф. ОГНЕВ,  
С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ,  
58 М. П. ПРИЛЕЖАЕВА.

Олег ДМИТРИЕВ. Выпускаю птиц. Переезд. При свече. Акварель . . . . .

59

Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ. «Когда я слишком долго весел...», 22 июня 1972 года. «Я получил твоё письмо...». Вечные радости. «Все ты видишь, однако себе не на горе...» . . . . .

Художественный редактор  
Ю. А. Цишевский,  
Технический редактор  
Л. К. Зябкина.

Варлам ШАЛАМОВ. «Я поставил цель простоять...», «тишина — это лозунг мира...», «Уступаю дорогу цветам...», «Как сердечный больной...», «Иногда в одиноком походе...» . . . . .

78

Олика СУЛЕЙМЕНОВ. Черное и красное. Весна в пустыне . . . . .

61 На 1—4-й стр. обложки

Леонид ЗАВАЛЬНОК. Солнечная соната. «Я с веселым уловом...». Черновик . . . . .

рисунок Виталия ОРЛОВА

Алексей РОГОВ. Следы. Проездом . . . . .

66

Абдулла ДАГАНОВ. Родина и мать. Переезд с аварского . . . . .

71 Адрес редакции:

Владимир ПУЧКОВ. Парашютист. Доктор Нина

101524, ГСП,

Михаил КВЛИВИДЗЕ. «Мы говорим порою в восхищении...». Перефраз с грузинского Е. Николаевской. Лирический репортаж с prospects Руставели. Перефраза Б. Ахмадулина. «Мне непонятно, как произошло...». Перефраз А. Межиевой. Последний раунд. Перефраз Д. Самойлов.

74 Москва, К-6.

Владимир КОЗЫРИН. Было трудно . . . . .

79 Улица Горького, № 32/1.

Р. МИНАСОВ. Диалог после боя . . . . .

Телефон редакции: 251-32-83.

Валентина ЮДИНА. Жили-были девочки . . . . .

80 Рукописи

Надежда КОЖЕВНИКОВА. Бугины . . . . .

65 не возвращаются.

Олег АВРУШИН. Снова о танце . . . . .

83 Сдано в набор 8/VI 1973 г.

Надеяться — значит жить . . . . .

88 А 02129.

Л. БАЖАНОВ. Здравствуйте, господин Гоген!

93 Подп. к печ. 17/VII 1973 г.

Л. ЛАВЛИНСКИЙ. Стихи о любви . . . . .

Формат 84×108/іс.

Валентин БЕРЕСТОВ. Радость . . . . .

Объем 12,18 усл. печ. л.

Галина НИКУЛИНА. Три письма . . . . .

77 17,62 учетно-изд. л.

М. ПОЗНЯЕВ. Весна художника (К 3-й стра-

тице обложки) . . . . .

Н. ИВАНОВА. Каравай для всех . . . . .

78 Тираж 2 100 000 экз.

Михаил БОТВИННИК. Несостоившийся матч . . . . .

96 Изд. № 1675. Заказ № 724.

Юрий ЗЕРЧАНИНОВ. e2 — e4 . . . . .

101 Ордена Ленина

Владimir ПАНКОВ. Кругом намеки! . . . . .

и ордена Октябрьской

С. ЛИВШИН. Я же все-таки педагог . . . . .

Революции

С. КОМИССАРЕНКО. Выход . . . . .

110 типография газеты «Правда»

Каков вопрос — таков ответ . . . . .

111 имени В. И. Ленина.

125863, Москва, А-47, ГСП,

ул. «Правды», 24.

## ПУБЛИСТИКА

## ПИСЬМО АВГУСТА

## ПОЧТА «ЮНОСТИ» КРИТИКА

## НАУКА И ТЕХНИКА ШАХМАТЫ

## ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ



Рыболовецкий  
поселок

ИЗ РАБОТ  
КОНСТАНТИНА  
ПАНКОВА

Смотри  
в этом номере  
статью М. Позняева.



Охота (фрагмент)